

РУССКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ

XIX
ВЕКА

РУССКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX
ВЕКА



АЛЕКСАНДР
БЕСТУЖЕВ

•
ОРЕСТ
СОМОВ

•
НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ

•
АЛЕКСАНДР
КРЮКОВ

•
АЛЕКСАНДР
КОРНИЛОВИЧ

•
КОНСТАНТИН
МАСАЛЬСКИЙ

РУССКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX
ВЕКА



МОСКВА
„СОВЕТСКАЯ РОССИЯ“
1989

P1
P89

Составление и вступительная статья и примечания
доктора филологических наук **В. И. Коровина**

Художник **Ю. К. Бажанов**

P89 **Русская историческая повесть первой половины XIX века/Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина.** — М.: Сов. Россия, 1989. — 368 с.

Исторические повести, собранные в этой книге, принадлежат в большинстве своем русским писателям-романтикам. Своим творчеством они всколыхнули интерес к драматическим событиям русской истории, благодаря их деятельности начало складываться историческое мышление, столь мощно проявившее себя впоследствии в творчестве Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Л. Толстого и других наших классиков.

P 4803010101—340 199—89г доп.
M-105(03)89

P1

ISBN 5—268—00045—4

© Издательство «Советская Россия», 1989 г., составление, вступительная статья, примечания.

«ЗАВЕТНЫЕ ПРЕДАНИЯ»

Интерес к истории в начале XIX века всколыхнулся в России с необыкновенной силой после мощного национального подъема, вызванного наполеоновскими войнами и особенно Отечественной войной 1812 года. Пробудившееся национальное самосознание определило своеобразие духовного развития русского общества. И декабристское движение, и монументальный труд Карамзина, и басни Крылова, и произведения Пушкина — все это отголоски крупных исторических событий, сами ставшие фактами нашей истории. Первые десятилетия XIX века проходят под знаком истории. На эту особенность обратил внимание Белинский. «Век наш — по преимуществу *исторический* век. *Историческое созерцание*, — писал критик, — могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии»¹.

Русское общество почувствовало настоятельную потребность отдать себе отчет в том, каковы отличительные особенности национального характера, национального духа, как тогда говорили. Историзм стал знаменем нового столетия. Он был неотделим от идей народности. Но, чтобы понять подвиг народа в Отечественной войне 1812 года, удививший дворянскую Россию, чтобы постичь образ его жизни, мыслей и чувств, нужно было заглянуть в прошлое, в «темную старину», обратиться к истокам национального бытия. «История государства Российского» Карамзина открыла русскому обществу почти никем не освещенные до тех пор страницы древности. Русское общество увидело в ней достоверную картину жизни, борьбу мнений, психологический накал страстей и готовые сюжеты для философско-исторических, нравственных и художественных размышлений. Создалась реальная почва для расцвета исторических жанров. Но, пожалуй, не меньшую роль «История» Карамзина сыграла для формирования и тогда историзма. Отныне историческое мышление становится не только инструментом, с помощью которого распахивают

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. — М., 1955. — Т. VI. — С. 90.

дверь познания в глубь веков, но необходимым качеством философской или художественной мысли, освещающей своим лучом живую современность.

Вместе с тем «История» Карамзина — произведение, в котором научность изложения слилась с художественностью. Элемент художественности, очень сильный в «Истории», опирался на подлинные и достоверные факты и свидетельства. Это обстоятельство сразу же поставило перед писателями целый ряд чисто творческих проблем — насколько уместен вымысел в художественном сочинении, как сочетать историческую правду и воображаемый сюжет? Повествовательные формы еще не были настолько усовершенствованы и утончены, чтобы противоречивые слагаемые художественного произведения на историческую тему могли примириться в каком-нибудь органическом единстве. Поэтому в исторической повести то преобладает художественное задание, большей частью игнорирующее историческую действительность, то очерк, в котором характеры выглядят бледными, лишенными полнокровной жизни и убедительности. Между ними располагались промежуточные формы воспоминаний, «былей», «происшествий». Нередко исторический материал выполнял подсобную, служебную роль — писателей интересовал не минувший век в его истине, а собственные взгляды на современность, проводимые с помощью исторических сведений.

Судьба исторической повести поучительна и в том смысле, что она наглядно демонстрировала, как формировалось историческое мышление и складывались формы исторического повествования, как оттачивались черты реализма.

Если Карамзин пробудил теоретическую мысль, заставил внимательно относиться к исторической действительности, к эпохе, к столкновению интересов, то Вальтер Скотт — его исторические романы были уже широко известны русскому обществу — оказал громадное влияние на форму исторического повествования.

Вальтер Скотт, как и Карамзин, опирался на документ, но из документов он выбирал наиболее характерные для того или иного времени. При этом его привлекал какой-нибудь эпизод, сценка, штрих, «анекдот», в котором живо и рельефно выказывали себя нравы, обычаи, мышление, обусловленные эпохой или средой. Отсюда происходила установка на обыкновенность изображения. «Главная прелесть ром.<анов> W.<alter> Sc.<ott>, — писал Пушкин, — состоит <в том>, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure (надутостью. — *Ред.*) фр.<анцузских> трагедий — не с чопорностью чувствительных романов — не с dignité (приподнятым тоном. — *Ред.*) истории, но домашним образом»¹. Тем самым «анекдот» стал одним из важных сла-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1949. — Т. XII. — С. 195.

гаемых художественного исторического описания. Частные случаи благодаря тщательному отбору несли в себе и художественную оценку, и своеобразие характеров, и типичность эпохи. История рисовалась в обиденной простоте, ее вершили люди, а не поставленные на пьедесталы деятели или наделенные чувствительным авторским сердцем сентиментальные герои. Вальтеру Скотту удалось органично слить художественную интуицию и научную документальность. В его романах исторические события и историческое время естественно выявляли себя в поступках, мыслях, чувствах обыкновенных людей. На первый план выдвигалась задача передать типическое в особенном, и, по сравнению с современностью, даже необычном и странном, и через него понять нравы народа и каждого лица, участвующего в истории.

Русская историческая повесть постепенно усваивала как историзм Карамзина, так и повествовательную манеру Вальтера Скотта. Однако это усвоение шло чрезвычайно трудно и сопровождалось несогласиями, спорами, резкостью суждений.

Предметом открытой или скрытой полемики стали принципы историзма и их претворение в литературе.

При всем преклонении перед Карамзиным декабристы решительно разошлись с ним во взгляде на русскую историю. Они не приняли и не могли принять монархизма Карамзина. Они полагали, что идея монархии чужда русскому народу, что самодержавие было навязано ему. Народ обманом и силой принудили к самодержавному порядку и отняли у него свободу, превратив крестьян в подневольных крепостных. С точки зрения декабристов, весь народ так или иначе оказался в рабстве у самодержцев с разной степенью свободы — большей (дворяне) или меньшей (крестьяне). Воодушевленные национально-патриотической идеей, декабристы разделили всю нацию на тиранов и республиканцев. Тираны — это те, кто мыслями, чувствами, действиями защищали самодержавие и рабство; республиканцы — свободолюбцы, хотя и оказавшиеся «рабами», но своими мыслями, чувствами и действиями не смирившиеся с жалкой участью. Русская нация в своем подавляющем большинстве, считали декабристы, — нация республиканцев. Историческим свидетельством тому служили для них Новгород и Псков, где вольный народный голос господствовал на вече и где были «задушены последние вспышки русской свободы». С подобной точки зрения, содержание русской истории составила неутраченная борьба республиканцев с тиранией и ее поборниками.

Во взглядах декабристов на историю сильные стороны сочетались со слабыми. Декабристы были убеждены, что монархизм — деспотическая форма правления, что она сдерживала могучие силы нации и тормозила прогресс страны. Словом, самодержавие — душитель свободной самодетельности нации и каждого отдельного человека.

Вместе с тем идеи современности дворянские революционеры рас-

пространяли на весь исторический российский опыт, не усматривая качественного своеобразия той или иной эпохи и не замечая, что на определенном этапе истории самодержавие играло положительную объединяющую роль. Поскольку, считали декабристы, между историческим прошлым и настоящим нет принципиальных различий, то борьба тираноборцев и тиранов одинаково характерна для всех периодов русской истории. Следовательно, свободолюбивые идеи древности тождественны свободолюбивым идеям современности. Поэтому все древние и новые герои-свободолюбцы мыслят одинаково друг с другом и с автором. А это означало, что эти самоотверженные люди вовсе не порождались той или иной эпохой, ее общественными условиями. Если бы героизм исторических лиц, выведенных декабристами, был зависим от обстоятельств исторической жизни, то исчезли бы гарантии появления доблестей в современную эпоху. Тем самым характер свободолюбца объяснялся декабристами не создавшим его временем, а общностью патриотических и гражданских идей прошлого с патриотическими и гражданскими идеями современности. Декабристы стремились раскрыть единство национального характера во все времена, оставляя за скобками своих размышлений историческое развитие русских людей. В этом, в сущности, и заключался тот антиисторизм и тот рационалистический подход к истории, которые с особой силой проявились во многих произведениях декабристов, в том числе и в исторической повести.

Если Карамзин писал, что «мы не найдем в истории никаких повторений», то декабристы настаивали как раз на самоочевидности повторений, ибо патриотизм и свободолюбие повторяются в течение всех эпох. «Всякий век,— утверждал Карамзин,— имеет свой особый нравственный характер, погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз»¹. Для Карамзина каждый век имеет относительно самостоятельный характер. Историческое развитие совершается путем смены таких эпох, уже не воскресающих в дальнейшем. По мнению декабристов, содержание и отличительные особенности нравственного бытия людей никуда не пропадают и уж, конечно, не исчезают бесследно. История своими примерами убеждает в жизненности патриотических и гражданских добродетелей. Отсюда проистекает характерная для декабристской исторической литературы аллюзионность, состоящая в том, что в истории отыскиваются примеры гражданских доблестей, непосредственно налагаемые на современность и опрокидываемые в нее. Исторические фигуры или события иллюстрируют декабристское понимание основного конфликта. Метод аллюзий и «применений» был призван оправдать декабристские идеи исторически, придать им общенациональный смысл.

¹ Карамзин Н. М. Избр. соч.— М.; Л., 1904.— Т. 2.— С. 258.

Поскольку исторические герои были единомышленниками друг друга и автора-декабриста, то они мыслили, чувствовали, говорили одинаково. Кроме того, декабристы героизировали таких исторических лиц, которые оказывались по тем или иным причинам в конфликте с тиранами, но при этом подлинные причины столкновений не принимались в расчет и потому выступали искаженными. Так, например, для Рыльева достаточно уже того, что Артемий Волынский был противником Бирона. Это побудило поэта нарисовать образ страстного и непреклонного свободолюбца, гибнущего за свои убеждения, но не изменяющего им. Между тем Волынский, конечно, не был ни революционером, ни вольнолюбцем. Он принадлежал к той дворянской олигархии, которая хотела свергнуть Бирона, утвердить свое влияние на Анну Иоанновну и захватить власть. Иначе говоря, его поступками двигали отнюдь не революционные и демократические соображения. У Рыльева же Волынский превратился в пламенного вольнодумца, декабриста по мыслям и чувствам. Поэт Катенин удивлялся освещению Мазепы в поэме «Войнаровский», который предстал у Рыльева «каким-то Катонем», то есть вместо изменника и врага России — ненавистником тирании и республиканцем.

Декабристы в своем историческом сознании на начальном этапе были далеки от признания того непреложного факта, что самодержавие — форма правления, закономерно возникшая в ходе истории, что монархизм — объективный результат исторического процесса, не зависимый от наших субъективных желаний и вкусов. Декабристы подходили к истории романтически и потому исключали идею развития и еще не поднимались до того, чтобы понять исторический период необходимым звеном в судьбе народа.

Вместе с тем декабристы не хотели сознательно искажать историю. Напротив, они стремились опереться на документы, заимствуя их из разных источников, большей частью из «Истории» Карамзина. Тем самым они проявляли интерес к историческому правдолюбию и исторической документации. Например, каждой думе Рыльева предшествовала историческая справка, где рассказывалось о событии, изображенном в стихотворении. Рылеев, следовательно, убеждал читателей в точности нарисованной им исторической картины. С течением времени декабристы все более внимательно относились к исторически достоверной передаче событий, связав понятие историзма с понятием народности. Попытки уловить своеобразие эпохи, проникнуть в «душу» народа привело декабристов к воспроизведению нравов народа в ту или иную историческую эпоху.

Декабристы почувствовали, что каждая нация живет своей собственной исторической жизнью, что быт и нравы русских людей не спутаешь с бытом и нравами немцев, французов, англичан или арабов. В те первые десятилетия XIX века выделяли противоположные типы куль-

тур, пока еще очень обобщенные, — северный, «оссиановский», и южный, «античный». В байронической поэме господствовал контраст «Восток» — «Запад». Колоритом Востока пронизаны «восточные» поэмы Байрона. Рядом с арабским, мусульманским Средиземноморьем живет иной — западный, европейский — тип культуры, берущий начало в античности. Следовательно, историческая судьба восточных и западных народов мыслится различной. Современникам Байрона и Вальтера Скотта, декабристам близка идея, согласно которой жизнь народа зависит от условий их быта, занятий, климата, обычаев, традиций, верований, языка, от того, что называется «местным колоритом». Нравственный облик народа неотделим от совокупности окружающих его обстоятельств. Декабристы пошли еще дальше. Они поняли, что русский человек XII века отличается от русского XIX столетия. Однако такое различие относится не к содержанию национальной героики, а лишь к внешним формам ее выражения.

Историческая повесть отразила тот этап в создании исторического слога, когда, с одной стороны, писатели уже почувствовали разницу между речью рассказчика и речью персонажей, а с другой — еще не могли придать речам героев исторический колорит. Не в последнюю очередь это происходило потому, что ранняя историческая повесть не могла опереться на глубокую повествовательную традицию и на первых порах зависела от лирико-повествовательных форм. Такая зависимость касалась организации сюжета (разрывы в повествовании, отсутствие постепенных переходов), «вершинности» и эпизодичности композиции, строившейся от одного напряженного драматического момента к другому, оставляя недосказанным промежуточное течение событий; внимания к исключительным, необычным характерам, к форсированным душевным переживаниям; введения эффектных сцен, жестов, поз. Из романтической поэмы перешли в историческую повесть ситуации, связанные с ужасами, тайнами и нравственными извращениями. Повышенная экзальтированность, выпяченный язык страстей наряду со старинными речениями, бытовыми реалиями и морально-религиозными понятиями и отношениями составили языковой фон исторической повести, в котором легко угадывались стилевые принципы «восточной» или исторической поэмы. Воспроизводя традиционные мотивы и оперевшись на бытовавшие структурные элементы, декабристы внесли в историческую повесть оригинальное идейное содержание и выразили историю через призму современности. Благодаря новому содержанию ранняя историческая повесть декабристов, включавшая идеи романтического историзма, вытеснила сентиментальную повесть на исторический сюжет и предваряла дальнейшее углубление жанра.

Первые романтические исторические повести связаны с именами Александра Бестужева, В. Кюхельбекера, Н. Бестужева и других декабристов. В ранней прозе А. Бестужева устойчив интерес к русскому сред-

невековью. Здесь выделяются две темы — ливонская и чисто русская. Вторая из них посвящена событиям, отражающим борьбу Новгорода с Москвой. Ярким ее образцом была повесть «Роман и Ольга», оказавшая сильное воздействие на писателей-романтиков, обращавшихся к той же или сходной исторической эпохе.

Для исторического повествования А. Бестужев выбирает сюжет, кратко изложенный в «Истории» Карамзина. Такой выбор продиктован желанием следовать правде истории. Писатель намеренно брал конкретное историческое событие, стремясь быть документально точным. Это позволяло Бестужеву, как думал он, исторически верно воссоздать исторический колорит: нравы народа, мысли, чувства, желания героев, особенности их поведения и языка. В послесловии к повести писатель сослался на документальность своего повествования: «Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с 1 марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников». В доказательство «неотступной точности» Бестужев ссылаясь на сочинения Н. Карамзина, Е. Болховитина и Г. Успенского. Читатель должен был поверить, что автор основывается на подлинных документах и свидетельствах. Он убеждался, что действие повести строго приурочено к определенному времени, а «нравы, предрассудки и обычаи» извлечены «из преданий и оставшихся памятников». Однако их Бестужев «изобразил... по соображению», то есть следуя вымыслу, фантазии, своей художественной интуиции, но поверяя ее теми же историческими фактами. Таким образом, он пытался соединить два начала — показания истории и художественный вымысел, восходящий опять-таки к подлинным документам. Все это, по мнению писателя, обеспечивало повествованию историческую достоверность.

Однако освещение исторического прошлого сильно романтизировано. Намерение воспроизвести эпоху «неотступно точно» вступило в противоречие с декабристским пониманием истории. В конфликте между Новгородом и Москвой все симпатии декабриста были заранее отданы Новгороду и его свободолюбию. Москва изображалась угнетающей и несправедливой стороной. Она посягала на свободы Новгорода. В угоду прославления новгородской вольницы Бестужев искаженно толковал исторические факты. Карамзин, например, писал о «корыстолюбивом новгородском правительстве», о том, что отдельные части Новгорода «с охотой» и «дружелюбно» встречают московское войско. Бестужев, напротив, идеализирует вече, подчеркивает единство новгородцев, не желающих признать власть Москвы. Хотя новгородцы спорят о том, воевать ли им с Василием Дмитриевичем или сдаться на милость сильного противника, Москва для тех и других остается врагом, а ее притязания — грубым покушением на независимость и древние обычаи. Тем

самым историческая точность приносится в жертву декабристскому мировоззрению.

Герой повести Роман выступает проводником идей автора о новгородской вольнице. Это романтик-декабрист, одетый в костюм новгородского боярина. Превыше всего для него свобода Новгорода, которую он готов защищать и отстаивать ценой собственной жизни. Писатель, создавая образ пламенного поборника вольности, способного жертвовать собой, конечно, обращался к своим современникам, увлекая их к борьбе и пробуждая в них чувства чести и долга. Роман при этом говорит и думает как современник автора и тех молодых дворян, к которым писатель адресуется. В речи героя сочетаются две стилевые струи — лирически взволнованная и патетически страстная, полная восклицаний, вопросов и «опрокинутая» в прошлое, изобилующая старинными оборотами, выражениями, пословицами и поговорками. Вкрапления древнерусских слов, понятий, бытовых реалий, описаний одежды, утвари, тканей придают исторический колорит повествованию, но он оказывается не воспроизведением подлинности ушедшей эпохи, а всего лишь эффектным орнаментом, оттеняющим вполне современные характеры и поступки героев.

Попытки Бестужева передать нравственный облик эпохи «по соображению» с опорой на подлинные документы оказываются неудачными, ибо в основе авторского повествования лежит речь писателя-декабриста, слегка скрашенная и прикрытая старинными словами. Так, рассказывая о поведении Ольги, возлюбленной Романа, Бестужев сообщает, что героиня вспоминает «тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа». Не говоря уже о невозможном для нравов древности поведении Ольги (она не могла видеть Романа до сватовства и свадьбы, потому что дочерей своих «предки наши» не показывали не только посторонним, но даже и братьям своим), стилистические акценты в размышлениях героини, переданных Бестужевым, расставлены неверно. Слово «семик», которое здесь нарочито употреблено для будто бы исторической верности, выглядит чужеродной странностью, тогда как слово «незабвенный» несет сильную эмоциональную нагрузку, поясняя душевное состояние Ольги. Но эпитет «незабвенный» взят Бестужевым из современного романтического языка, тогда как слово «семик» принадлежит к религиозно-бытовой лексике. Во второй части фразы («когда рука ее трепетала в руке Романа») господствует стилистика романтизма. Этот оборот прочно увязывается со словом «незабвенный». Они подобраны по стилистическому сходству и образуют единый стилистический пласт, из которого выпадает слово «семик». При этом оно лишается исторического колорита и означает обычное для того времени слово «день». Все это доказывает, что Ольга размышляет о своем милом как типичная романтическая героиня, а не степенная красавица нашего фольклора или древних памятников.

Описание нравов «по соображению» не выдерживает испытания на историческую точность, исключая органическое единство стиля и допуская конфликт слов, несущих историческую окраску, со словами и выражениями, употребительными в романтической прозе. В соответствии с общим художественным заданием Бестужев сосредоточивает внимание на внутреннем мире героев, на мотивах их поведения и переживаниях, причем внешние образы становятся знаками глубоких страстей. Весь повествовательный материал подчинялся выражению патриотической идеи. В борьбе Новгорода за свою свободу решалась и гражданская, и личная судьба Романа. Если с образом Ольги писатель-декабрист соотносил идею личной и притом женской независимости, протестуя против стеснительных устоев средневекового уклада и вступаясь за достоинство девушки, за ее право на любовь, ради которого героиня готова жертвовать собой, то с образом Романа Бестужев связывал идею общественной свободы, при которой самые высокие личные чувства уступали место гражданским доблестям. Роман ни на минуту не сомневается в том, что сможет принести любовь к Ольге на алтарь верности новгородской вольности. При этом дух свободы в новгородцах настолько силен, что он не угасает даже в разбойниках, сначала захвативших Романа в плен, а затем выручивших его из беды.

Сюжетно-композиционные и стилистические особенности исторической повести декабристов, где патриотический дух героя раскрывается в его «превращениях» (герой как бы сменяет разные маски; оставаясь самоотверженным и верным общественному долгу, он предстает то горестным возлюбленным, разлученным с подругой, то таинственным странником, то узником, заключенным в темницу, то нечаянным спасителем своего обидчика, и наконец, счастливым победителем, получающим в награду невесту), легко различимы в последующих исторических повестях романтиков.

Декабристская историческая повесть, в которой сопряжены два начала — документальное и вымышленное («по соображению»), — стала прародительницей двух типов исторического повествования, условно обозначаемых как «поэтический», тяготеющий к романтическому, и «прозаический», со зреющими в нем чертами реализма. При этом оба начала непременно присутствовали, но акцент переносился то на «вымысел», то на «документ».

«Поэтический» тип исторического повествования воплотился затем в повести Н. Полевого о Симеоне, Суздальском князе и в других повестях этого «неутомимого и даровитого бойца» за романтизм, по отзыву Белинского. Н. Полевой стремился воспроизвести национальный дух на основе поэтической интуиции. На первый план он выдвинул принцип философско-поэтического проникновения в историческую эпоху. С такой точки зрения Н. Полевой противопоставил Вальтеру Скотту, у которого нашел лишь декорацию нравов, верное изображение народности и обычаев,

но не увидел ни философии, ни поэзии, школу французских исторических романистов (В. Гюго, А. де Виньи).

В отличие от Пушкина Н. Полевой, таким образом, решительно предпочел французских романтиков реалисту В. Скотту. Романтическому воображению Н. Полевого история представлялась исключительно возвышенной. Писатель считал, что характеры в Древней Руси были значительно сильнее современных ему и, следовательно, ни его сознанию, ни сознанию людей XIX века недоступны и для них недостижимы. Поэтому в его повести все главные действующие лица — необыкновенные, исключительные, подлинно романтические характеры. Симеон, например, нарисован смелым и благородным. У него особая, отмеченная роком, судьба. Однако он поступает наперекор уготованной ему участи. Под стать ему и купец Замятня, освобождающий Симеона из темницы, и боярин Димитрий. Борьба, которую ведет Симеон со своим дядей, вызвана чувством справедливости и свободолюбия. Поддержка, оказанная ему частью жителей Нижнего Новгорода, также объясняется их стремлением к независимости. Тем самым в основу конфликта положены причины нравственного свойства: заговор возникает там, где ущемлено исконное свойство русского человека — неистребимое вольнолюбие. Такая трактовка истории сближала Н. Полевого с декабристами-романтиками и отдаляла его от реалистов, прежде всего от Пушкина. Однако Н. Полевой хотя и видел историческое прошлое в романтически-возвышенном свете, считал, что правдивое воспроизведение эпохи невозможно без сохранения исторической точности, относимой прежде всего к историческим фактам. Поэтому в отличие от А. Бестужева Н. Полевой соединяет романтическую идею личной вольности с исторически важной задачей русских княжеств свергнуть татарское иго. Он понимает, что Симеон преследует личные цели, которые в случае их успешного осуществления еще не принесут свободы русским людям. Москва же, вмешавшись в распрю Бориса Константиновича и Симеона Кирдяка и лишив обоих власти над Нижним Новгородом, объединяла силы для окончательного освобождения русских земель.

Постепенно судьба Руси становится главной темой произведения, и на последних страницах повести автор помещает лирико-патетическое «пророчество» из «Слова о полку Игореве», напрямую обращаясь к общенациональным патриотическим мотивам.

Постигая философско-поэтический смысл истории, Н. Полевой, естественно, ослабил по сравнению с А. Бестужевым романтическую, любовную линию, которая только наметилась, но не развернулась в сколь-нибудь значимую для судеб страны или героев интригу.

Рядом с «поэтическим», овеянным романтикой историческим повествованием возник и другой, «прозаический» тип изображения древности. Он начат также декабристской прозой, в частности повестями А. О. Корниловича. Декабристу А. Корниловичу помимо повестей при-

надлежали также очерки, картины и зарисовки нравов. Современники (П. Вяземский, В. Белинский) полагали, что в русских документальных источниках, в отличие, например, от шотландских или английских, «нет нравов, общежития, гражданственности и домашнего быта», что чрезвычайно затрудняло, по их мнению, верное воспроизведение истории в духе В. Скотта. А. Корнилович как раз на этом и сосредоточил свои усилия. Он обратился к эпохе Петра I и помещал очерки об увеселениях, об ассамблеях, о первых балах, о частной жизни императора и русских во времена Петра Великого. Многими его сведениями, рассказанными в очерках, воспользовался затем Пушкин в неоконченном романе «Арап Петра Великого». А. Корнилович не чуждался устных рассказов, анекдотов, доходивших до современников из сравнительно недалеко отстоявшей эпохи. Он впервые широко использовал письменные и устные материалы бытового характера, благодаря которым освещался ход исторической жизни.

Повесть А. Корниловича «Андрей Безымянный» посвящена событиям Петровской эпохи. Ее сюжетная основа документальна: писатель заимствовал сюжет из сочинений И. Голикова (эпизод о частном и неправом суде). В повести четко выделяются два начала: исторический материал и романтическая интрига. Однако историк и романист в произведении конфликтуют. Как историк, А. Корнилович тщательно подбирает факты, создавая исторический фон. Документы почти не подвергаются обработке и становятся как бы самодостаточными. Подробные описания Петербурга, в которых экскурсии в прошлое сочетаются с комментариями, обращениями к современности («В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-Интендантская контора), Литейный двор, не переживший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство...»), механически соединены с романтической «историей» и написаны в иной — суховатой и точной — стилевой манере. А. Корниловичу важнее всего выразить свое отношение к эпохе Петра Великого, рассказать о благотворности начинаний и преобразований царя во всех областях — от государственных установлений до мелких примет частного быта. Документальный материал при этом отделяется от сюжета и превращается в очерки большего или меньшего объема. А. Корнилович рассказывает о Петербурге, о занятиях и увлечениях, о частной жизни царя, его приближенных. Петровские преобразования и самый дух эпохи увлекают писателя, и он передает их подробно, с множеством характеристических черточек, с любовью называя имена сподвижников царя и с симпатией рисуя картины нравов и быта.

На этом историческом фоне разворачивается судьба дворянина Андрея Горбунова, у которого могущественный и жадный Меншиков отнимает

имение, а вместе с именем честь, достоинство и невесту, потому что Горбунов, лишенный дворянского звания, уже не может претендовать на руку Варвары. Героя спасает случай: поступив в Преображенский полк, он однажды оказался наедине с Петром I и рассказал ему про свою невеселую историю. Царь, знавший повадки своего любимца, проверил рассказ Горбунова и вернул ему наследственное звание, имение. Словом, восстановил попорченную Меншиковым справедливость. Эта история выдержана у Корниловича в условных и довольно истертых романтических красках. Она подтверждает, согласно общему замыслу писателя, величие Петра как государственного мужа и как человека. Однако органического слияния исторического фона и романического сюжета, героев и среды А. Корнилович не достиг. Исторический документальный материал вошел в повесть необработанным, хотя с помощью его история изображалась на манер В. Скотта «домашним образом». Частная история героя и содержанием, и стилем как бы «выбивалась» из очеркового повествования: в ее передаче верх взяла романтическая стилистика, сказавшаяся и на неестественности переживаний, и на речах, и на поведении персонажей. Характеры, как признавался сам писатель, оказались неразвитыми.

Трудности претворения документального материала в художественное повествование испытывал и А. Крюков в «Рассказе моей бабушки». С одной стороны, повесть из времен пугачевского восстания была наполнена выразительно правдивыми деталями быта (неказистые домики, сплетенные из прутьев и обмазанные глиною, нечищенные и едва ли пригодные для стрельбы пушки, «в которых воробьи повили себе гнезда», убогая одежда, чипенная и перечиненная, едва державшиеся от дряхлости на ногах солдаты-инвалиды), а с другой — романтическая история, случившаяся с девочкой-сиротой. Пугачевцы предстают в повести романтическими злодеями, исчадиями ада, и автор не жалеет черных красок, чтобы живописать их лица, одежду, чтобы рассказать об их жутких намерениях и низких чувствах. А. Крюков хотел противопоставить эпизод из реальной истории «вымышленным бедствиям романтических героев», но жизнь его героини Настеньки протекает по давно известному романтическому шаблону: здесь и молва о тайных сношениях приютившей Настеньку старухи с потусторонними существами, и слуга, играющий роль черта и залезший в печь, и укромный уголок, откуда можно подслушать речи разбойников, а потом сорвать их сговор, и счастливый конец.

Описания быта, содержащие реалистические элементы, составляли сильную сторону исторических повестей. Известно, что многими бытовыми реалиями из повести А. Крюкова воспользовался Пушкин в «Капитанской дочке», изобразив жизнь в Белогорской крепости. Вместе с тем документ в исторической прозе Пушкина перестает выполнять роль иллюстрации и лишается декоративности. Он подвергается такой твор-

ческой переработке, в результате которой образ и среда сливаются в единое целое. Исторические условия становятся необходимыми для понимания героев, а герои естественно действуют в обстоятельствах, «ибо подобные обстоятельства им привычны», как выразился сам Пушкин о персонажах романов В. Скотта.

Историческая повесть романтиков пробудила интерес к своеобразию национального характера и его достоверному воспроизведению, всколыхнула чувство патриотизма и заставила вновь задуматься об историзме и народности литературы. Осмысляя их, историческая повесть продвинулась довольно далеко. Так, например, в повести «Вывеска» О. Сомов, писатель и критик, близкий к декабристам, а затем к пушкинскому кругу литераторов, изобразил два быта — французский и русский, два типа поведения простых, обыкновенных людей разных наций. Идейный стержень повести — мысль о единстве русского народа во время наполеоновского нашествия. Крестьяне и командующий ими помещик действуют согласно и ловко, захватывая в плен французов. В этом смысле славное прошедшее возвышеннее настоящего, в котором люди разобщены, а интересы различны. Отчасти события прошлого изображались как укор современности и как недостижимый пока идеал лучших, более совершенных социальных отношений. Историческая повесть романтиков тут непосредственно вторгалась в жизнь, и ее проблематика в какой-то мере предвосхищала идеи реалистической повести или смыкалась с ними.

Со второй половины 1830-х годов жанр исторической повести угасает. Она становится достоянием писателей, хотя и осведомленных в русской истории, как, например, К. Масальский, но слишком уж озабоченных занимательным, остросюжетным повествованием в ущерб подлинной исторической глубине. Патриотическое содержание повести К. Масальского «Регентство Бирона» сужено до отрицания немецкого влияния и отступлений от православия. Тем не менее К. Масальский довольно верно обрисовал мрачную эпоху «бироновщины» с ее всеобщей подозрительностью, придворными интригами, грызней за власть и полной беззащитностью простых людей в царстве сыска и пыток. Романтическая повесть на историческую тему сохранила двойственный характер: документальность и вымысел, исторический фон и образы, бытовые реалии и занимательность не стали убедительным художественным сплавом. Не в последнюю очередь это объяснялось поверхностным усвоением принципов историзма. Человек еще не объяснялся историей, а был посажен на иногда даже детально выписанную историческую почву. Его поведение и переживания не были с ней органично сопряжены. Поэтому на фоне прошлого изображался либо современный характер, либо условный, книжный, сотворенный по известным литературным образцам. Лишь Пушкину, а затем Гоголю («Тарас Бульба») и Лермонтову («Бородино», «Песня про купца Калашникова») удалось сказать в историческом повествовании новое слово и приложить принципы историзма к произве-

дениям на современную тему («Евгений Онегин», «Герой нашего времени»). Утверждая это, не нужно, конечно, принижать и романтическую историческую повесть, ставшую важным этапом на пути к реалистическому повествованию. Стремление уловить и понять дух эпохи, внимание к историческим документам, к языку, к быту, правам, обычаям, костюмам — все это, безусловно, имело плодотворное значение для судеб русской литературы. Романтики первыми не только декларировали требования историзма и народности, но предложили в исторических повестях смелые и не пропавшие бесследно художественные решения, сохранившие до наших дней как познавательный, так и эстетический интерес.

В. Коровин





АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ



РОМАН И ОЛЬГА

Старинная повесть¹

I

Зачем, зачем вы разорвали
Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали:
Всему конец!
Что пользы в платье золотое
Себя рядить?
Богатство на земле прямое
Одно: любить!

Жуковский

— Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новгородский, брату своему. — Не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служит верой и правдой Новгороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах; удал на игрушках военных² и на все смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою клю-

¹ Течение моей повести заключается между половинами 1396—1398 годов (считая год с первого марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностью; а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели, для проверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома «Истории государства Российского» Карамзина, «Разговоры о древностях Новгорода» преосвященного Евгения и «Опыт о древностях русских» Успенского. (Примеч. автора.)

² Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том «Ист. гос. Росс.» Карамзина, примеч. 251.

чей на поясе, — он беден, стало быть, не видать ему за собой Ольги.

— У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского. — Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной?

— Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери?

— Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новгорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!

— Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь за человека, у которого нет тридцати снопов для брачной постели¹, у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе.

— Брат! Не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова².

— Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым!

— Чудный человек! Ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...

— Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать.

— Брат Симеон! Сердце не слуга, ему не прикажешь!

¹ Брак сопровождается был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер, под венцом стояли на соболе, по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подружки молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на тридцати девяти снопах разного жита, и один из дружек, с саблею в руке, должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клетки или сенника.

² Твердислав был посадником новгородским в 1219 году. О его великодушии смотри «Ист. гос. Росс.» Карамзина, том 3, с. 172.

— Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему — ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери жила б по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новгорода.

— Если б не торговые выгоды! — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои.

— Да, да, если б не торговые выгоды! — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. — Выгоды, которые сделали меня первым гостем новгородским, а мою дочь — богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги.

— И всегда и навсегда напрасно: Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! Ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угодку скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, иссохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!..

Слово *совет* пробудило гордость Симеонову.

— Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмутив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, наворачнувшиеся на глазах от речи Юрия. — Старшему брату поздно жить умом младшего.

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя — за помин о старшинстве. Один глядел в косячатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака; оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом.

— Прощай, братец! — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку.

— С богом, Юрий! Но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским.

— Если б даже ты угостил меня княжескими павли-

нами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...

— Вольному воля! — повторил раза два Симеон, провожая брата.

Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы; участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличный еще согражданами, не наделенный счастьем с своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину, но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого; судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды.

«Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бровным рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно, выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного, он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою, но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы, Роман издали прочитал беду на лице благодетеля. В иступлении немного отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье, наконец природа взяла верх: в два ключа брызнули слезы из очей юноши, он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветливой улыбкою, были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росой отрады.

II

Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.

А. Пушкин

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пальцами, вышивая ковер шелковый, и, между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношей, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческой подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви, тот незабвенный семик, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку и, когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты, ей казалось, как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шемахинский, и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев, на Поморье и на Подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами, по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким

благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богородицы¹. С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозного величия бича вселенной — Тимура, его роскошного двора, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекало внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смывки собак, багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые монголы, нежась на войлоках под шалевыми платками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царьграда». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину, от берегов Черного моря.

Неустрасимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих, твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов, ты млела в каком-то сладостном забытии, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проникали сердце. «Неужели все то правда, что поется в песнях?» — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей. «О, конечно! — отвечала няня. — В сказке — басня, а в песне — быль».

И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины,

¹ Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года); когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную. «Ист. гос. Росс.», том 5, с. 144—145.

сложенные Романом, и — неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: «Люблю, люблю Романа!» Ты спознала, непреклонная красавица, грусть и сладкие вздохи, и неясные желания, и, в награду бессонницы, сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещения, и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!..

Так лелеяла надежды свои невинная Ольга, но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня¹. Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него; еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою.

— Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку. — Выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависят.

Красавица вырывалась напрасно; рассудок советовал ей: «Беги!», сердце шептало: «Останься!» «Что скажут добрые люди?» — повторял разум. «Что станет с милым когда ты скроешься?» — замечало сердце. Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве.

— Ольга, — сказал тогда Роман, — я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи, бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих — счастье. Решайся!

Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Все кончилось! Все мечты, любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее, долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния, наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги.

— Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая. —

¹ Рюэнь — сентябрь.

И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего рода и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! Совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет, отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого.

Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам девы.

— Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою. — И вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностью! Вы, жалостливые только до песен, вы, из тщеславия пленяющие легковверных! Любовь ваша — одна прихоть, болтлива и летуча, как ласточка, но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным *нет* оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и все, меня окружающее, не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседей? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? Не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом все у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилостивого супружества немилостивого, говорю я?.. Но ведь женская любовь — привычка, долго ль красавице позабыть прежнее!.. И может статься, если переживу свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..

В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердце, он увидел слезы ее; они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе.

— Неблагодарный друг! — говорила красавица. — И ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? Думала ли получить такую награду, когда твои

вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. А теперь!

— Прости, прости меня, бесценная!.. — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение.

— Жить и умереть с тобою! — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым.

Души пылкие! Вам они понятны: вы изведали сии волшебные мгновения, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

— Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час пополуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье и, может статься, дождемся благословения отеческого.

Роковое *да* излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

Они в ручной вступили бой;
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют...

Дмитриев

Наступил день праздника.

Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников-литовцев, земляков-россиян. Владыка благословляет ясты, гремит труба, и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Все смешано, все дышат братством и дру-

жеством; благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя, любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой.

Протекли с того дня три века, изменились князья Новгорода, зато новгородцы остались те же. По-прежнему шумны как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает как пена, и незлопамятная рука новгородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую.

Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу.

— Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн, и все господа рыцари немецкие, и все ясные паны Литвы! — говорит ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенку русских: певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших.

Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новгородском. «Князь, — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери, этого довольно — меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал, потому что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новгороду и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путях, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения; он был счастлив!

— К играм, к играм! — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную.

Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике: они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках, закрыт от золотой шпору до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, страусовыми перьями. Забрало опущено, черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружающих садов, вьет пыль и окровавленную шпору вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи, тяжело вооружение и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита¹; кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные скважины глухого его забрала. Но вот расскакались противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, удар! — и копыта в осколках, и кони, сгрывувшись, поверглись наземь: рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимо и невредимо.

— Прекрасны ваши брони, — говорили, поднимая их, погородцы, — но для нас несручны: русский не согласится сидеть, будто в засаде, в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!

Литовские пятигорцы² на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое: легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прилбицы³ надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копыта, увенчанные полосами значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками

¹ Военно-торговое общество братьев *шварценгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову св. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию.

² Пятигорцы — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См.: *Opis starozytney Polski przez T. Syieckiego*. (Описание древней Польши, сочинение Т. Свицкого.)

³ Прилбица — шлем, а иногда наличник (*visière* — фр.).

и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув повод на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы¹ и, как перуном, разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством.

— Удалы наездники! — говорят про них меж собою новгородцы. — А не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских.

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветер, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удалцов; кулачный бой решит победу. Уж строятся стороны; особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на середину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склоняясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правою: вот удар — и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, смешались; воздух стонет от кликов, удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечаевого колокола: изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новгородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

— Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу. — Послы князей Василия Димитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новгородскому

¹ Самопалы — пищали и ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже.

вечу. Когда и как позволите вы явиться им перед собою?

— Теперь, сейчас! воскликнули тысячи. — Допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство.

Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженной головою, поклонился народу и читал:

«Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже- и Новгородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новгородцам!.. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших, я три года жду покорности новгородской митрополиту Москвы — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое: желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев: требуем того же от Новгорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на середину и громко вещал:

— Новгородцы! Вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли витязей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников¹. Так ли поступают союзники? Так ли платят за ласку нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги? Новгородцы! Хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бестрашных; я пущу огонь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!

¹ Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе Смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород), и литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новгородцы дали в управление приневские области.

Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников¹ проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Заверезжский, муж правдивый, но миролюбивый, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

— Народ и граждане, вольные люди новгородцы! Вы слышали предложение князей, вы чувствуете неправоту одного, и обидность угроз, и высокомерие княжее, но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляпдцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение — избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не все: немцы — приятели нам только в гостинном дворе и злодеи в поле; набег их на границы наши от Невы и Великой тому порукою — за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села, и монастыри, и запольские² посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов, теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?

— Правда, правда! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?

¹ Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники — *старшими*. Каждый *конец*, или часть города, имел своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житными людьми*. В боярское достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, то есть обществом, но оно не было наследственным. Простой, или черный, народ пользовался одинаковыми правами с прочими сословиями. Купцы, или гости, имели свою особую расправу — *в думе*.

² Запольские — загородные.

Тогда, кипя досадой и гордым мужеством, Роман просил слова.

— Говори! — зашумели все.

Роман говорил:

— Вольные местичи вольного Новгорода! Не диво было, когда послы князей винили и стращали нас по-своему, дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом, мы целовали крест на мир с рыцарями, — ужель будем играть душою, чтоб угодить Витовту? Ужели новгородская совесть отдана в приданое за его дочь? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше? Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новгорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтобы обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Чрез какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: «Пустой мех стоять не может!»

Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

— Говорят, что ключ от новгородской житницы в руках Василия, но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть не легко: в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны, зато в них нет единодушия: Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседями. Василий могущ, опасен — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! Разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? Разве серебряным лезвием отразили предки

булат Андрея Боголюбского? Наш колокол не дает спать в Кремле Василию; заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братий своих¹, или нет в Новгороде сердец новгородских, или не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на великий Новгород; за нас наша мать, святая София!

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!

Народная песня

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев; сон смежил очи заботы. Покойно все на берегах Волхова; только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! И сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя: ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези, прочитала молитву вечернюю, sprыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правою ногою за порог спальни. Добрая старушка! Для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки? Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и статью. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую,

¹ Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом семьдесят человек, терзали на площади московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». «Ист. гос. Росс.» Карамзин, том 5, с. 135.

но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отговоров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи?

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежную рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампы перед иконою обличает волнение беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и, наконец, решается встать с постели: долго ищет ножкою по холодному полу туфель сафьянных — каждый скрип половицы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Все было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних, изредка бречанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостинный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. Прости, в последний раз, все, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители! Ольга залилась горячими слезами, и невольно упала на колена перед Спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярче слышался голос раскаяния. «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца тяготеет над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истaeшь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои. Твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлою мыслию. «Нет! Не огорчу, не обесслаблю побегом родителей! — сказала она с благодарною твердостью. — Роман ослеплен любовью, но он меня послушает — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна, зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим.

Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

Под звездным небом терем мой,
 И первый друг мне — мрак ночной,
 И мой второй товарищ ратный —
 Неумолимый нож булатный;
 Товарищ третий — верный конь,
 Со мною в воду и в огонь;
 Мои гонцы неподкупные —
 Летуньи-стрелы каленые.

Старинная песня

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, неся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа, широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремя. Протяжный звон службы всеобщей раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице дево, радуйся» и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными.

«Мучительно оставить милую, — мыслил Роман, — когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного; да будет воля его святая!»

С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает, — то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепетается птичка, только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасной ему, как песнь

петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову, по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно; Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прят ушами, храпел, робко ступал, но все было тихо; Роман думал, что ему почудилось.

— Стой, или убью! — загремел неведомый голос, и пять удалцов, выскочив из-за обрушенных пней, из-под моста, заступили ему дорогу.

— Прочь, бездельники! — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покати́лся от сабельного удара.

— Режьте его! — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих: пробиться и ускакать была его единственная надежда, но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова: он с маху рванулся вбок, скользнул и полетел с мосту и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало.

Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их браных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях, три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой, с свистком в руке; атаман, с завязанною головою, лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту; вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опаматовался.

«Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву отечеству, о вине пути своего, наконец, со страхом схватился за грудь... На ней уже не было хранильной сумки, ни данных ему наказов,

ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерей.

Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности; мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай: великий князь грозит на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избежать; к этому один путь — золото. Бояре московские сдружились теперь с баскаками, любят столничать добром народа, собирают татарской рукою двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву, никем не знаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастья в битве, силу Новгорода и упорство новгородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных — с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому, святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману, кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы — все напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романи, мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его, он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой окуривал его жженым опереньем стрелы.

— Здравствуй, земляк! — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос.

Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и

сомнительный взор его остановился на приветствующем, и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст.

— Понимаю! — возразил, усмехаясь, атаман. — Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой; не дивись этому: гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец! Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободришь, однако, добрый молодец! Ты не в худые руки попал: я не век был разбойником.

С этими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим.

— Благодарю! — отвечал Роман. — Я еще не пью питья хмельного: оно для меня как яд.

— Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши. — Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением, но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разлитое море, но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело, я не мог снести бедности и правдивых укоров; ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскою на берега Волги, нечестным копьем добывать золота¹. Умолчу о злодейском молодецестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новгороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам, добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое

¹ Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новгородская вольница отправлялась в ладьях (ушкях) по рекам и грабила чужих и своих.

избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост волховский, разграбили, срыли под корень дома бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Мечь глубоко заронилась в оскорбленное сердце: как лютей зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея — и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и кажется, листья в лесу шепчут невинные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца — он не может забыть ни былого, ни вечного будущего!

Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника.

— Счастливцев ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом.

Он закрыл лицо руками.

В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса.

Конь Романов кипел под седлом; Беркут прощался с гостем.

— Вот твои письма, — говорил он, — и твое золото; оно невредимо. Спешу, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!

Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропею из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

«Ты без союзников!»

— Мой меч союзник мне
И сограждан любовь к отеческой
стране!

Озеров

Три дня ждали ответа послы княжие, в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними — все кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны, посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

— Послы московские и литовские! По своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им.

Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

— «Великому князю Василию Дмитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новгородских! Господин князь великий! У нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир». Только! — промолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину. — Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новгорода.

Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу.

— Новгородцы! — сказал он. — Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?

— Хотим дружбы со всеми соседями, — воскликнули тысячи голосов, — но, имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов!

— Война, война! — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь. — Гибель области Новгородской!

— Пусть Витовт творит что хочет — мы сделаем что должны! — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим:

— Новгородцы! Еще есть время одуматься, еще гром Василия не грянул над Новым-городом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет послуш-

ников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новугороду!

Упреки Путного раздражили народ: ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал:

— Московитянин! Вспомни, что ты говоришь не слугам князя: Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча, а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой; для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?

— Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы старицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом!

— Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все. — Но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца¹. Мы станем за свою правду, за свою старину, а кто против бога и Великого Новагорода!

Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, среди ужасов
природы,
Средь копий, среди мечей?

Батюшков

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новогородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татаринном, который, спесиво избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви: расчетливые монголы не смели касаться святынь, сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили

¹ Румянец, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего.

они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпение, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным: в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное *добро пожаловать* встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего чем-~~бо~~г послал и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Роман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи».

На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золототерные церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкою!.. А теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своею мыслию, узнал мысли великого князя: они были нерадостны новгородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны, но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя, товары их не были разграблены. Новгородцы радовались. Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча; Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с

милою, сладко билось сердце от поцелуя мечтательного... Вдруг, сквозь сон, слышит он скрип двери, бряцанье оружия, чувствует, кто-то схватил его руки: силится встать — его вяжут, клепят рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан, позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман все еще глотает ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новгороде, и отступил от изумления.

— Тебя ли, Роман, вижу я? — воскликнул он. — Когда и как ты сюда попался?

Роман рассказал, что его схватили как врага Москвы.

— Сожалею о твоей участи, — молвил Сыта, — но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью — однако ж не иначе, как с условием остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! Я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новгороде. Здесь не то: даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которую не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, — продолжал он, протягивая руку, — не правда ли, старый знакомец?

— Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием. — Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новгорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом! Нет, Евстафий, мне, видно, одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее.

— Ты получишь ее, упрямая голова! — с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью.

С гордою, утешительною мыслию — умереть за любовь и отечество — ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

Как мне слушать пересудов всех людских!
Сердце любит, не спросясь людей чужих;
Сердце любит, не спросясь меня самой.

Мерзляков

Быстро текут слова повести — не скоро делается дело. Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень, наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене; уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; все оживает, все радуется, — одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? Кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья, напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями: она дичится игриности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу.

С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! Он не может изменить, — говорила с собою невинная, — потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот недостойн взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого — когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, умереть на его могиле».

Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем.

— Ольга! полно горевать, полно упрячиться! — не раз говорил ей Симеон. — Слезам не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших; твой Роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне, безродном! Выбирай... женихов именитых мно-

го!..— И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован, выходил Симеон из девичьего терема.

«Это пройдет», — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород; Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина Иоанна с братьями, сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новгородцы звонили вече.

— Князь идет на нас; что делать? — спросили сановники.

— Предложить мир и готовиться к битве! — воскликнули все единогласно.

— Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха; Василий принял их, но не хотел слушать.

— Да будет! — сказали тогда оскорбленные новгородцы. — На начинающего бог!

Обнялись как братья и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди жите поскакали во все пятины, вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполнить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери.

— Послушай, Ольга! — сказал Воеслав решительно. — Я еду на службу Новгорода: чему быть, того не миновать, но если бог судит воротиться, мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Волотом: он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, очень богат! — промолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься!

Отчаяние помрачило взор Ольги; она не видела, как священник окропил отца ее святою водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских, не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка! какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад!

Русская пословица

— Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец, жаворонок! Как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти. Слтай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!

Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка.

Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины.

— Спишь или нет, товарищ? — шепотом спросили Романа.

Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» — отвечали:

— В этот раз добрые люди.

— Зачем?

— Спасти тебя от плахи.

— А эта цепь, эта решетка?

— Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы.

И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки; по веревке перелезли они через монастырскую стену — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они свортили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу: загадка Романа разгадалась.

— Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо

было ощупать все закоулки, и в одном погребке вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дня (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыба: куда ж едем? Отдохнуть ли в Новгород или биться к Орлецу?

— Туда, где мечи и враги! — воскликнул пылкий юноша. Они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицей за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников-двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копыям привязаны были кони; одни поили их из шипаков, другие лежали вокруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры. Пленный обратил речь к десятнику:

— Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете? — Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух и замолчал.

— Неужто вы, москвичи, только умеете такать? — продолжал пленник.

— Когда бы и вы, упрямые новгородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы.

— Что же там со мной сделают?

— Что сделают? Отправят на покой! — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву *П* на воздухе.

Ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом.

— Беркут!— сказал Роман атаману.— Спасем новгородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все.

Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «Сюда, товарищи!» — обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника: самые храбрейшие разбежались, другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал плененного и узнал в нем — Симеона.

— Добрый, великодушный юноша!— говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку.— Я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи; поспешим.

Роман, с радости о битве и невесте, перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью или он возьмет город копьем.

— У этого копья еще не выросло ратовье!— отвечали с насмешкою москвитяне.— Впрочем, милости просим: мы готовы мечом похристосоваться с дорогими гостями.

— Вперед!— воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы.

Новгородцы лезли и падали в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы¹. В это мгновение приспели наши путники.

— Други!— сказал Беркут разбойникам.— Мы долго жили чужбиной без чести — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!

¹ Стрикусы, пороки — стенобитные орудия, род таранов (bélîer — фр.).

Он указал на московское знамя, веющее на крепости новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна; русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою, но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новгородская прозвучала на отступление, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

Х

Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши в лад,
Пойте «Многи леты»!

Жуковский

В Новгороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о гибели первых воинов, о приближении войска княжого. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга молилась за спасение отца от опасности и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе. пронесли мимо сада, ворота закрипели, и два всадника въехали во двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу¹.

— Это батюшка, батюшка!

Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеним, и Ольга бросилась в объятия отеческие.

— Тише, тише! — говорил Симеон ласково. — Ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы поберечь для твоего жениха!

Это приветствие как громом поразило Ольгу.

¹ На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое.

— Милый батюшка, — говорила она, рыдая, — не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества, я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя.

— Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса — и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка.

— Нет, никогда, ни за что!

— Эй, дочь, не ручайся за свое сердце — да вот, кстати, и жених: он поможет развеселить несговорчивую!

Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу, но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой, взглянула она на приезжего.

Перед нею стоял Роман Ясенский.

— Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!

Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слышали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего правоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой, с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и стране. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!» «Как мила невеста!» — шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг! Не прав ли я в выборе?» — и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «Так, я *был* виноват!»

<1823>





ОРЕСТ СОМОВ



ВЫВЕСКА

Рассказ путешественника

Хлоп, хлоп, хлоп! Бич моего почтальона раздался в воздухе и перервал утреннюю мою дремоту, наведенную пасмурною, дождливою погодой и однообразным качаньем коляски по весьма не живописной дороге. Почтальон соскочил с седла, отпер дверцы коляски и, почтительно снимая шляпу, сказал мне: «Милостивый государь! Вы благополучно прибыли в Вердён; где вам угодно будет остановиться?»

— Где сам знаешь, друг мой; по мне все равно.

— В таком случае я приму смелость рекомендовать вам трактир на почте. Это лучший в городе: все иностранные принцы, все знатные путешественники в нем останавливаются.

Я кивнул головою в знак согласия; почтальон снова вскочил на седло, бич его снова захлопал и звонко отдавался по узким улицам города. Через несколько минут мы остановились у почтового двора, и хозяин трактира, вызванный на улицу со всею своею челядью приветливым стуком бича, подошел ко мне, приподнял свой черный шелковый колпак и, рассыпаясь в учтивостях, просил сделать честь его *заведению*.

Хозяин, сухой, как ученые разыскания некоторых антиквариев, и бледный, как муза некоторых элегических поэтов, повел меня в общую залу, засыпая на каждом шагу градом вопросов, догадок, предположений и тому подобного; а между тем он находил еще досуг отдавать приказания трактирному слуге, служанке и двум поваренкам. Все это говорил он с необыкновенною скоростию, как бы боясь, чтобы кашель и удушье, которым он был подвержен, не пресекли у него речи. Вот его-то без греха можно было назвать, по поговорке его единосемцев, *словесною мельницею* (moulin à paroles): отроду я не видывал

такого словоохотного и несносного болтуна и расспросчика, даже и из его братьи трактирщиков.

В первой комнате, за щеголеватую конторкой красного дерева с бронзовыми прикрасами, сидела молодая, пригожая девушка с прелестными черными глазами, в которых светился огонь чувства. Она была одета не нарядно, но очень к лицу и так ловко, как только умеет одеться двадцатилетняя француженка. Если бы были еще в моде чувствительные путешествия во вкусе женева Верна, то я описал бы вам все складочки ее платья, все сгибы, уголки и наклон ее тока и во всем этом искал бы ключа к душе, склонностям и привычкам красавицы; но теперь, на беду нам, путешественникам, настает век взыскательной сущности, и от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела.

— Дочь моя! — сказал трактирщик, оборотясь к пригожей конторщице. — Постарайся, чтобы требования этого господина выполнялись с возможною точностью и поспешностью. Смее спросить, милостивый государь, о вашем достоинстве: вы граф или маркиз?

— Ни то, ни другое, господин хозяин. Я просто русский путешественник, дворянин, если вам нужно это знать, и вот все, что могу вам объявить о себе.

— О, разумею! Вы, господа русские князья, изволите утаивать высокий ваш род по тонкому чувству снисхождения, чтоб уволить нас, бедных мещан, от должных вам почестей. Но мы тоже знаем свой долг.

— Я вам сказал о себе сущую правду. Прошу вас не величать меня теми титулами, которых не имею, если не хотите меня огорчить.

— Вижу, что вам угодно соблюдать строгое инкогнито. Извольте, пусть будет по-вашему: я тоже умею кстати быть скромным.

Несмотря на это обещание, когда он ввел меня в залу, то по всему видно было, что он готов был спустить с языка какую-нибудь нелепость вроде сказанных им прежде. К счастью, я взглянул на него вовремя, и мой взгляд наложил на него отрицательную скромность.

В зале сидел толстый, рыжеватый англичанин, с багровыми щеками и носом, с лицом, на котором рука покойной г-жи дю-Дефан так же легко могла бы обмануться, как и на лице соплеменника его Гиббона. Голова его,

за недостатком шеи, покоилась на груди; лучи света скоплялись на величавой его лысине, как будто в фокусе зажигательного стекла. Расставя врозь мясистые свои ноги, укутанные в длинные штиблеты дикого казимира, англичанин преспокойно и безответно выслушивал льстивые приветствия и корыстные предложения малорослого итальянца, бродячего художника, который вертелся и прискакивал около него, как кошка около жирного куска говядины. Рядом с англичанином сидела, и также безмолвно, его сожительница, высокая, сухая, с одним из тех холодных лиц, на которые боишься смотреть, чтоб не простудить себе глаза. По всему видно было, что эта чета, которой итальянец так щедро расточал названия: *Signor milordo* и *Signora milorda*¹, — была чета купцов из лондонского City, переехавшая на твердую землю поважничать перед чужеземцами и вымещать на них спесь и презрительные взгляды, какими с избытком и мужа и жену дарили в Лондоне богатые их сограждане. Четвертое лицо из находившихся в зале был француз самой подозрительной наружности. Он похаживал по комнате, поглядывал то на того, то на другого, останавливался, прислушивался и изредка пожимал губами.

Дурная погода производит на меня весьма сильное влияние: она совершенно владеет нравственным моим расположением. То, что в ясный день забавляло бы меня и смешило, в пасмурный и дождливый выводит из терпения. По сему-то и в вердёнской гостинице все было не по мне, все досадно: и болтливость хозяина, и спесь англичан, и низость итальянца, и приглядыванье и подслушивание неблаговидного француза. Это пагубное влияние усилилось даже до того, что красота молодой конторщицы начала мне казаться самою обыкновенною, а скромный ее вид жеманством провинциальной кокетки. Наконец, не в состоянии был долее сносить сего досадного ощущения, схватил я шляпу и, не сказав никому ни слова, назло погоде и своему здоровью, пустился бродить по улицам.

Я за правило себе положил в моих путешествиях везде осмотреть, разведать и отведать, чем славится какое-либо место. Особенно последнее наблюдал я во всей строгости, и не без причины: в винах, плодах и лакомствах, которые отвеживал я на местах, где они родятся или делаются, — признавал я вкус, склонности и досужество жи-

¹ Синьор милорд... синьора милорда (вместо: миледи; ит.).

телей и тем распространял круг моих нравственно-экономических наблюдений. И здесь, едва вышел я на улицу, как вспомнил, что Вердён славится своими конфетами, известными во Франции под именем dragée de Verdun¹. Нетрудно мне было их отыскать: в редком доме, особливо на главных улицах, не было вывески конфетчика: я заходил к каждому, покупал по целому пакету и все это складывал в огромный боковой карман широкого моего страннического плаща. Нагрузясь таким образом, возвратился я в свой трактир с хорошим запасом для послеобеденного моего десерта в коляске.

Уже я всходил на лестницу, как, оборотясь назад, увидел на другой стороне улицы очень замысловатую вывеску. На ней было намалевано обыкновенное цирюльничье блюдо с такой надписью: «Солнце светит для каждого» («Le soleil euit pour tout le monde»). Воображение тотчас сказало мне, что хозяин этой вывески должен быть человек необыкновенный, человек... человек... словом, другой Фигаро; любопытство подтакнуло воображению, прибавя, что мне непременно надобно с ним познакомиться. Я остановился на минуту, в раздумье снял шляпу и повел рукою по волосам, после по бороде, нашел, что и те и другая отросли и что мне нельзя продолжать путешествие в таком виде, если не хочу пугать собою встречаемых: самая основательная причина зайти к цирюльнику и продлить у него мое заседание! Не будь этой причины — я нашелся бы в великом затруднении: любопытство мое было сильно, и я избаловал в себе эту склонность тем, что всегда слепо выполнял ее прихоти; к тому же, не в похвалюбу сказать, я человек совестливый: не люблю даром отнимать у людей время, особливо у художников. В таком борении двух враждующих между собою чувств, не знаю, на что бы я решился: может быть — до чего не доведет обладающая страсть! — может быть, я решился бы вовсе без нужды пустить себе кровь или вырвать зуб, лишь бы только в угоду любопытству познакомиться с цирюльником и вывести его похождения.

Уже я перескочил через улицу — и в этом должны мне поверить: не только в провинциальных городах Франции, но даже и в самом Париже есть такие улицы, через которые без труда можно перепрыгнуть в один скачок. Короче: я в лавке цирюльника. Ко мне подошел высокий, статный

¹ Верденское драже (фр.).

молодой мужчина, с приятным лицом, кудреватыми черными волосами и большими бакенбардами, подровненными волосок к волоску. «В чем нужны вам мои услуги, милостивый государь?» — спросил он; и я без дальних околичностей указал ему на свою бороду и голову.

— А, понимаю, сударь! Вас нужно обрить, остричь, завить и причесать по самой последней моде, не правда ли?

Я мигом сделал свои соображения: все, что предлагал мне цирюльник в своих догадках, взятое вместе, займет его долее и, следовательно, даст мне более времени поразговориться с ним и перасспросить его.

— Правда, друг мой; ты отгадал.

— Ребята! Бастьен, Жано, Блез! — И три мальчика, в белых фартучках и с волосами в бумажках, явились на зов своего хозяина.

— Мигом: горячей воды, бритвенный прибор, ножницы, гребни; чтобы завивальные щипцы были на жару... Я сам буду иметь честь убирать господина.

Покуда мальчики управлялись, я окинул глазом вокруг себя. Комната была убрана очень опрятно и даже с некоторою роскошью: столы, стулья и прочая мебель красного дерева, на окнах чистые кисейные занавески. Большое зеркало висело между двумя окнами; под ним, на столике, разостлана была синяя салфетка с красивыми узорами, а на ней разложены были бритвы в разных футлярах. Другое большое зеркало (*psyché*) стояло у глухой стены, а на другой стороне, у стены же — шкаф со стеклами, задернутыми тафтою; на шкафу лежала гитара. Хозяин стоял предо мною в платье тонкого сукна и довольно новом, с тонким чистым фартуком, который нашел он тайну как-то щеголевато опоясать вокруг тела.

— По всему видно, друг мой, что ты доволен своим состоянием, — сказал я ему.

— Не жалуюсь, сударь: я имею довольно обширную практику. Господин мэр здешнего города никому, кроме меня, не хочет вверить головы и бороды своей; все, кто познатнее и побогаче, также ко мне идут или за мною присылают, не считая молодых и пожилых модниц, которых и здесь, как и во всяком другом городе Франции, можно было бы набрать порядочный легион. И вот недавно еще была у меня депутация от отцов иезуитов, чтобы

я взял на свое попечение их головы, когда они оснуют свое пребывание в нашем городе.

— Берегись, мой друг, ты возбудишь во мне зависть.

— Ах, сударь! Участь моя точно была бы завидна, если б не вмешались сердечные обстоятельства...

— Ты несчастлив, мой друг,— вскрикнул я, не дав ему кончить,— в твои лета, с твоею наружностью, с твоим талантом — несчастлив в любви... Можно ли это? Кто ж эта жестокая? Расскажи мне печальную твою повесть.

Многие, конечно, подивятся таким восклицаниям, но это с моей стороны был тоже небольшой расчет. Я знал, что ничем нельзя легче растрогать и задобрить француза, как участием и будто бы невольными сказанными приветствиями,— и не ошибся. Цирюльник мой приосанился, слегка пощипал себя за бакенбард и сказал:

— Вы напрасно назвали девицу Селину Террье жестокою: скажу вам, что она равнодушна была к тем небольшим достоинствам, которые вам угодно было во мне найти. Нет, милостивый государь! Возьмите назад свое обвинение! Моя Селина имеет не каменное сердце. Вы ее видели, вы должны были ее видеть; скажите, похожа ли она на жестокую?

— Как! Это?..

— Это дочь старого, удушливого скряги Террье, содержателя гостиницы, что на почте, где, верно, и вы остановились.

— А, а!.. поздравляю: ты умел выбрать по себе.

— Не правда ли, сударь?.. Скажу вам больше: и повесть моя не так печальна, как вы думаете. В ней есть, конечно, темные пятна, зато есть целые полосы и других цветов, посветлее и повеселее.

— Любопытен бы ее слышать: эта пестрота обещает в ней что-то очень цветистое, и я давно уже предубежден в пользу повествователя.

— О, сударь! Вы слишком милостивы,— примолвил он тихим голосом, с скромным, но довольно в себе уверенным видом.— Впрочем, чтоб вам не скучно было сидеть,— слабые мои дарования в рассказе к вашим услугам.

В сердце у меня стало тепло от удовольствия, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку; однако ж я по возможности скрыл свою радость, чтобы не подать рассказчику моему подозрения пасчет корыстных видов моего прихода. Я отвечал ему простым уверением, что мне приятно будет узнать его жизнь и подвиги. Вот почти

слово в слово собственный его рассказ, за исключением только некоторых междометий, когда ему случалось, заговорившись, делать не то, что надобно; и некоторых коротких выходов против его мальчиков за то, что вода не довольно горяча, а щипцы слишком раскалены, и т. п.

Я уроженец здешнего города. Отец мой был парикмахером и в старинные годы славился здесь тем, что с отличною ловкостью и приятностию начесывал *голубиные крылышки* (ailes de pigeon) на головах здешних модников и взбивал огромные шиньоны на величавых челах здешних красавиц. Он считался очень достаточным человеком, имел обширное волосочесальное заведение и мог бы со временем сделаться важным капиталистом; но революция все оборотила вверх дном: парики слетели с голов, пудра рассеялась по воздуху, как дым славы, голубиные крылышки опустились и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях. Место их заступили не только не чесаные, но еще нарочно всклокоченные головы; целые толпы парикмахеров, за неимением лучшего дела, пошли по миру, в том числе и отец мой разорился. Однако ж, как человек сметливый, он не утопился с горя и не сделался пьяницей от нечего делать; но, припрятав гребенки и завивальные щипцы, из прежних своих принадлежностей оставил при себе один фартук и определился служителем в один славный по тогдашнему времени кофейный дом, носивший не помню какое-то грозное революционное имя. Хозяин этого дома славился своею изобретательностию и тою применчивостию к обстоятельствам, которую в нынешнее насмешливое время называют *флюгерством* (le girouetisme): он придавал самые патриотические в тогдашнем смысле названия своим мороженым, питьям и сластям; от этого дом его был беспрестанно полон, а карман и того полнее. Здесь отец мой умел снова поставить себе посильный капиталец из крох и опивок многочисленных посетителей кофейного дома; и как сыну неприлично клеветать на память отца своего, то я не скажу положительно, чтобы как-нибудь, ошибкою, западало иногда к нему в карман что-либо хозяйское. Девушка Флора, молодая конторщица, была крайне дружна с отцом моим, который, сколько я мог судить по остаткам, был детина видный и очень не дурен лицом: мудрено ли, что они вместе вели счет исправно? Хозяин был доволен, они не жаловались, а мне и того

меньше причин жаловаться, потому что взаимной их дружбе я обязан бытием моим. Короче: лет через пять отец мой и девица Флора пришли к хозяину, объявляя, что не могут более служить ему, разочлись с ним, получили сполна выслуженные у него деньги и в тот же день заключили брачный свой союз пред лицом муниципального сословия. Девица Флора, ставшая г-жою Жак, имела тоже за собою не одно ремесло: еще до вступления своего в кофейный дом, она прошла полный курс воспитания в разных модных магазинах и выучилась искусно делать цветы и головные уборы, шить дамские платья и... всего не припомнишь. Молодые супруги наняли уютную и опрятную квартиру. Мадам Жак снова принялась за иголки, проволоки, шелка и разноцветные обрезки; мосье Жак снова отыскал свои щипцы и гребенки и начал завивать модные головы *а-ла Титюс*; они прибили над дверьми своей квартиры красивую вывеску, на которой написаны были римляне с курчавыми головами и римлянки в новомодных тюниках и с цветочными уборами в волосах; замысловатая надпись на вывеске: «Aux têtes romaines: Citoyen Jacques, coiffeur, et sa femme, fleuriste et marchande de modes»¹ — еще более придавали цены магазину в понятиях тогдашних патриотов. По этому заманчивому названию магазина, а еще более по новости модники и модницы налетали роями, и если не мед, то деньги оставляли в нем. Дела моих родителей пошли как нельзя лучше: к довершению их счастья, небо укрепило еще более союз их, послав им меня. Отец мой хотел назвать меня просто Жаком, чтоб увековечить это имя в нашем роду, но мать моя доказала ему, что такие имена были тогда не в моде и что мне должно было дать какое-нибудь громкое имя греческое: отец мой и тут, как и во всем, послушался жены своей — меня назвали Ахиллом.

Не стану вам рассказывать истории первых лет моей жизни и перейду к моему воспитанию. На восьмом году возраста меня отдали в школу, где я многому кое-чему учился; иное понимал и теперь помню, другого не понимал и теперь вовсе не знаю. Но, признаюсь, понятнее всего были для меня романы, которые читывал я украдкою. Они с самых ранних годов показывали мне свет сквозь розовое стеклышко, которое теперь, с прибавкою

¹ Римские прически: гражданин Жак, парикмахер, и его супруга, цветочница и модистка (*фр.*).

лет и опытности, хотя отчасти и потускнело, но все еще не изменило прежнего своего цвета. В школе, куда я ходил целые семь лет почти каждый день, обучались также и девушки. Не понимаю, почему многие чужестранцы дивятся ловкости и развязности французов в обращении с женщинами и той светскости, тому знанию приличий, которые замечаются у нас между людьми почти всякого состояния. Разве эти чужестранцы не знают, что у нас оба пола с молодых лет привыкают быть вместе; что воспитание, игры детства и проч. доставляют нам к тому беспрестанные случаи? От этого мы привыкаем к вежливости в таком еще возрасте, когда у других народов дети низших званий не имеют о ней ни малейшего понятия; от этого мы рано приобретаем тонкое чувство приличия, которое назначает должные границы между позволительным и непозволительным в обращении с прекрасным полом и отмечает все грубое, резкое и непристойное в речах и поступках. И вот где, милостивый государь, должно искать источника светскости и обходительности французов.

Я сказал уже вам, что в той же школе обучались и девушки. Иные были старше меня, а из тех, которые были одних со мною лет или моложе, ни одна мне не нравилась: следовательно, я не мог еще молодым моим воображением сделать поверки тому, что читал в романах. Пять лет уже сидел я на школьной скамье, был первым в ученье и в играх и тем заслуживал уважение от мальчиков; девушки часто заглядывались на меня, и, без хвастовства сказать, *monsieur Achille*¹ слыл первым учеником, первым затейником и первым красавцем, словом, Фениксом своего училища. Около этого времени привели к нам в школу милую семилетнюю девочку с таким пригоженьким личиком, с такими черненькими, блестящими глазками, с таким умильным, сиротливым взглядом, что я в одну минуту почувствовал к ней жалость и какое-то непреодолимое влечение. Вы, конечно, знаете, сударь, школьную повадку, по которой всякого новобранца принимают на искуc, т. е. старые ученики придираются к нему, щиплют его, дразнят и подсмеивают; и если он выдержит это испытание, т. е. если не плача и не жмурясь вытерпит щипки, толчки и насмешки, или если он такой смельчак, который, несмотря на неравенство сил, станет драться со всяким и покажет

¹ Господин Ахилл (фр.).

удальство и проворство в ручном бою, — тогда его больше не трогают и объявляют добрым товарищем. Такой искус при вступлении моем в школу выдержал я с успехом, и это отчасти было немаловажною причиной, по которой школьные товарищи начали меня уважать.

Девушкам тоже бывают испытания, хотя и полегче: их не заставляют терпеть толчки и щипки. Так было и в этот раз: увидя, что бедное дитя робко и сиротливо поглядывало на всех и не смело мешаться в наши игры, все — и девочки и мальчики, начали над нею подшучивать, пугать строгостию школьной жизни, темною комнатою и разными наказаниями. Малютка расплакалась, и за это ее пуще прежнего начали дразнить. Я тотчас за нее вступился, стыдил девушек, особливо взрослых, и объявил мальчикам, что дерусь со всяким, кто станет обижать ее. Видя, что я взял маленькую ученицу под свое покровительство, и зная на деле, как верно я держал свое слово, в один миг все от нее отстали; я подошел к ней, утешал ее, приласкал и уверил, что это была только шутка новых ее товарищей. Милая малютка положила свои ручонки ко мне на плечи, подняла прелестную свою головку вверх и поблагодарила меня таким умильным взором, с такою радостной улыбкой сквозь слезы, что у меня сердце забилося сильнее обыкновенного и я тут же поклялся быть всегдашним ее другом и защитником. Вы, может быть, уже догадались, сударь, что эта малютка была Селина Террье.

Два года еще после того оставался я в школе. Селина подрастала на моих глазах и час от часу более ко мне привязывалась. В играх она старалась быть как можно ближе ко мне; обижал ли ее кто — она тотчас подбегала ко мне и жаловалась. Вы не можете вообразить себе того удовольствия, которое чувствовал я, когда она, бывало, сядет подле меня, ласкается ко мне, гладит меня по лицу маленькою своею ручонкой и называет меня своим другом, своим единственным другом. Наконец родители взяли меня из училища. Это стоило многих слез Селине, и, признаюсь, мне самому было грустно ее оставить. Однако ж я под предлогом, чтобы повидаться с прежними моими школьными товарищами, каждый день заходил в училище и всегда выбирал те часы, которые учениками даются для отдыха и для игр. Селина выбегала ко мне навстречу, весело и приветливо кричала мне еще издали: «Здравствуйте, добрый мой друг!», рассказывала мне обо всем, что с ней случилось: о своем ученье, забавах и детских

горестях. Всякий раз приносил я ей или куклу или лакомства, и милая малютка благодарила меня за них, как за самые драгоценные подарки.

Между тем годы неслись вперед. Селина все подрастала и с каждым годом становилась стройнее и пригожей. Уже я видел в ней не резвое, игривое дитя, но прелестную девушку, расцветавшую как юная роза в весеннее утро; уже в обращении со мною она показывала более скромности и даже некоторую застенчивость, хотя и не отбросила прежней своей доверчивости; уже я видел в ней будущую подругу моей жизни и наперед сулил себе блаженство в союзе с нею, не предполагая и не воображая никаких препон. Вместо кукол и лакомств начал я носить ей мадригалы, экспромты и триолеты, которые кропал для нее на досуге, и, скажу откровенно, сударь, — некоторыми из них сам был очень доволен. Селина принимала их с такою ласкающею улыбкой, с таким блеском радости в глазах и читала их с таким умильным выражением голоса, что я считал себя, по крайней мере, наравне с нашими Буфлерами, Доратами, Леонарами и другими стихотворными поклонниками прекрасного пола и признавал в себе решительный дар поэзии.

Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли — скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойной склонностью беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что *маленький* наш *капрал*¹ променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как, сударь, оправдывается наша пословица: желание лучшего — враг добру (*le mieux est l'ennemi du bien*). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от модного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, назло старому Террье, отцу Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, под-

¹ *Le petit caporal*, шуточное название, которое французские солдаты давали Наполеону. — Цирюльник рассказывал повесть свою русскому путешественнику в 1820 году, когда Наполеон был еще жив на острове св. Елены.

купал почтальонов, чтобы они завозили к нему проезжих, всякими неправдами переманивал от нас постояльцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листах — и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.

Я побежал сказать Селине о нашем несчастье, думая, что как-нибудь прокрадусь в приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видаться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. «А, любезный господин Ахилл, — сказал он мне с самою злою улыбкою, — вы, верно, отскиваете здесь кого-нибудь из коммиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек — не братья не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей — вот ступеньки вниз и на мостовую!»

Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины, — и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд; в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такой ужимкой, которая ясно говорила: «Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы». Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице.

С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой — уже не в большой и богатый трактир, а в скучную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня

новые неприятности: вместо прежних нарядных мебели увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотовство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку; отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрой, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом, они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира... бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась вверх и задушила его. Я распродал остальное, убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня никто не знает, — думал я — и исполнил.

Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молода и богата, за нее най-

дуются многие женихи; почему знать? Может быть... и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице — *отсутствующие всегда виноваты*. Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж меня тревожили; самолюбие в некоторых случаях есть одна из самых утешительных наклонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне — по крайней мере в моем воображении — самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.

Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль — усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но *человек обдумывает, а бог определяет!* Я накопил десятка три *наполеондоров* и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неугомонная страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем, взглянул на него и вскрикнул: «Это ты, Жорж?» — «Это ты, Ахилл?» — был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. «Да, — продолжал он, — это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой — Жорж *Ламитраль*, к твоим услугам». — «Уже ли?..» Жорж не дал мне закончить. «Прибереги свои

ужели до другой поры, — сказал он, — а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память *старой* нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною, по**п**раздновать вместе встречу с *старинным* другом?» Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и чрез минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.

Между шутками и смехом, которыми сопровождалась каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила — и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он *скоро* забыл все свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; он пел, пил вино и проказил за четверых.

Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул рука на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь, — я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.

— Послушай, любезный Ахилл, — сказал мне Жорж, — ты, мне кажется, пьешь за здоровье своей красавицы и пьешь, как красавица.

— Нет, мой друг; ты видишь, что я не отстаю от других...

— Не отстаешь! и только-то?.. Ведь ты у нас гость, и мы тебя потчуем; так ты должен пить за честь *нашего* полка и за здоровье каждого из собеседников.

Рюмки снова зашевелились, я видел, что мне не отделаться ничем от этой пирушки, и пустился пить наудалую все, что в меня ни лили. Пирушка делалась шумнее и шумнее; начались взаимные уверения и клятвы в вечной, неразлучной дружбе...

— Эх, друг Ахилл, — сказал мне Жорж, ударя меня по плечу, — для чего ты не будешь с нами на поле чести?.. Сказать ли тебе за тайну то, что и сам я слышал за тайну: полк наш идет с большой армией в *Московию*; ты помнишь, еще в школе учитель географии сказывал нам, что там-то золотые горы, особливо в Сибири, немного в сторону от

Москвы. В этом городе есть даже огромные колокола из чистого серебра, а куполы церквей покрыты кованым золотом... Я ведь знаю твою историю: ты любишь в нашем городе Селину Террье и прочее и прочее — все знаю. Послушайся меня: в Москве мы столько накуем наполеондорев, что каждый из нас, верно, возвратится в карете, которая до верху будет набита золотом; притом же офицерские чины, которые вольноопределяющимся легко схватить, знаки отличия, раны, славное имя... Кого это не сведет с ума? Не только старый Террье — сам Великий Могол за честь себе поставит иметь такого зятя.

Товарищи Жоржевы, вслушавшись в наш разговор, также пристали ко мне и начали меня подговаривать и сулили воздушные замки, льстили моему самолюбию... Короче, сударь: хмель, золотые надежды, пробужденное честолубие желание теснее сблизиться с такими славными молодцами... короче, сударь: на другой день я проснулся с тяжелою головою, но в легком солдатском мундире. Новые товарищи поздравили меня, рассказали, что я накануне сам доброю волею записался в их полк и был у командиров, что имя мое внесено в полковой список и проч. и проч. Делать было нечего: уйти я не мог и не думал, потому что считал побег бесчестным и не хотел подать худого о себе мнения новым моим сослуживцам. Я остался солдатом и ревностно принялся за нежданную мою должность.

Полк наш через день после того отправили в поход, прошел всю Германию, где все клонилось тогда перед нами; наконец увидели мы берега Немана. «Так вот Россия; так здесь-то мы попируем, здесь-то будем тонуть по горло в золоте и возвратимся крезами!» — думали мы. Вы помните, сударь, как сбылись наши пышные надежды... Но не стану забегать вперед и расскажу вам главные со мною случаи в этом походе, который и теперь еще часто пугает меня воспоминанием, как недавний, тяжкий сон.

С самого перехода чрез Неман мы увидели, что не все так хорошо шло, как нам обещали. Мы, правда, довольно скоро дошли до Смоленска; но здесь нам должно было каждый шаг вперед покупать нашей кровью.

Поле Бородинское встретило нас такою потехою, какой и самые старые служивые, по их признанию, сроду не видывали. Здесь уже некоторые из наших солдат вспомнили и начали потихоньку напевать старый романс:

Худо, худо, о французы,
В Ронсевале было вам!

Но мы все еще не лишились бодрости: высокое мнение о воинских познаниях Наполеона и его генералов, уверенность в непобедимости наших войск и двадцать лет постоянной славы одушевляли даже самых робких из нас... Так шли мы от Можайска к стенам Москвы. С одной горы засияли перед нами куполы церквей и башен московских; сердце каждого из нас распрыгалось от радости: еще одно, положим, самое упорное сражение — и мы в стенах столицы русской! По знаку, войско наше остановилось: из колонны в колонну, из ряда в ряд пронесся слух, что уже никакого войска не было в Москве и что здесь явится к Наполеону депутация и поднесет ему городские ключи. Ждем несколько времени — никто не является: в обширном городе мертвая тишина, как будто бы ужасный мор в одну ночь истребил всех жителей, как будто бы эти высокие башни, эти огромные здания стояли теперь надгробными памятниками отжившего населения!... Впереди нас и поодаль от всех генералов Наполеон расхаживал с явными знаками нетерпеливости: он то расстегивал, то застегивал свой сюртук, то быстрым движением срывал с руки перчатку, то снова надевал ее; поминутно поворачивал на голове шляпу, иногда даже снимал ее, как будто бы ему было душно, тяжело! То, сложя руки, тихо расхаживал он туда и сюда, и казалось, был в самом неприятном раздумье; то вдруг, раскинув руки, начинал он ходить быстрым шагом, щелкая пальцами, как будто бы этим движением хотел отогнать от себя какую-то досадную мысль. В таких, почти судорожных приемах и оборотах, со всеми признаками своенравного, упрямого ожидания, провел он более получаса, поминутно поглядывая на большую дорогу к городу... Депутация не показывалась, и даже не было надежды ее увидеть. У нас что-то тяжелое легло на сердце; мы сомнительно переглядывались между собой, как будто желая спросить друг у друга: что из этого будет? Но все, и старшие, и младшие, хранили набожное молчание: все видели, что *маленький* наш *капрал* сердился, и знали, что в этом расположении духа он не любил шутить. Вдруг он обернулся к войскам, громко и гневно крикнул: «Вперед, к городу!» — и все понеслось за ним. Приближаемся к заставе — все тихо, как в могиле; проходим по улицам — нигде нет ни души, дома заперты, площади и рынки пусты; вместо радостного торжества победы какое-то зловещее уныние овладело нами: каждый из нас думал: это не к добру! Нам грозят или тайные подкопы и засады,

или голодная смерть в стенах огромного опустелого города. Но всякое неприятное ощущение недолговечно у французов, особенно там, где их много вместе. Мы доедали последние крохи, покинутые в Москве ушедшими жителями, и от скуки, для препровождения времени, распивали вина, оставшиеся в погребах богачей, растаскивали дорогие вещи из их домов, ломали и портили то, чего не могли унести, и, роясь в земле и в подвалах, искали запрятанных сокровищ. Вы скажете, сударь, что руки у нас не совсем были чисты, но таков был тогдашний наш военный дух: понятие о славе поселяли в нас неразлучно с понятием о богатой контрибуции; а все то, что каждый из нас мог захватить у вооруженного ли, безоружного ли неприятеля, считалось честною добычей.

Не долго, однако ж, могли мы спокойно хозяйничать в Москве: начались непрерывные пожары, и мы были в поминутном страхе, чтоб нас и самих не сожгли вместе с городом. Продовольствия час от часу уменьшались; фуражеров наших или ловили русские партизаны, или душили крестьяне. Притом же носились слухи, что Москва отовсюду окружена была русскими войсками, которые ждали нас, как обреченную свою добычу, и уже заранее пировали нашу гибель. Ропот, неразлучный спутник отчаяния, начал явно возвышать свой голос в рядах нашего войска. «Зачем он привел нас сюда? Разве он хотел, чтоб мы поколели с голоду как тощие собаки; либо были изжарены медленным огнем как сельди у парижских наших торговков?» Таковы были речи почти у всех наших солдат. Доверенность к предводителю войск исчезла; чувство эгоизма и своекорыстия заступило место согласия и привязи между простыми воинами и даже между офицерами; жуткий страх вытеснил прежнюю бодрость и отвагу. Москва нам опротивела: нам было в пространнх стенах ее, как в тесной и душной могиле. Мы нетерпеливо ждали как блага той минуты, когда выступим из этого города, хотя и чувствовали, что нам нельзя было бороться с неравными силами бодрого, ожесточенного неприятеля. Но в тогдашнем положении дел явная гибель казалась нам сноснее томительной неизвестности.

Наконец, после шести недель страданий и мучительных тревог, нам сказан был поход. Но какое жалкое и вместе странное зрелище представляло наше войско по выходе из Москвы! Число солдат крайне уменьшилось, и оставшиеся в рядах наших были как выходцы из того света:

бледны, тощи и слабы. Вместо красивых мундиров на них оставались либо противные для глаз лохмотья, либо пестрые, шутовские разнорядки, в коих наряды московских щеголих мешались с мужским платьем старого покроя с облачением духовенства и обувью русских крестьян. Это еще не все: нас встретила преждевременная суровая русская зима, по пятам за нами гналась сильная армия, которая каждый день истребляла у нас часть войск, отбивала обозы и пушки и отнимала все способы продовольствия; впереди ждала нас другая, значительная часть русского войска и перерезывала нам переправу чрез Березину. Нестерпимый холод, недостаток в пище, теплой одежде и обуви действовали на нас как повальный мор; какое-то оцепенение всех умственных способностей, какая-то ледяная бесчувственность заставляла нас равнодушно смотреть, как вокруг нас десятками и сотнями падали бедные наши товарищи. Я долго выдерживал всю жестокость непогод, всю тягость лишений; долго крепился и не слушал товарищей, которые подговаривали меня отстать от армии, чтобы промышлять себе пищу мародерством; наконец, все другие чувствования во мне притупились: понятия о чести, об обязанностях воина и о долге повиновения уже для меня не существовали. Одно темное чувство самосохранения, один неумолкающий голос мучительных нужд говорил во мне: я хотел только хлеба, требовал только хлеба и готов был купить его ценою собственной жизни или жизни лучшего моего друга. Я сам уже начал подговаривать солдат нашего полка: человек тридцать согласились идти со мною, и мы начали понемногу отставать; наконец пошли в сторону от большой дороги, по полю, покрытому снегом; бедная тварь, полковая наша собака, поплелась за нами. Она была так тоща и худа, что кости чуть держались в коже; но каким-то чудом осталась жива и не отставала от полка. Я любил бедную *Сантинель* (так называлась собака) и, пока мог, делился с нею последней коркой, последним черствым сухарем; зато и она была ко мне крайне привязана и почти от меня не отходила.

Товарищи выбрали меня своим предводителем, и я повел их прямо по тому направлению, по которому, вдалеке, что-то чернелось сквозь снег и казалось нам небольшою деревушкой. Однако ж мы обманулись: это был мелкий лесок. Из предосторожности я повел небольшою свой отряд по опушке этого леска; вдруг вижу — не-

сколько человек конницы едет прямо к нам. Мы думали, что то был казачий разъезд; я велел солдатам своим рассыпаться за деревьями и стрелять из сей засады в случае, если нас заметили и станут на нас нападать. Конные приблизились к нам на ружейный выстрел, и мы без труда узнали в них наших единомышленников, конных егерей не помню которого полка; их было восемь человек. Я показался из своей засады, сказал приветствие землякам и спросил их, куда они ехали?

— Я думаю, туда же, куда и вы идете, товарищ! — отвечал весельчак-трубач, ехавший немного впереди прочих.

— Если так, то мы можем совершить этот поход вместе.

— О, без сомнения! Тем больше, что мы, хотя и конные, а кажется, вас не опередим: бедные наши твари насилиу волокут ноги.

— Позвольте узнать, — спросил я у речистого трубача, — кто у вас командир отряда?

— Я к вашим услугам, — отвечал он, — и выбран в эту почетную должность вместе с качеством парламентаря потому, что разумею немного по-немецки.

— Но здесь говорят не по-немецки, а по-русски.

— Все равно: я стану им говорить по-немецки, а если не поймут — могу по нужде сказать несколько слов по-итальянски и даже по-испански.

— И можете быть уверены, что вас также не поймут.

— Вот еще! Да на каком же языке им говорить?

— Я думаю, лучше всего, если можно, на русском.

— О! так поздравляю вас: один мой приятель, польский улан, продиктовал мне слов десяток на своем языке. Я записал их; они тут... Черт возьми, какая рассеянность! Теперь только вспомнил, что еще в Москве раскурил трубку эту бумажкой.

Мы засмеялись; трубач и сам со смехом сказал: «Это небольшая беда, сладим как-нибудь». Я первый вызвался уступить ему главное начальство над нашим соединенным отрядом; он пожеманился немного, повторил несколько раз, что уверен в высоких моих познаниях по части тактики, — и, однако ж, принял команду. Мы пошли по небольшой, едва протоптанной тропинке, которая вела из лесу. Конница наша построилась по четыре в ряд; трубач, наш командир, ехал на правом фланге, а я, сомкнув небольшую нашу пехотную колонну в каре, шел следом за

конницей. Скоро мы завидели довольно большое селение, в пустынном месте, далеко от большой дороги. Ни одна душа не показывалась; все было тихо и безмолвно, и не было никаких примет, чтобы там находился какой-нибудь неприятельский отряд. Однако ж мы шли с большою осторожностью. Подойдя на пушечный выстрел к селению, трубач, наш начальник, остановил нас и рассудил за приличное сказать своему войску следующую прокламацию:

— Солдаты! готовьтесь к жаркому, отчаянному делу. Впереди ждут нас победа, слава и хлеб; позади — голод, холод и постыдная смерть. Виват Наполеон! Вперед!

Мы бросились вслед за храбрым трубачом к самым ближним домам. При нашем приближении мужчины и женщины, старый и малый выскочили опрометью из этих домов и с криком и плачем побежали внутрь селения. Трубач наш, как опытный начальник, расставил трех человек из своей конницы для наблюдения и сказал нам, что в случае опасности он затрубит сбор; тогда мы должны все сбегаться и съезжаться в тот двор, где он сам будет. Выслушав сей приказ, мы рассыпались по домам, которые стояли перед нами; первым нашим движением было отыскивать хлеб и съестные припасы. Мы подкрепили свои силы и брали в сумы, что могли. Скоро, однако ж, должно было прекратить эти поборы: не прошло десяти минут, как роковой зык трубы раздался у нас в ушах. Мы выбежали на улицу и услышали страшный шум и звон колоколов; мы, не помня себя, вскочили в тот двор, откуда слышался призывный рев нашего трубача, — и по следам нашим густая толпа крестьян обступила двор, в котором едва мы успели запереть накрепко ворота. Число крестьян беспрестанно усиливалось новыми, которые сбегались со всех сторон. Иные скакали верхом, другие бежали пешие; у многих были ружья, винтовки, пистолеты, копыя и сабли, и кажется, это были земские ратники: ими командовал человек в черной меховой шинели, с подвязною шапкой на голове; он разъезжал на добром коне, строил своих ратников и был вооружен с ног до головы: мы заметили у него в руках саблю, за плечами ружье, а за поясом большой турецкий кинжал и пару пистолетов; другая пара была в ольстрах его седла. Прочие крестьяне вооружились, кто чем мог: косами, отпущенными напрямик, топорами, насаженными на длинные палки, большими ножами, дубинами, кольями и проч. Перед ними шел священник с

крестом, а за ним несколько причетников с хоругвями и образами. Мы едва успели построиться на широком дворе, как человек в черной шинели, подняв саблю вверх, закричал нам по-французски: «Сдайтесь!» Но испуганные рассказами наших товарищей, которые уверяли, что крестьяне русские не щадят и сдающихся, мы вместо ответа пустили несколько выстрелов. Священник, раненый, зашатался; но видно было, что он не переставал ободрять своих прихожан: нам отвечали целым градом выстрелов, которые, однако ж, не могли нам вредить по высоте забора. Черный человек отдал приказ — и в минуту сотни крестьян явились с огромными пучками соломы; несмотря на меткие наши выстрелы, несмотря на то, что многие из отважных падали мертвые, — другие беспрестанно заступали их места и в короткое время обложили соломою весь двор и зажгли ее. Мы поздно заметили нашу оплошность; хотели отступить на соседний двор — но уже и там пылала солома. Громкое радостное *ура!* осаждавших крестьян раздалось в воздухе. Нечего было делать; огонь и дым мешали нам стрелять в осаждавших; строение со всех сторон запылало, и нам становилось нестерпимо жарко. Мы решились испытать последнее средство: пройти сквозь прогоревший и рухнувший забор, быстрым движением пробиться сквозь неприятеля и отретироваться в поле. Соблюдая еще некоторый порядок, мы бросились по горячим угольям и непростывшему пеплу соломы; ударили в штыки на толпу крестьян, выдержали залпы стрелков, натиск конных ратников и успели отойти на некоторое расстояние от пожара. Здесь мы кое-как построились снова; увы! нас не было уже и половины. Мы видели, как некоторых из наших товарищей поднимали вверх на острых косах, других добивали дубинами, третьих тащили, чтобы бросить в пожарище. Но нам было уже не до них: мы думали о собственной безопасности. На дворе становилось темно; короткий день сменялся пасмурным вечером. Отстреливаясь и отступая, пробиваясь сквозь окружавших нас крестьян и поминутно теряя товарищей, мы все подавались в поле. Тут только мы заметили, что храбрый наш трубач с остальными своими егерями уехал вперед и что за ними следом скакал довольно сильный отряд конных ратников. Тени вечера густели больше и больше; погоня за нами становилась слабее; остальных мы выстрелами держали в почтительном расстоянии. Я был ранен, но имел еще довольно силы, когда мы добрались до кустарников. Тут, потеряв надежду схва-

тить нас, крестьяне вовсе нас оставили. Оглянувшись назад, я видел только дальнее зарево горевшей деревни. При мне оставалось моих товарищей всего-навсего пять человек, и те были крайне изранены. Мы прилегли в кустах, чтобы скрыться от неприятеля и хоть немного отдохнуть. Никто не смел сказать ни слова, боясь, чтобы не привлечь какого-нибудь скрытого неприятеля: одни заглушаемые стоны раненых были слышны. Утомление от чрезмерных трудов, боль от раны и потеря крови истощили во мне последние силы; я впал в беспамятство и, может быть, истек бы кровью или бы замерз в эту холодную ночь: угадайте, кому я обязан за мое спасение? Беспамятство или какое-то невольное усыпление продержало меня почти до утра в некотором онемении чувств. Пробуждаюсь — и вижу *Сантинель*, которая, растянувшись по всему моему телу, грела меня косматою своею шерстью и зализывала у меня рану на голове. Бедняжка! она сама была ранена в шею ударом ножа или косы, и лапы ее были обожжены, видно, тогда, когда она вместе с нами выскочила из пожара. Я открыл мою суму, достал корпии, несколько ветошек, которые были у меня в запасе, и склянку водки, захваченную мною в селении; промыл раны благодарному животному, которое так умело чувствовать сделанное ему добро, и обвязал его лапы ветошками; дал *Сантинели* кусок унесенного мною хлеба, выпил сам глоток водки и закусил остальным куском хлеба. Это меня оживило и ободрило. Я встал на ноги, поглядел на моих товарищей... Все они померли или от ран, или от стужи. Старый усач, добрый мой приятель, сидел, закостенев на сугробе снега; руками держался он за раненую босую свою ногу, как будто бы еще хотел перевязать ее; открытые глаза его светились в страшной неподвижности посреди посинелого лица, усы обросли инеем, и губы лоснились как стекло от заледеневшего пара. Сердце мое сжалось; тяжело я вздохнул и спешил уйти от сего ужасного зрелища. *Сантинель* тихо плелась за мною, дрожа и взвизгивая от боли. Я остался один из всех моих товарищей, на жертву холода и недостатков, в земле неприятельской... Куда идти? Как избежать от ужасной смерти? В таких размышлениях прошел я около двухсот шагов. Смотрю: бедный наш бывший начальник, конно-егерский трубач, лежит мертвый на одной поляне. Он весь был изранен: голова разрублена, на воротнике мундира застыла кровь... Добрый конь его стоял

над ним, уныло глядел на убитого своего седока и разгребал снег копытом: можно было подумать, что он хотел отдать долг погребения бывшему своему господину! Конь заржал и замотал головою, когда он увидел меня, как будто бы предчувствовал, что я из числа тех, которые принимают участие в судьбе несчастного, погибшего в чужой земле, далеко от своей родины. Я отворотил голову: несколько слез с усилием вырвались из моих глаз. Я пошел далее. Целый день бродил я по окрестностям; скудные мои запасы истощились, голод и холод меня одолевали. *Сантинель* часто останавливалась, заглядывала мне в глаза и как бы спрашивала: где же конец нашим страданиям? Здесь я узнал собственным опытом, что чем ближе человек бывает к гибели, тем сильнее он привязан к жизни. Я не хотел умереть, дрожал при малейшем шорохе, прятался, увидя вдали что-либо похожее на человека. Под вечер силы меня оставили; я упал среди поля и не помню, что со мною было... Очнувшись, я увидел себя в крестьянской избе; двое поселян оттирали окостенелые мои члены; человек в черной шинели, тот начальник земских защитников, о котором я прежде рассказывал, сидел в углу на скамье. С первого взгляда мне показалось, что все это вижу я во сне; я закрыл снова глаза, но чувствовал, что меня терли сукном, и убедился в существовании того, что видел. Тут пришла мне страшная мысль, что меня стараются возвратить к жизни для того, чтобы предать новым, ужаснейшим мучениям. Я вскочил; черный человек тихо и с участием спросил меня на французском языке: «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» — «Мне лучше, — отвечал я, не помня сам себя от страха, — пустите меня, или...» Черный человек улыбнулся. «Идти! куда? чтобы замерзнуть или быть убиту? — молвил он. — Нет, друг, я не пущу тебя». — «Что ж вы хотите со мной делать?» — спросил я изменившимся голосом. «Теперь покамест отогреть и накормить тебя, — отвечал он, — а там что бог внушит мне». Холодный пот меня пронял, зубы у меня застучали так, что звон отдавался в ушах, голос замер, и я с крайним усилием едва мог промолвить: «Как это?» — «Успокойся, друг мой, — отвечал он со смехом, — тебя, я вижу, напугали нашими крестьянами; но здесь ты мой военнопленный. Могу тебя уверить, что я не так страшен, как тебе кажусь...» И, не дав мне еще опомниться, он сказал что-то по-русски своим подчиненным. Мигом принесли графин водки, хлеб и чашу русской похлебки.

Черный человек выпил сам, налил другую рюмку и подал мне, потом поднес по рюмке каждому из своих ратников. Я не мог опомниться от удивления и благодарности, хотел изъяснить их новому моему благодетелю,— но он не дал мне времени высказать свои чувствования. «Садись и утоли свой голод»,— сказал он, подвел меня к столу и посадил меня за чашей горячей похлебки; сам между тем похаживал в молчании по комнате. Я начал есть и, сказать правду, не церемонился; вдруг что-то бросилось мне под ноги; я вздрогнул... Это была моя *Сангинель*, которая до сих пор спала, пригревшись в углу избы, подле печки. Слезы навернулись у меня на глазах; я прижал к груди своей *Сангинель* как друга, с которым не надеялся больше видаться в здешней жизни; делился с нею кусками и ласкал ее. Черный человек остановился, казался растроганным и сказал мне: «Да, эта собака стоит, чтоб ее ласкали; она причиною, что мы спасли тебе жизнь. Я с людьми своими ездил для осмотра окрестностей, чтоб узнать, нет ли где неприятельских мародеров. Мы видели многих из погибших твоих товарищей; я осматривал каждого в надежде, что могу спасти кого-нибудь из этих несчастливцев; но все стали добычей мороза или умерли от ран. Таким же образом мы нашли и тебя. Вот еще один несчастный, думал я: вдруг собака, лежавшая подле тебя, встала на ноги и глухим рычаньем как будто хотела нас отогнать. Это возбудило во мне любопытство и участие: я велел поднять тебя; собака скалила зубы, дергала за полы моих людей, наконец, видя, что мы подняли тебя и взложили на седло одного из верховых моих, побрела за нами и не отставала до самой деревни. Я велел ее впустить в избу, кормил хлебом, и она спокойно улеглась, видя или чувствуя, что тебе никакого зла не делали».

Можете вообразить, что я чувствовал, слушая этот рассказ. В другой раз был я обязан *Сангинели* за сохранение моей жизни; я ласкал ее, плакал как ребенок и впервые после долгих дней страдания и горя ощутил в душе что-то отрадное.

Спустя несколько времени пришли сказать черному человеку, что все готово. Мне дали теплую обувь, укутали шубой и на голову надели меховую шапку; в таком наряде сел я в сани вместе с черным человеком; *Сангинель* тоже вскочила туда и улеглась на моих ногах. Мы помчались как стрела по гладкой снежной дороге. За нами скакали около

двадцати человек вооруженных крестьян. Через полчаса мы приехали в другое селение, которое по обгорелым остаткам полусожженного дома узнал я как место несчастных наших подвигов. Я вздрогнул, и мороз пробежал у меня по всем суставам. Черный человек, видно, заметил это; он ободрил меня и сказал, что один только этот дом и сгорел; что он при нашем отступлении тотчас велел тушить пожар, и это нетрудно было сделать, ибо множество снега подавало к тому все способы; что по сей-то причине крестьяне не все и то очень слабо нас преследовали; наконец, что он на свой счет выстроит новый дом погоревшему крестьянину и вознаградит его за все убытки. Тут только я узнал, что сострадательный черный человек был помещик этой деревни; прежде служил он в военной службе, а теперь, для охранения своего околотка от наших мародеров, составил из своих крестьян то небольшое земское ополчение, которое так ужасно против нас действовало. Мы подъехали к красивому господскому дому; мне с *Сантинелью* отвели особую, теплую комнатку и...

— Хозяин! — вскрикнул один из мальчиков моего рассказчика, торопливо вбежавший в комнату. — Господин мэр прислал за вами и требует вас к себе как можно скорее.

— Ты видишь, что я занят: скажи, что приду, когда окончу...

— Нельзя, хозяин, — прервал докучливый мальчик, — какой-то знатный чиновник приехал из Парижа, и господин мэр непременно должен к нему сей же час явиться; а вы знаете, что господин мэр никому, кроме вас, не доверяет своей головы.

— Какое безвременье! — вскричал мой волосочесатель, нетерпеливо топнув ногою. — Впрочем, сударь, я в минуту кончу уборку вашей головы и в коротких словах доскажу вам мою историю... Скажи, что сейчас!

Мальчик исчез, а парикмахер спешил докончить мою прическу и свою повесть.

— Новый мой благодетель, которого образ ношу я в моем сердце, но, право, стыжусь изломать его имя неправильным французским выговором, держал меня в своем доме, одел меня, кормил и поил до тех пор, пока остатки французской армии не вышли из России и ожесточение русских крестьян против нас не укротилось. Тогда он сам отвез меня в город, и я поступил в число прочих военнопленных. В продолжение войны 1813 и 1814 годов

мне удалось видеть многие города России и в каждом из них или убирать волосы или готовить мороженое и конфеты для желающих. Наконец в одном большом губернском городе я завел лавку, в которой продавал духи и помады, накладные волосы; убирал головы русских красавиц, снаряжал свадебные столы, учил мальчиков искусству волосочесателя и пр. и пр. Сими честными средствами я нажил около пяти тысяч **франков** на наши деньги, и этому не должно дивиться: господа русские очень щедры, особенно к нам, **французам**, а я любил порядок и бережливость. При возвращении **французских** военнопленных я поспешил в отечество, с радостными слезами пришел в родной мой город, с восторгом спешил к Селине — и выслушал от нее новые уверения в верной, неизменной любви. Но злой старик, отец ее, по-прежнему был непреклонен: он слышать не хотел о том, чтоб соединить нас! В досаде я решился идти ему наперекор: на вывезенные мною из России деньги нанял квартиру прямо против окон этого старого брюзги и здесь ежечасно бешу его тем, что он видит меня, видит, как счастье мне с каждым днем больше и больше благоприятствует — а он не может вредить мне; даже из корыстолюбия не может мне запретить, когда я зазываю несколько добрых **приятелей** в его трактир, где подчас дразню его полным кошельком золота...

— Чего же ты надеешься вперед, друг мой? — спросил я моего рассказчика.

— Гм! чего я надеюсь, сударь? я надеюсь, сударь, что со временем все переменится. Старик Террье не два же века станет жить: авось либо он исчахнет от зависти, или захлебнется от кашля и удушья.

— А Селина? что она об этом думает?

— Селина любит меня, но любит и отца своего и не хочет его покинуть. Она все не теряет надежды когда-нибудь его умиловить, а в ожидании переглядывается со мною, пересылается записками и часом даже переговаривается, когда старик выходит из дома. Но я слишком заговорился, сударь; прическа ваша совсем готова, а меня ждет господин мэр.

— Еще одно слово, друг мой, — сказал я, подавая ему червонец, — скажи мне, пожалуйста, что значит надпись на твоей вывеске: *Солнце светит для каждого?*

Парикмахер мой немного смешался; довольно неудачно объяснил мне, что сею надписью думал он выразить минувшие свои беды и нынешнее благосостояние и т. п.

Наконец он признался с добродушною улыбкой, что словами *Солнце светит для каждого* он хотел подразнить старого Террье и высказать ему, что не для него только светит солнце счастья. После такого пояснения он поклонился мне; я вышел и отправился в гостиницу Террье.

В гостинице нашел я необыкновенное волнение. На дворе стояла прекрасная дорожная карета, около которой собралась толпа зевак и толковала о чем-то вполголоса; на лестнице беготня и толкотня ливрейных лакеев и трактирной челяди; вдоль коридора целый строй разных лиц в самом чинном положении и с заказною радостью во взгляде. Я вошел в общую комнату. Толстого англичанина с сухощавою его половиной там уже не было, вертлявый итальянец также исчез, а неблагоприятный француз, прилипнув в углу к стене, казалось, не смел дышать. Хозяин трактира почтительно стоял у двери, как бы на посылках, и на этот раз был безгласен как рыба; только глазами умильно следил он человека, который свободно и отчасти горделиво расхаживал взад и вперед по комнате. Я взглянул на сего важного незнакомца и мигом узнал в нем графа***, пэра Франции, с которым несколько раз виделся у одного богатого нашего соотечественника, жившего тогда в Париже. Я подошел к графу, он также узнал меня, сказал мне несколько весьма лестных приветствий, которые старый Террье ловил на лету и, как видно было, составлял по ним новые догадки на мой счет. В эту минуту вошел один из служителей графа и доложил ему, что комнаты его готовы; граф учтиво пригласил меня с собою, и я, имея на него некоторые виды, о коих скажу после, и не подумал отказаться. В коридоре обступила нас густая толпа людей разного звания с поздравлениями, словесными и письменными просьбами — разумеется, к графу; некоторые же, сочтя меня или за секретаря его, или за другую важную доверенную особу, относились наперед вполголоса ко мне. Оба мы раскланивались во все стороны, я извинялся и отговаривался, как умел, а граф сказал этим господам, что чрез полчаса примет их в общей зале. Мы вошли в комнаты, приготовленные для графа.

— Не правда ли, — сказал он с улыбкою, — что эти просители очень милы?

— Если вы находите, граф, что они очень милы, —

отвечал я, — то для меня это ободрительно, потому что и я имею честь включить себя в число ваших просителей...

— Вы?.. — вскрикнул удивленный граф, бросив на меня недоверчивый взгляд, — каким чудом?.. Однако ж, — прибавил он с изученною важностию, — вы здесь иностранец и должны пользоваться правом гостеприимства. Позвольте выслушать вас прежде других.

Граф посадил меня подле себя; я рассказал ему в коротких словах похождения моего парикмахера и просил его содействия в том, чтобы помочь бедному Ахиллу касательно его женитьбы на Селине.

— В том-то и вся ваша просьба? — сказал граф, выслушав меня. — Этой беде, кажется, легко помочь, и я охотно готов сделать, что могу, для человека, который проливал кровь свою за Францию, под чьими бы то ни было знаменами. Рассказ ваш задобрил меня в его пользу, и мне как туземцу приятно будет вступить в лестное сотрудничество с русским, когда дело идет о том, чтобы сделать добро французу. Погодите: сейчас явится ко мне здешний мэр, и я дам ему аудиенцию в общей комнате трактира. Вы сами увидите, какие будут плоды этой аудиенции; вас я прошу быть свидетелем нашего разговора.

Через несколько минут вошел хозяин и с низкими поклонами объявил, что городской мэр и другие чиновники собрались в общей зале и ожидают графа. При сем случае хозяин спросил у графа, угодно ли ему будет, чтобы никого из посторонних не впускать в приемную залу во время аудиенции? На лице старого Террье заметно было худо побежденное любопытство и крайнее желание быть в числе зрителей. Граф с одного взгляда понял, что происходило в душе трактирщика.

— О, нет! — сказал граф. — Я даю публичную аудиенцию, и всякий имеет право быть при ней.

Трактирщик с веселым лицом и с новыми поклонами вышел. Вслед за ним граф, взяв меня под руку, пошел в общую залу.

Мэр и другие чиновники расшаркались и рассыпались в поклонах и приветствиях при появлении графа, который отвечал им барскою уклонкой головы и несколькими ласковыми словами. После долгой церемонии, в которой господа тот-то и тот-то были представлены мэром, граф отвел сего последнего в сторону и говорил с ним минут с десять. Я заметил нашего трактирщика в толпе зри-

телей: он стоял впереди всех с улыбкой радости, с разгладившимися на лбу морщинами и, казалось, жадно собирал запасы для будущих своих рассказов.

Граф, переговорив с мэром, подошел вместе с ними на средину залы и сказал громко:

— Кстати, господин мэр: у вас в городе есть один человек, которому я должен уплатить старый долг благодарности за одного моего ближнего родственника, бывшего в походе 1812 года. Человек, о котором я говорю, кажется, должен быть здесь парикмахером: имя его Ахилл, а солдатское прозвище, помнится, Ла-Роз. Я желал бы сделать для него что-нибудь особенное...

Я взглянул на Селину, которая сидела на своем месте, у конторки,— лицо этой молодой девушки прояснилось, и щеки запылали; взглянул на ее отца — старый брюзга сделал какую-то странную ужимку, по которой нельзя было разгадать, радовался ли он или печалился от того, что слышал.

— Я знаю этого человека, который удостоился внимания вашего сиятельства,— отвечал мэр,— и смею уверить, что он поведением своим вполне того заслуживает.

— Очень рад,— промолвил граф,— только не знаю, чем бы вознаградить его за важные услуги, оказанные моему родственнику. Этот мне сказывал, что Ахилл Ла-Роз влюблен был в одну девушку в здешнем городе, был ей всегда верен и надеялся жениться на ней по возвращении сюда. Женился ли он?..

(Я снова взглянул на Селину: она покраснела пуще прежнего, и на глазах у нее навернулись слезы).

— Нет еще,— отвечал мэр.

— Хозяин,— сказал граф, обратясь к трактирщику, который в это время кусал себе губы и переминался на месте, как индейский петух,— вели позвать сюда парикмахера Ахилла Ла-Роз.

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— отвечал Террье и поплелся из комнаты в каком-то раздумье или внутренней борьбе. Через две-три минуты он снова явился с Ахиллом, тихо и очень дружелюбно с ним разговаривая.

Ахилл, одетый щеголевато, подошел к графу, поклонился очень вежливо, но не раболепно и с какою-то воинскою ловкостью. Он все еще, как видно было, не понимал, зачем его позвали. Граф благосклонно объявил ему, что одна знатная особа заботится о его судьбе, и

спросил, кто та девица, которую он любил столь нежно и постоянно?

— Она здесь, ваше сиятельство,— вскрикнул Ахилл от полноты чувств, теперь только уразумев причину сего участия, ибо увидел меня подле графа.— Вот она,— прибавил он, оборотясь к Селине,— сами извольте судить, заслуживает ли она такую верную и постоянную любовь?

— А, а! Ты прав, друг мой; эти черные глаза очень заслуживают, чтоб о них помнили и на снегах русских... Господин трактирщик! неужели ты решишься еще томить этих молодых людей? Смотри: они созданы друг для друга. Хоть для нового нашего знакомства, согласись устроить их судьбу... Почему знать? может быть, со временем буду я тебе полезен...

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— повторил Террье затверженную свою фразу с пренебрежим поклоном и глубоким вздохом.— Будущий мой зять всегда мне нравился как человек степенный и обстоятельный; только некоторые фамильные неудовольствия разлучали нас... Теперь же, при покровительстве вашего сиятельства... Надеюсь, что и меня ваше сиятельство не позабудете... Я давно уже намерен представить правительству кое-какие проекты касательно некоторых отраслей промышленности, и ваше предстательство...

— Хорошо, хорошо!— сказал граф отчасти с нетерпением.— Теперь покамест позволь мне быть у тебя в долгу и радоваться, что я мог исполнить просьбу доброго моего приятеля.

При сих словах граф приветливо взглянул на меня, а я отблагодарил его также взглядом. Полную мою благодарность изъяснил я ему после за обедом, к которому он пригласил меня и за которым мы пили здоровье будущей четы.

Через два года мне случилось проезжать снова Вердён; я остановился в гостинице Террье. За конторкой по-прежнему сидела Селина, в черном платье и в чепце; старого Террье не было, и вместо его хлопотал знакомец наш, Ахилл как хозяин дома. Он тотчас меня узнал: изъяслениям радости и благодарности от него и жены его не было конца. Селина сказала мне, что старый Террье умер за полгода пред тем и по нем-то она носила траур; что до конца своей жизни он радовался, глядя на своих детей, не

мог нахвалиться бережливостью и расторопностью Ахилла — и благословил их с любовью на смертном одре. «Он крайне переменялся в последнее время», — примолвила она, скромно потупя глаза и с некоторым замешательством. «Да, он сделался в тысячу раз добрее прежнего», — прибавил муж ее как бы в пояснение того, что жена не решалась досказать. Я поздравил молодую чету с их счастьем и расстался с ними в сладостной мысли, что был хотя и не прямою, но все-таки причиною нынешнего их благополучия.

<1828>



ПОВЕСТЬ О СИМЕОНЕ, СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ

Благочестивые жители Нижнего Новгорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью ко храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок на площади собрались нижегородские купцы. Сложив руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато украшенные кони под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал достаток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко:

— Бог на помощь!

— Будь здрав, гость московский! — отвечал нижегородец. — Подобру ли поздорову?

— Слава те, господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы.

Слова «из Москвы», казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его:

— Из Москвы?

— Да; но вот что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только — опять была немилость божья, пожарный случай.

— Что? Опять?

— Да, почитай весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина.

— Хм! Часто горит у вас на Москве!

— Да Москва-то не сгорает! — отвечал москвич, коварно улыбаясь, — а вот у вас, в Нижнем, так раз выгорело, да зато ловко.

— Его воля! — вздыхая, отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле. — Да, попусшением божьим о Петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки басурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали тогда наш городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: «За Пьяною люди пьяны»!

— Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Сколько одной божьей благодати сгорело и осталось в запустении!

— Друг ты мой! не говорит ли нам Святое Писание, как тяжек меч вражий? Когда царю Давиду предложили глад, смерть и нашествие неприятельское, он молил бога выбрать легчайшее, и бог не врага, а смерть послал на Израиля. Тяжка смерть, но тяжеле воин вражеский, гибель живая, — не уснет, аще зла не сотворит!

— Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, и ни храма божия, ни княжеского чертога не остается за его следом — идет и метет!

— Все равно, что силен, что бессилен, только умел бы железную баню вытопить да булатом выпарить, а уж татары, злой, ненавистный род, таковы, что, кажется, и во сне-то они мыслят о вреде христианам. Бывал ли ты сам в руках татарских и видал ли ты басурманскую, проклятую гадину в их житье-бытье?

— Оборони меня, господи! Нет! До сих пор господь миловал!

— Истома Захаров любит только издалека греть

руки, а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривавших.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский Замятня. Москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

— Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдоострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь — рыкаешь, аки лев на краеградии!

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня, смеясь.— Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают, и вольно ему было сказать тебе, что он не бывал у татар — люди другое поговаривают!

Истома покраснел и побледнел.

— Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всегда на почетном месте сидит,— пробормотал он.— Мало ли что говорят и о князьях, и о боярах!

— Так будто все и неправду говорят? Глас народа — глас божий! Будто князь да боярин уж все и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат?— сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат поднял голову.

— Слушай, Замятня,— сказал он, дрожа от досады,— язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе аселедцам в бочонке.

— Я ведь не порицаю никого, да что поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: «Батюшка наш, милостивый князь», а как придет к разделке, так в милостивого князя первый камнем бросает. Бывалое ведь дело — рассказывают...

— Не всякому слуху верь.

— Вот и об Истоме мало ли что говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышеве нашествие.

— Я был на Волоке Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня, смеясь,— и если и попадался в табор татарский, так уж,

верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами! Сабля вражья и прямую душу кривит. Народ поганный, народ окаянный, времена тяжелые — поневоле свихнешь либо направо, либо налево!

— Ох! тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор. — Пришествие языка чуждого от стран неведомых — явное знамение пришествия кончины мира!

— Почему же языка неведомого? Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему.

— Нет, друг ты мой любезный, я говорю о происхождении сынов Агариных. Кто ведает, откуда окаянный рой басурманов налетает на православную Русь?

— Как откуда? Разве ты не слыхивал?

— Нет, слыхал и читал во «Временнике», — отвечал Некомат, — где именно написано, что пришествие их положено при кончине мира. Мефодий Патарский пишет, что Александр Македонский ходил из Индии богатой к полунощному лукоморью и встретил там народов поганных, не соблюдавших ни поста, ни молитвы. И он загнал их за синие горы, загородил горами, сотворил медные врата и запаял сунклитом, а его и меч не берет и огонь не жжет! Много лет прошло, они стали прорубаться сквозь гору и вышли.

— Ты забыл прибавить, что они никогда не прорубились бы, если бы мы сами не помогли им. Сперва прогрызли они оконце и начали подавать оттуда золото и самоцветные камни, а в замену просили железа. Что же? Христиане стали к ним железо возами привозить и подавать в оконце, так что лет через тысячу сквозь оконце прошли их тысячи и пришли отбирать свое золото тем железом, которое от христиан выменяли.

Некомат увидел, что его поймали на его исторических знаниях. Он замолчал, а Замятня продолжал говорить:

— То-то, дружище, если бы в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши нечисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уж двести лет с лишком, как мы кричим под татарской плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому? Грех сказать земле русской, что господь не дает ей владык добрых, да народ-то живет со грехом пополам,

так добрые князья, что семя на камне — процветет и погибнет!

— Правда твоя, — отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни. — Вот и нашу мать Москву выдают со всех сторон — стоит она, как сиротина на могиле отца и матери, — нет ни помощи, ни пособия от других княжеств!

— Хороша ваша сиротина Москва! — сердито вскричал Замятня. — Придет беда, так она и поет: «помилуйте, православные», а отхлынуло, так того за ворот берет, кто ей помог! Ты, москвич, нашего брата-нижегородца не тронь! В наши сердца глядись, словно в матушку Оку, а в вашей Неглинной и ворон не видит, что он черен. Когда покойный князь Дмитрий Иванович попросил стать за святую Русь — кто отказался? А там, как стал он гнуть других, так нечего жаловаться, что выдали его Тохтамышу!

— Не нуждается Москва в вашей помощи! Только зло-то вы не делали бы да не рыли ямы, и за то бы спасибо! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на самострелах, и на мечах и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто правил тогда на святом евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! На них пали кровь Москвы и пепел святых храмов ее!

— Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было!

— Нет! были они, и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, изменщика веры, холопа поганого хана, Некомат? Скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?

— Почти что правду! — отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя, и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.

— Старик, старик! — отвечал Замятня с выражением упрека, — ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси? Симеон продал свою веру и разорил Москву? Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушал свою клятву, когда москвитяне безумно поверили басурману, — Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгоде!

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу:

— Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величиться. Писано бо есть, что «память праведнаго с похвалами, и род его яко древо насажденно при исходящи вод». Где же Симеон? Погиб! Где его род? В тюрьме! Князь наш Борис Константинович княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен, а Симеон злый зле погиб!

— И отец его был такой же вероломный и пагубный!— прибавил Истома хриплым голосом.

— Пощадите хоть кости-то доброго князя вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Димитрия Константиновича и не поущу злomu слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на Московское княжество и отказался от Московского престола, довольный Суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя Московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Симеона на престол Нижегородский? А теперь,— продолжал Замятня, понизив голос,— теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеев хана большею податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник.

— Да что судить нам о делах княжеских,— отвечал Некомат,— судит им бог! Мир явно клонится к гибели и злу — брат восстает на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху — стрелять живым огнем!

— О, да какая ж была страсть божья!— подхватил Истома.— Как выстрелили в первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли — огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленье! Ох! да что уж нынче — и мертвым костям покоя не стало! Затеял какой-то немец копать у нас на Москве ров кругом города — и гробы разметали, и косточки родитель-

ские повыкидали... Прости, господи, наше согрешенье!

Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко двору и увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую навстречу князя.

— Вот заступники твои, князь Симеон, — проговорил тихо Замятня, смотря вслед за Некоматом, — вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их, и первая полтина перевешивает все добро.

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают, — сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

— Эх, товарищ! Плох стал народ! — отвечал Замятня вполголоса.

— Когда же он был лучше?

— Нет ни совести, ни правды!

— Правды искать у торгаша Истома! Кто ищет клада на кладбище, приятель?

— А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш, послушал бы ты, что говорил он об нем и об роде его!

— Что говорить ему! Язык его, как добрый жернов, вертится, куда повернут его на вороту, а ворот его серебро да золото!

Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.

— Наболтали мне они и бог знает чего, — сказал Замятня, — а одно залегло у меня на сердце... Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?

— Для тебя ничего нет скрытого — спрашивай!

— Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих и отступился от христианского закона? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох... С чего бы взять ему, окаянному!

— Нет! Он клеветает — он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.

— Но горяч, как раскаленное железо, а мир, с своей славой и почестями, так светится, как звезда полуночная, — стол княжеский так слепит глаза...

— Нет! говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского — он не изменит

кресту и вечному блаженству за временные блага!

— Слава богу! Ты успокоил меня. Царство темное! Ты не поработило донныне ни одной души княжеской!

— Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!

— Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой... А уж Истоме окаянному напишу я на иссохшей его роже правду.

— Тише, тише... отойди от меня.

Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел. «Какой он дородный!— говорил народ,— то-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!»

— Помнишь ли ты,— шепнул опять нищий Замятне,— помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия как на орла быстропарного, а на Симеона как на сокола золотокрылого и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь что Симеон!

— Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а взглядишь-ка лучше, ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону!

— А кожих на боярине Румянце подарен был ему за верную службу его Симеоном!

— Это что за толстяк едет подле князя?— спросил, смеясь, Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя Московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.

— А зачем?

— Как зачем? Уверяет в дружбе.

— Разве князь Борис сомневается?

— Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Да что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри — падают на колени! Пойдем ближе.

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня. Первый боярин его, Румянец, подскакал к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил, что им надобно.

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу,— отвечал седой старик.

— Все равно — говорите мне! — поспешно вскричал Румянец.

— Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника, как между богом и человеком нет посредника в молитве!

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им:

— Прочь с дороги!

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему:

— Что тут за люди, боярин?

— Князь великий! — отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности, — это бродяги вятчане. Они пришли сюда собирать милостыню и рассказывать сказки.

— Нет, князь Нижегородский, — отвечали несколько голосов, — мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!

— Помилуй, государь! — воскликнул старший из вятчан, — будь нашим спасителем — смилуйся над нами!

— Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем не пришли в мой дворец?

— Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят на стороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.

— Боярин! что такое они говорят? — небрежно спросил князь у Румянца.

— Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время — слушать их жалобы! Они то и дело *рагозятся!*

— Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! — сказал старший вятчанин. — Государь князь великий! помилуй!

— Ну да теперь уж не время и здесь не место суда — после, — сказал князь и хотел ехать. — Допустите их ко мне, — примолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

— Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут — защити и спаси нас!

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.

— Говорите: чего хотите вы от меня? — сказал он, нахмутив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:

— Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей

тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно собирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут идет повоевать Вятку. Государь! Спаси нас!

— Я не могу ни спасать, ни оборонять вас,— отвечал князь,— вы не мои!

— Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитить нас!

— Не могу защитить вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!

— Они сами разгневали великого хана,— закричал Румянец,— сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!

— Платили, боярин, платили, но нет у нас более, чем платить. Князь и бояре! перемените гнев на милость! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!

— Старик! не тебе учить меня — иди с богом! Я не могу пособить вам!

— Заклинаю тебя святым храмом божием, куда едешь ты, князь нижегородский! Нам остается броситься в воду, погубить души свои! Бог велит русским князьям защищать родные области и взыщет на тебе попущение!

— Видишь ли, государь,— сказал Румянец,— буйство лапотников? Так-то они поговаривают всегда!

— Кровь наша говорит, боярин! Князь! если ты отринешь нас, тебя отринет бог от престола своего! Спаси христиан!

— Замолчи, старый буян!— вскричал князь и повернул коня в сторону.

— Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новгорода, ни от Великого Новгорода — один отталкивает и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам — не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!

— Выгоните их из Нижнего!— вскричал князь.— Они буяны, нахалы, крамольники — не повинуются власти хана!— И гневно он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках, и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не заметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.

— Куда бредешь ты, божий человек? — спросил Некомат ласково, остановясь подле нищего.

— Куда ноги несут, — отвечал нищий.

— Я выдаю тебя часто, — сказал Некомат, — и часто смотрю, как бродишь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню.

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!

— От слов сыт не будешь — пойдем ко мне, — я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок.

— Доволен божьею милостию и не требую ее от людей. — Нищий побрел вперед. Некомат не отставал от него.

— Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, сегодня похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры.

— Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо. — Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которых сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково: — Это ведь мой дом — зайди ко мне и отдохни!

— Я не знаю, гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

— Не знаю отчего, благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекатного — зайди ко мне и помолись моим иконам.

— Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно — я подарю тебя благословением и на улице!

— Не мечи бисера — размечешься, и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою.

— О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю...

— А я кое-что знаю. *«Высоко сокол летает, себе цаплю выбирает».*

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат, если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и в комнату. Лампадка теплилась пред иконами в углу. Хозяин и гость его помолились и перекланялись. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказник Некомата, высокий, худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:

— Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! — воскликнул он, — ты ли скрываешься от меня?

Нищий молчал и стоял неподвижно.

— Боярин Димитрий! — продолжал Некомат, — ты не хочешь сказать мне ни одного слова?

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился, переменил голос и мужественно и твердо отвечал Некомату:

— Если ты узнал меня, не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису, выдавай, но прежде умру я, а не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!

Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

— Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты

ли просил у меня благословения на брак с моею дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Что ты не отстал от нашего князя, что прошло года два, как мы не видались с тобой,— так я и забуду тебя?

— Полно, Некомат,— отвечал Димитрий,— я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье, и ты был друг мне; прошло оно — и ты друг Румянца и князя Бориса.

— Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Если я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис неправедно сел на столе нижегородском, если я не кричу, что он безбожно отнял Суздальское княжество у своих племянников,— боярин Димитрий! я отец: много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! подумай — я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: «Вот любимый боярин Симеона — возьми его, князь!»

— Некомат! я не могу оскорбить тебя укором за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив, но никогда не слышал я, что злое дело легло на твою душу.

— И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына!— Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей.— Узнай меня лучше, взглядишь в меня пристальнее!

Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодеяния Симеона,— сказал он,— но чего же ты от меня хочешь?

— А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я,— теперь возвеселится душа моя!— Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его.— Поди и позови гостей моих,— сказал ему Некомат,— а ты, Димитрий, пойдем со мною.

Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

Няня! Поди и принеси нам хорошего меду!— сказал Некомат.— Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!

Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.

— Дочь моя ненаглядная!— сказал тогда Некомат,— помнишь ли ты жениха своего?

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах, батюшка...— прошептала она, запинаясь.

— Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатались по лицу ее. Кисейным рукавом своим отерла она их и промолвила:

— Батюшка! все забыто, кажется — все... и давно...

— Нет! Я не забыл...

— И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он...

— Он здесь, Ксения! Посмотри — вот он, твой суженый!

— Ах!— вскричала Ксения, и ноги ее подломились — она как полотно побледнела.

— Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отрицаю того, что мне всего дороже...

— Некомат!— вскричал Димитрий,— вижу все и обнимаю тебя, как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат,— сказал печально Димитрий,— не понимаю, что ты делаешь со мною и чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!

Некомат улыбнулся:

— Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона.

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня?— спрашивал он.— Ты видела меня в наряде боярина, а теперь я нищий — поддельная борода и рубища мои представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя,— узнай меня опять!

— Сердце мое не забывало тебя!— шептала ему Ксения.

— Ну вот идет няня!— сказал торопливо Некомат,— она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем!— Он вырвал руку его из рук дочери и повлек его за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блиставший серебряною посудой, и, когда два человека, сидевшие на передней лавке, встали, узнавши в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий! — говорил Поле, обнимая Димитрия. — Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя и не узнаешь! Да все равно: боярская кровь течет и под рубищем.

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

— Чара меду развяжет уста его, — сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана. — Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона! — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре. Димитрий взял стопу; все разом чокнулись, и разом все стопы были осушены.

«Куда он запропастился? Где девался? Вот уж загорается заря на востоке — не сделалось ли с ним беды какой? Избави нас, господи!» — так говорил сам с собою человек, бродивший по берегу Волги и беспокойно глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек и шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально и, видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: «Высоко сокол летает». Подходивший повторил так же: «Себе цаплю выбирает».

— Ты ли, Димитрий? — спросил первый.

— Я, — отвечал подходивший. — Ты давно ждешь меня, Замятня?

— Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная, а теперь скоро светать начнет!

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив

его в руку, — терпи — скоро и на нашей улице праздник будет!

— Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда нестати!

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

— Дмитрий! Что тебе вздумалось?

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точный колокол! Стоит раскатать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир. Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да, Некомат знал уже, что ты собираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день как я в Нижнем, а вчера Некомат уже заметил меня — и все по твоей милости!

— Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова. Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведал, все узнал...

— Ах сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну — вот и концы в воду.

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Дмитрия Константиновича — Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажгли мое ретивое, дело у нас было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

— О! если бы слова твои были правда!

— Слушай далее. Князь Московский послушался благого совета своей матери. Он теперь в Орде, и когда, поехавши туда, подле Симонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставанье горько заплакал, княгиня Евдокия Дмитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим — так и отец твой думал!» Князь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль — Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда бог принесет его подобру-поздорову из Орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поде...

— Но ведь он приехал к Борису?

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду — таков обычай повелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о доброхотах Симеона. Наших товарищей никто не знал, но Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!

— Кончили? Чем?

— Быть Симеону князем Нижегородским, под рукой племянника своего князя Московского, по благословению сестры его княгини Евдокии. Князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловать по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Христианской крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: «Не на своем столе сел, князь Городецкий...»

— И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!

— Тише, тише! Вон народ уж зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы — пойдем скорее...

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:

— Свет мой, невеста нареченная! почивай с богом да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..

Когда от избытка радости говорил Димитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра зловещий голос его раздался, как вестник горя и несчастья, и собака жалобно завывала на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся — сердце у него замерло...

Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался по улице, и через минуту полусонный дворник Некомата откликнулся, не отворяя ворот:

— Кто там?

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода. — Отворяй!

— Да кого тебе надобно? — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее — разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличьем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

— Сам уйми, московский барин! — отвечал дворник сердито.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

— Кто тут шумит? — вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, он переменял голос и ласково прибавил: — А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!

— Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.

— Тотчас, тотчас! — Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат, в засаленном полукафтаны и с огромною связкою ключей у пояса явился на крыльце. Гость вошел к нему. — Милости просим, боярин Белевут! — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.

— И, боярин! Какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам под стать и полоротыми ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ — как не бояться...

— А особливо, когда вот этакое добро водится в доме! — сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соболей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку:

— Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках.

— Нет! этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

— Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела так просыпают!

— Да и Нижний-то едва ли не проспали!

— Кажись, так,— отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Дмитрий молодец хоть куда,— прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

— Добрый молодец, боярин,— отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну, и не бедный, прибавь к тому!

— Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет.

— Ведь он старого рода, так как не быть у него и старинке отцовской!

— Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде приклонить! Да и отец его был такая беспутица и бестолковица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному, а кроме того пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был как полная чаша,— и теперь еще есть остатки, правда, да не в руках. Но если по милости вас, бояр, и князя вашего Василия Дмитриевича Симеон будет князем Нижегородским, так Дмитрий с лихвой получит все, чем из добра его завладел Румянец с братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи.

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы...

— Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть — ест и пьет!

— Что тут говорить, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!

— Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться почесть немалая, но все деньги притом не лишнее.

— Полно притворяться, гость Некомат. На твою долю станет и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть... Земля говорит!..

— Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду, но господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться.

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны ныне, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спо-

койно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а то — что ныне не продается!

Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обвиняками, но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорочного кушака, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я займы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой, а что бы вам не поглядеть через него далее — ну, хоть и в Москву...

— Как нам забывать Москву, боярин! От нее и смерть, и живот. От вашего князя ждем мы теперь милости.

— От вашего! Говори вернее — от *нашего*.

— Как, боярин?

— Так, гость Некомат. Ужли тебе такая мысль в голову не приходила? Когда рука Московского князя может посадить и ссадить князя Нижегородского, тут много ли думать надобно?

— Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь Московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...

Белевут встал и начал ходить по светлице. Он, казалось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.

— Видишь что, — промолвил он наконец, — милости нашего князя неистоимы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен тем, кто его ослушается. В Москве и безопаснее, и привольнее житье. Кто поручится, что будет вперед... Ну, да я почитал тебя догадливей, гость Некомат! — вскричал сердито Белевут и взялся за свою богатую шапку.

— Боярин, господин честной и почтенный! — сказал Некомат, кланяясь, — не гневайся! Ведь и мы, посадские, смекнуть умеем. Ты загонул загадку, а отгадка-то, видно, после сказана будет?

— Умный и теперь ее угадает, гость Некомат, — отвечал Белевут, смеясь. — Не ручаюсь за вашего Симеона — ведь еще будет ли он послушен нашему князю, а не будет... так знаешь — старший брат волен меньшому и покрепче приказать — ну а нашему брату что мешаться в княжьи дела? Было бы нам тепло, а у какой печки греешься, — тебе что до того? Да вот к воротам подвели моего

коня. Князь Борис звал меня с собою. Некомат! понял ли ты меня! Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себя. И в Москве есть женихи для дочерей богатых гостей нижегородских!

Он вынул лист бумаги, на котором написано было множество имен.

— Видишь!— сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле коих поставлены были киноварью крестики.— А вот и Некоматово имя!— Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, когда Белевут спокойно прибавил:

— А, вот этого молодца-то я и забыл,— и потом провел черту подле имени брата Некоматова, Федора, горячего приверженца Симеонова.

«Господи, вразуми меня!» — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъяслял он и ласково, почтительно пожимал толстую Белевутину руку, провожая гостя с крыльца. Белевут еще остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат!— сказал он,— во всем власть божия да княжая, а дружба Белевута не изменит тебе и понадежнее дружбы боярина без боярства!

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе: «Что же? Они думают погубить меня? Аль сберечь? Что говорил он вчера? А что теперь говорит? Боже, господи! Милостив буди мне, грешному!» Жадно озираясь он кругом на груды соболей и чернобурых лисиц. «Вот,— вскричал он,— к чему и стяжание! Пособит ли оно тебе в час гнева божия? Ты смотришь на свое злато и серебро, а между тем боярин какой-нибудь ставит красный крестик подле твоего имени, и дни твои изотчены суть!..» В раздумье ходил он по светлице. «Однако ж,— вскричал он, остановясь,— не сули журавля в поле, а дай синицу, да в руки,— мне-то что же? Да! Безумный я был в то время, когда медом моим запивал посулы московские! Ждать бы мне, ждать, да и только — нелегкая меня дернула...» И поспешно стал Некомат складывать в сундук дорогие товары свои. Потом схватил он шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестью, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал ко дворцу княжескому, и из ворот дворцовых высыпало навстречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, а за всеми выехал сам князь Борис. Дорогой сокол сидел на руке его. Конь шел гордо и величаво.

— Здравия боярину московскому!— сказал Борис весело.— Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош, и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь Нижегородский!— отвечал Белевут.— Я ждал ответа боярина Румянца.

— Все готово, боярин,— сказал Румянец смеясь.

— Так поедem скорее. «Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года»,— говорил мне когда-то армянин-лекарь.

— Сам сухой, как спичка, так уж как не поверить ему!— подхватил Румянец. Все засмеялись, и поезд княжеский отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

— Что московский колдун? Сколдовал ли?— спросил его Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу. Они близко!— отвечал Белевут.

— Так пускай же князь тешится охотой,— шепнул Румянец,— а мы потешим его поладнее!

Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис с своею свитою. Тихо простоял он там, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался боярин Поле.

— Что?— вскричал Поле.— Убаюкано ли твое дитя?

— Они распотешились охотою,— отвечал Румянец.— Далеко ли ваши?

— Не замешкают! Скачи во дворец и приberi все к рукам, да не положи охулы на руку!

— Вот еще о чем тревога!

Между тем князь Борис и свита его выехала из города. День был осенний, но прекрасный. Перед ними открылся вдали густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу — и княжеский сокол спу-

щен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля уже стерегла его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнулся — крик, хохот и шум охотников раздался по лесу. Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, стараясь перебить ветер у своей добычи. Увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшного преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скачут во весь опор. Князь и свита не могли понять: кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится?

— Чего смотрят ваши сторожевые? — закричал гневно Борис. — Смотри, что за сволочь там шевелится? Схватить их, в город, в тюрьму!

— Князь! — отвечал один из бояр. — Сюда скачут какие-то всадники, и прямо на нас! Эй! сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг князя Бориса свита его. Всадники приближались. Их было около десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ними отличался один одеждою и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

— Господи помилуй! — вскричал князь Борис, перекрестившись. — Что такое? Ошибаюсь ли я? Симеон? Измена! Вы меня хотите ему выдать!

— Нет, князь! — вскричали несколько голосов. Мечи были обнажены и бердыши выправлены.

— Остановитесь, остановитесь! — издали кричал воин, ехавший впереди других. — Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник: или ты не узнаешь меня? Я — Симеон!

— Как не узнать тебя, нежданный гость! — вскричал Борис. — Откуда птица вылетела? Зачем залетела на святую Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приблизился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник, — закричал гневно Борис. — Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

— Родимый дядя хорошо привечает племянника! — сказал Симеон, горестно улыбаясь. — Боже, творец небесный! Диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро

дядино — и вот как встречает родня родного через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович! Хотя не брапись, пожалуй, когда я не начинаю брани. Прежде Симеон не дал бы тебе в том переду, но время переходчиво — что делать! Дай мне свою руку и помиримся...

— Мне с тобой мириться, выродок князей Суздальских! — Преклони колени и жди суда дяди твоего и князя! Возьми его, дружина!

Вдруг бросились несколько человек на Симеона. Он осадил коня своего и схватился за меч рукою.

— Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом. — Со мной нет золота — и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!

Дружина Симеонова прискакала к нему, видя его опасность. Еще раз остановил ее Симеон.

— Князь Борис! дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай!

— Отдай оружие! — вскричал князь Борис.

— На, возьми его! — отвечал Симеон и гневно кинул к ногам его свой меч и свое копье. — Безумный князь! гибель над твоей головой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон не ходил по-твоему челобитничать о чужом наследстве у хапа, а отнимал у тебя честным боем свое наследие. Я пришел к тебе мириться — мириться в час общей гибели! Не требую твоего привета и ласки — не гордись и знай: ты и я — мы погибли оба!

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга?

— Господи! Пошли мне духа кротости! — вскричал Симеон, сложив руки и обратив взоры к небу. — Князь Борис! хорошо — я отдаюсь тебе — вели удалиться твоей дружине, и я расскажу тебе все. Три дня без отдыха скакал я в Нижний, и уж сутки не было у меня во рту макова зерна. Не врагом пришел я к тебе и не ссориться с тобою. Ты знаешь Симеона и поверишь, что, если бы не последняя мера суда божия на обоих нас, — ты не увидел бы здесь меня безоружного!

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон, — сказал Борис, успокоенный поступками Симеона. — Теперь здравствуй!

— Здравствуй, раб князя Московского! — отвечал Симеон, презрительно усмехаясь.

— Как? Ты смеешь мне сказать?..

— Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских. Они теперь уж, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана.

Борис побледнел и оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец?— вскричал он.— Где Белевут?— и затрепетал, не видя их. Общее смущение видно было на всех лицах.— Симеон! Ради бога скажи: что ты говорил мне? Какие послы? Какие подарки?

— Ох! князь Борис! И ты хочешь княжить в такое время? Он и не знает, что у него делается! Вот теперь-то спознаешь ты, кто тебе был враг настоящий и чего тебе беречься! Поедем скорее в Нижний — я все расскажу дорогою.

Он повернул коня. Безмолвно следовали за ним Борис и все охотники; с ними смешалась дружина Симеонова.

— Объясни мне, князь Симеон,— сказал наконец Борис,— что такое ты говоришь?

— Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать: ты уже не князь Нижнего Новгорода! Ты захватил мое наследие и не умел удержать его. Мне обещал отдать его хан Тохтамыш, отдал тебе, а теперь подарил князю Московскому.

— Князю Московскому!

— Подарил, и с придачею Мещеры, Торусы, Городца и Муромы. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?

— Я? Нет! Никогда!

— Давай же руку, князь Борис,— я с тобой! Подкрепи бог твою храбрость, а не то дай мне управиться и с Москвою и с ханом!

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Симеона.

— Жива ли княгиня моя?— спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

— А дети мои?

— Здоровы.

— А брат Василий?

— Также.

— Где же они? В тюрьме?— спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет!— отвечал Борис, скрывая свое смущение. — Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георгиевском тереме, а князь Василий в Городце... под стражею...

— Бог с тобой, дядя! Сколько зла сделал ты нам твоею

окаянную жадностью! — Симеон утер слезу. — Но что было, то было, и кончено! — примолвил он задумчиво.

— Князь Симеон! Я отдам тебе Городец и Суздаль.

— Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на твой Городец!

— Вместе души, вместе руки, и — бог станет за правых!

— Правых, князь Борис? Ты сам себя осуждаешь! Но слышишь ли ты — что там такое делается?

— Кажется, бьют в набат на Спасской колокольне! О господи! Защити нас!

Быстрее прежнего поскакали они в город.

— Не думал я, что так скоро отзовется здесь голос хана! — сказал Симеон. — Видно, и москвичи медлили не долее моего. Поспешим!

Они въехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было, что в городе большое смятение. Уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара. Народ бегал по улицам. Воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что такое случилось, — никто не знал. Все были испуганы набатом и спешили на площадь.

Там толпы народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то горячо говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новгороде не оставался спокоен. Народ любит бежать на всякий шум, а теперь еще более все взволновались, видя, что в городе случилось что-то необыкновенное. Набат, воины, собранные рядами у дворца, — все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу, что Симеон пришел к Нижнему с войском — кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что такое говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов своих и нетерпеливо преследовали встречного и поперечного вопросами:

— Что там такое, родимый, случилось?

У Некоматова дома была толпа его челядинцев, стариков, старух, детей. Разинув рты, смотрели они на волнение, когда подскочил к ним воин на борзом коне и в светлом шеломе.

— Дома ли гость Некомат?— вскричал он.

Изумленные зрители не знали, что сказать ему.

— Верно, дома!— сказал воин, прыгнул с коня своего и побежал в светлицу.

— Ведь это боярин Димитрий?— говорили между собою свидетели неожиданного явления.— Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Димитрий толкнул в двери светлицы; они были заперты. С лестницы терема тащилась старая няня Ксении.

— Где гость Некомат, старушка?— спросил Димитрий.

— В саду, батюшка,— отвечала няня,— прикажешь позвать его?

Но Димитрий не дослушал слов старухи и бросился в сад. Там, в углу между деревьями, увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, закрывал Некомат пожелтевшими листьями деревьев место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился, испуганный, и не знал, что сказать ему.

— Готов ли ты на дело, гость Некомат?— вскричал Димитрий.

— Готово сердце мое, готово!— отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

— Что значит твоё смущение, твой встревоженный вид! Зачем ты здесь — в саду?

— Я... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

— Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали своё дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твоё не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его!

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото и вы только и доспрашиваетесь его у меня!

— Некомат! Не схоронил ли ты с золотом твоим усердия к правому делу? Готов ли ты?

— Куда же, боярин? На что мне быть готовым? Бога ты не боишься — среди бела дня приезжаешь ко мне... Ну, если увидят...

— Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли всё было вчера? Теперь скрываться нечего — власть князя Бориса скоро разлетится, как дым! Всё готово... Поспешим на Спасскую площадь! Мои молодцы все в сборе!

— Боярин! Зачем же я-то туда пойду? Человек я ста-

рый, не ратник, не воин... Дело, может, дойдет до мечей... Боярин Дмитрий! И ты себя побереги — ради меня — ради моей Ксении — твоей Ксении...

Дмитрий в изумлении смотрел на Некомата, бледного и трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Резкий звук трубы раздался вдалеке — другой звук отвечал ему с другой стороны.

— Слышишь ли, Некомат? Вот съехались и удалцы мои! Они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?

— Ради Христа, боярин Дмитрий! Голова моя кружится... Позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... Благословляю тебя отцовским благословением... Береги себя, сын мой!

— Если мне судил бог положить душу за моего князя — умру радостно... Но я точно ошибся, Некомат: ты не годишься на наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня, или мертвого, или... Прощай!

Громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружие показались вдали.

— О! ради бога! Пойдем к ним! — вскричал Некомат. — Пойдем к ним! Тебя ищут — не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников. Ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дреколем. Только что показался Дмитрий с Некоматом, как брат Некомата Федор со смехом закричал им навстречу:

— Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отсиделся?

— Федор! Я всегда был душою за Симеона!

— Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин! Пора, пора — мои все здесь! Только Замятня бог весть где девался!

— Что вам до него — он свое дело знает!

— Коли так, то мешкать нечего — с богом! Белевут только что проехал здесь. Он звал нас к Спасу и сам велел бить набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол.

— С богом! — Дмитрий вскочил на коня. — Прощай, Некомат, — молись за нас усерднее!

— Как: молись? Разве он не с нами!

— У него голова болит и кружится. Оставьте его.

— Нет, нет!— вскричали множество голосов.— Он хитрит! Не пускать его!

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела — начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята! Товарищи!— вскричал он,— мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княжеских теремов. Приверженцы Бориса поднялись! К делу скорее — там наших бьют!

Смятенный крик раздался в толпе:

— За Симеона! За Симеона!

Все бросились в беспорядке на улицу, но Некомата не оставили. Его ухватили за ворот.

— Спасите меня!— кричал он дрожащим голосом.

Димитрий был уже далеко и скакал по улице в тесноте народа.

— Кричи с нами! Иди с нами!— шумели вокруг Некомата.

— Дайте мне хоть шапку взять!

— Уйдет — не пускать! На мою!— вскричал один из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко:

— Да здравствует Симеон!— И его увлекли в толпе и смятении.

Тихо и спокойно светило солнце на суеты земные. Ни одного облачка не было на небе. Ветерок веял освежительным холодом. Неизменяема была природа — волновались только люди. Все страсти разыгрались на просторе буйного своеволия.

По условию с Белевutom, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Симеона, жившие скрытно в Нижнем, все явились в условленное время. Безумцы! Они не знали, что коварство готовило только сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, шумно бежало к Спасской церкви, где глухим воем отзывался набат.

Димитрий был впереди всех. Но только что хотел он повернуть на площадь, как навстречу ему прибежал воин:

— Боярин! будь осторожен: дело наше худо!— вскричал он.

— Что ты говоришь?

— Послы московские уже там. С ними посол хана, но знаешь ли, кто посол ханский? Царевич Улан!

— Избави бог! Зачем послал Тохтамыш его, а не иного? — И Димитрий бросился опрометью — за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от них. Вот с боковой улицы бежит другая толпа и кричит громко:

— За Бориса! За князя Бориса!

— За князя Симеона! — отвечали яростно приверженцы Димитрия.

— Прочь Симеона!

— Прочь Бориса!

Тут в бешенстве бросились обе толпы друг на друга. Но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Симеона. Молодой боярин Бориса ринулся в самую середину их скопища с мечом в руках. Некомат успел вырваться и броситься к нему.

— Ты зачем здесь, гость Некомат? — вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса! — едва мог проговорить Некомат, задыхаясь.

— Добрый человек, но как же попался ты к ним?

— Неволєю, боярин! Меня прибили, уволокли!

— Я твой защитник — пойдем с нами!

И Некомат, махая чужою шапкою, пошел с боярином и его дружиной при громких кликах: «За Бориса! За Бориса!»

Так стремились со всех сторон буйные толпы народа. В смятении почти никто не знал, что делает и куда бежит. Это предвидели, этого ждали Белевут и сообщники Москвы.

Близ церкви Спаса, в тесноте народной, видны были блестящие ряды многочисленной Московской дружины. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил ими. Несколько татарских воинов и посол ханский, царевич Улан, на вороном арабском коне горделиво стояли там, опершись на копыя. Рядом с царевичем был другой знаменитый татарин, мрачный, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред послом хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий! — сказал он. — Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно!

— Все ли ты сладил, боярин?

— Все, все. Вам остается только взять Нижний. Дурами думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Симеону, — они взворошились, а мы в мутной воде рыбы наловили.

— Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута, не всякий бы захотел здесь быть рыбаком.

— Ты еще молод, князь Димитрий, и не знаешь, что с твоей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Ловко умел я облеял князя Бориса, нашел друзей, но этого еще было недовольно. Нижний начинен приверженцами Симеона. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступить за него. Да что? Были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною — замечены все их удалые головушки! Довольно было попировать с ними десятка два раз и уверить их, что князь Московский идет защитить Симеона, так они и выложили сердца на ладони. От крепкого меду их еще болит у меня голова — легко ли: недели три изо дня в день я принужден был бражничать с ними, да ведь иной раз, что называется, до положенья риз! Зато они вереничкой придут сюда, и мы возьмем их руками.

— Что же делать с ними?

— А что бог даст! В Волгу — так в Волгу, а нет — так в Москву их или передать татарам, а лишнее у них обобрать!

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него. Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы:

— Молодой зверок, а как нос задирает, да мы с тобой переведаемся в Москве!

Тут приблизился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они окружили Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса:

— Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский передал Московскому свое княжество. Приведите его ко мне!

— Мы ждем его сюда, знаменитый царевич! — отвечал князь Димитрий.

— Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могущего хана,

повелителя Русской земли, не повторяет своего приказа.

Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание. «Проклятые гордецы! — проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор свой от ненавистных татар, — когда-то рассчитаемся мы с вами!»

Сюда, в сети врагов снешили безрассудные приверженцы Симеона. Хитрая уловка московских бояр одним ударом подсекла все опоры Нижнего Новгорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала в их руки беспечного князя Бориса без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь Московский Василий Димитриевич, возвращаясь из Орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего навстречу ему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия, почти неожиданного. Сильное Суздальское княжество подпадало власти Москвы, с областями, даже и не принадлежавшими к Суздалью и Нижнему Новгороду. Думали, однако же, что Нижний не поддается Москве без сопротивления. Многие полагали даже поход на Нижний делом необходимым. Между тем и другие известия, привезенные князем из Орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного и могущего. Тимур, гроза азийских царей, победитель Персии, властитель Вавилона, Бухарии и Грузии, приближался с бесчисленным войском. На Волге должна была решиться вражда, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасение Тохтамыша за успех видели из его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область своего союзного князя, только что за год перед тем получившего ее в обладание от самого Тохтамыша.

Кто мог узнать, чем кончится битва Тохтамыша с Тимуром? И если богу угодно было решить участь борьбы в пользу Тимура, Русской земле, может быть, грозило нашествие страшнее Батыева. Москва могла пожалеть тогда даже о падении цепей, наложенных на нее Тохтамышем. Тимур тяготел над Русью, как тяготеет тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного преж-

ним бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как гроза, чернеющая вдали на краю небосклона, страшит земледельца, у которого молния недавно попала в поле и сожгла хижину.

В таких обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отсюда. Надобно было встретить общую опасность, соединявшую всех под знамена Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя Московского, не хотели соблазнять Руси междоусобием в то время, когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия. Каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась на небесах. Не хотели упускать случая присоединить к Москве области богатые, многолюдные, сильные, но не могли решиться на рать с Нижним Новгородом. Всего более страшил Москву Симеон, смелый, отважный сын бывшего князя Нижегородского.

Бояре помнили дела Симеона. Наследство княжества Суздальского было давним предметом споров между Дмитрием Константиновичем и братом его Борисом. Дмитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Агиса. Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался, Дмитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний, но Борис, брат его, князь Городецкий, захватил престол Нижегородский. Дмитрий прибегнул к помощи Москвы. Увидели зрелище невиданное: из Москвы не воинство явилось, не рать сильная пришла — явился смиренный пустынножитель Сергей, уж святой еще при жизни. Он судил двух братьев и осудил Бориса. Неповиновение осужденного страшно наказано было святым человеком: Сергей затворил храмы божии в Нижнем Новгороде и грозил проклятием. Нижегородцы со слезами молили его простить их. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя возвело Дмитрия на престол. Смерть Дмитрия чрез несколько лет возродила новые распри. Симеон от смертного одра отцовского послан был в Орду требовать Нижнего как своего наследия. Туда явился и Борис. Золото покорило ему сердца вельмож ханских, но Симеон не смирился, бежал из Орды в Москву, и Дмитрий Иоаннович, тогда еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжестве своем, уступил Нижний Симеону, но снова явился в Орде, полгода кланялся хану, обещал дань и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Симеон спешил в

Орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою княгиню Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского, — его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол Нижегородский. Но непродолжительно было торжество вероломного хищника. Двор ханов ордынских представлял тогда позорище смятений и неустойчивости. Все покупалось золотом. Веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Дмитрия Донского, явился в Орде, Тохтамыш, беспокойный слухом о Тимуре, хотел уладить мир с Москвою, уже сильною среди других русских княжеств. Бояре юного князя Московского, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского: они просили Нижнего и Суздаля. Тохтамыш разорвал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Симеона в Орде. Но у Симеона были друзья, и он сгиб и пропал из Орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели, как успел Белевут усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайных сообщников Симеона. Сношения Белевута с Москвою были непрерывны. И когда московские бояре думали и не знали, на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость уже успела сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он уговорил между тем сообщников Симеона возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко можно было управиться со всеми.

И тогда, если бы князь Борис был деятельнее, если бы Симеон успел приехать в Нижний днем ранее, — ничто не помогло бы Белевуту. Один день... Но теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Симеона, не слушал никаких убеждений его. Разгневанный смятением, он укорял его в измене и велел палочить на него цепи, а Румянцу с дружиною разогнать сообщников Симеона, пока сам отправлялся принимать ханских послов на площади у Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, посол ханский объявил его княжество областью Москвы и бросил перед

ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжество. Подле той темницы, куда, по его велению, повержен был Симеон, посадили и его, обремененного оковами. Бояр его развезли по разным областям Московским. Буйные сообщники Симеона встречены были пищальным огнем московской дружины. Невиданное дотоле действие губительного оружия ужаснуло их — все разбежались, и на другой день в Нижнем Новгороде все было тихо и спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана и татар в княжеском дворце. Пируя, они забыли даже закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их к себе за пазуху, на память угощения, как всегда велось у татарских послов. Белевут проводил их за город, низко поклонился им и поехал в Москву поздравить своего юного князя князем Нижегородским и Суздальским. С ним поехали избранные люди нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были тогда Димитрий, пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Где был Некомат, сребролюбивый, бездушный скряга? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и где воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, рос в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетунь и около нее в лесу рассеяны были хижинны села Голенищева, принадлежавшего Московскому митрополиту. Среди них белелась церковь Трех Святителей. Подле нее был дом митрополита. Старец Киприан, испытанный скорбями и опытом жизни, часто удалялся сюда, в место «безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения». Здесь иногда долго вечером светилась лампадка в его келии, и он, умерший настоящему, жил в прошедшем. Окруженный *ветшаными* книгами, он вникал в сокровенный смысл писаний святых отец, разбирал премудрость эллинов и по следам «вещателей веков прошедших» описывал деяния князей русских, жития святых и добропобедных мучеников или прелагал эллинские книги на язык русский, который сделался ему родным в продолжение долговременного пастырства его в Москве и Киеве.

Еще не подавали огня, и вечерняя заря тускло светила в окна митрополитской келии. Киприан сидел за большим

столом. Вокруг него лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против него сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи. Жар, оживлявший инока, еще горел в очах его, устремленных на святителя, — подобно яркой лампадке, теплящейся над гробом, сияли взоры его, хотя бледное лицо показывало отречение и умертвие его всему земному. Долго и безмолвно внимал ему Киприан и потом сказал тихо:

— Благ подвиг твой, инок Димитрий, и усладительна беседа твоя! Изучая премудрость премудрых, ты не скрываешь светильника под спудом, ставишь его на свещнице, да светит всем, сущим в храмине! Ты передаешь нам вещания велемудрого Георгия Писидийского и, напутствуя души христиан к созерцанию дел божиих, будешь благословен благодарностию соотчичей, услажденных трудом твоим!

— Владыко! — смиренно отвечал инок, — если труд мой будет награжден хвалою мира, я отнесу хвалу сию на алтарь смирения моего пред волею божиею, внушившею мне мысль передать на родном языке книги премудрого Георгия. Рано отрекся я от мира и ничего не требую от сильных земли. Созерцая с святым Георгием творение бога, хваля его устами смиренными, я награжден с избытком и за бдения мои, и за труд малый, но усердный!

— Так, ты прав! Мир не для того, кто вкусил сладость беседы мудрых мужей, умерших плотию, но живых духом в творениях бессмертных — не для того он, кто познал суету и тщету мира и во прахе земли витает мыслью на небесах! Тяжка земная жизнь человеку праведному, тяжек мир человеку, бегущему суеты! Димитрий, ты блажен, что мир не преследует тебя в тихой келии твоей и суеты его не врываются к тебе сквозь монастырские затворы! Сколько раз воспоминал я о келии Хиландартской, где протекла моя юность, где молитва и труд готовили жертву богу, еще не оскверненную суетами, и где в тишине дух мой возносился к Вездесущему или беседовал с мудрыми и святыми мужами!

— Но, владыко, судьба вела тебя с берегов моря Эгейского быть пастырем стада великого!

— Не ропщу на волю его и благословляю перст божий, указавший мне путь к полунощи! Но сколько страданий претерпел я среди трудов о пастве, скольких бедствий был свидетелем, сколько раз падал я, искушаемый наваж-

дением сует! И ныне, верь мне, только здесь нахожу я покой. только, сюда удаленный, внемлю я гласу души моей, как елень на источники водные, стремящейся в небесную отчизну свою! Там, в Москве, суета поедает дни мои — время бытия моего гибнет в смущении, и вечность задвигается миром малым и суетным! Блеск и почести — я бегу от них, они гонятся за мной и влекут меня с собою! Вчера, возвратясь сюда, в уединение мое, после беседы князей и бояр, где уныние и грусть о судьбе Руси терзали нас скорбью, послушай, что написал я...

Киприан выдвинул лист бумаги из других, лежавших на столе, и прочитал: «Все человеческое множество, общее естество человека оплачем, злосчастно богатеющее. Земля — смешение наше, земля покрывает нас, и земля — восстание наше. О дивство! Все шествуем мы от тмы во свет, от света во тму, от чрева матери с плачем в мир, и от мира сего с плачем в гроб: начало и конец жизни — плач. Сон, тень, мечтание — красота житейская! Многоплетенное житие как цвет увядает, как тень переходит».

Когда Киприан прочитал чтение и безмолвно преклонил голову в смутной думе, кто-то постучался в дверь келии и проговорил тихо:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Аминь, — отвечал Киприан.

Дверь отворилась. Князь Василий Дмитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Дмитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный *терлик* и шитый шелками *охобень* были на него надеты, и сабля его блистала дорогими камнями. За ним шел старец, высокого роста, седой, но еще не согбенный летами; то был князь Владимир Андреевич *Храбрый*. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут. Инок Дмитрий низко преклонился перед всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложив руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены и крашеные скамейки показывали, что митрополит здесь сидит иногда, наслаждаясь прохладой вечера. Долго смотрел Дмитрий в

растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Перебирая четки, повторял он: «Дивны дела твоя, господи, яко вся премудростию сотворил еси!» Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли призывать его в совет князей и бояр, инок шел робко. Подходя к келии митрополита, он услышал многие голоса — заметно было, что говорят с жаром. Димитрий вошел в келию. На столе горели две свечи. Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князь! — сказал Киприан, — инок сей мудр и благочестен. Ты можешь верить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

То было письмо грека, издавна жившего при дворе ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще к хану Муруту, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурута ханов Золотой Орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:

«Как единовверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой Орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огонь и меч Тимура сравняли ханские терема с землею — уже нет ханского Сарая; погибло великое, погибло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тмы тем татар Тимурхановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан — ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает па цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человекам гневом Божиим, пред коими исчезают и глад и хлад, равняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, между царством Попа Ивана и

Скифиею Великою, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур, свирепый, лютый, кровожадный. Говорят, что три звезды упали на небе, когда он родился, и гром трижды загредел зимою. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и от того наречен *Темир Аксак*, иначе же *Тамерлан*, иже преводится *Темир-хромец*. И завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи и военачальники, богу гордым и злобным на время попускающему. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет, и взять Индию и Амазоны и Макарийские блаженные острова; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство, и Севастию, и Армению и все тамошние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустане, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз, Шибрен, Саваз, Арзанум, Тегфлис, Бактаты, и ныне Сарай Великий и Чегатай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на Орду безвестными степями, шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается — страшно изречь — человеческою плотию! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по вся дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом велиим и печалию одержимы пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, велелепные Византии, и обтечь всю землю. И слышу, что царь наш Мануил Великий, не забывший и прежние богопопустные скорби, печалуеться единому богу и на него единого возлагает упование...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! что нам предпринять? — спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида. — Мы ждали битвы Тохтамыша — она решила гибель его... Теперь настала чреда Руси. Темир Аксак идет на нас.

— Князь! На бога возложи печаль твою и молись! Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея, кто рукою отрока Иессеева поразил Голиафа, не попустит тебе и православию погибнуть!

— Но должен ли я безмолвный ожидать грядущего бед-

ствия? Хочу стать с оружием против врагов церкви и отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!

— Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старейшего летами,— сказал князь Владимир.— Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против безбожного Мамай. Какая великая година чести была Русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песню на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву. Суетны надежды человеческие! Нейди сам на беду и жди, пока не придет она!

— Должно ли мне сказать дружинам, отвсюду ко мне идущим: идите вспять — и я не смею вести вас на битву? Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?

— Нет! Будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву и молись о спасении. Тщетно оружие там, где гнев божий ведет грозу и погибель!

— Так, князь, таково и мое мнение,— сказал Киприан.— Бог, без чьей власти не погибнет и влас с главы твоей,— защита вернее воинства.

— Владыко! Ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и, если мы падем в неравной битве,— твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставляю тебе.

— Князь!— отвечал Владимир,— очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую Русскую землю,— умири совесть твою и не отринь совета старца — отдай Нижний Симеону!

— Нет — тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже и говорить мне о Симеоне!

— Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что в день суда божия горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих, но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!

— Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир,— я не отдам Нижнего!

— Страшись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!

— Нет! Не на того падет гнев божий, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне — они противники власти, данной мне от бога, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их! Так я думаю, так должны все думать.

— Молод, а умен, — сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский ферезь, — молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его выпустить из рук, что однажды ему попало. Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля! — прибавил он, обращаясь к Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.

— Садись, — сказал Белевут, отодвигая дубовый стол от лавки, — садись и поговорим о деле. — Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

— Печорских аль сибирских соболей, боярин? — спросил Некомат усмехаясь. Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как было оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

— Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! Тут недобро было — демонское наваждение влекло меня, прости господи! — Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.

— И Замятню, боярин?

— Да, ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро и золото сообщников Симеона, выдал нам все, и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

— Боюсь что-то я за его верность, боярин! Если уж он передался вам без кривды, то сам бог предает в руки князю Василию Дмитриевичу сердца врагов его.

— А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся — глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, куда дует, а к тому же Замятня богат, как Аред!

— Ну, бог знает, боярин, — животы смерть окажет! — сказал Некомат с усмешкою.

— Полно, Некомат! Он и не заикнулся, когда я попросил у него... на княжеские расходы... чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! Я верю Замятне. Да это дело сторона, а поговорим о нашем другом деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты, что ль?

— Боярин! хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодец, а моя Ксения — девка на возрасте.

— Отлагаю все до приезда князя Василия Дмитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут вам облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испытить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь у нас теперь завороха, что и господи упаси — тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь, и бог весть откуда! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда... Бабы да старики воют, еще ничего не видя!

— А что же, боярин, ты думаешь?

— Что думать! Живи не как хочется, а как бог велит! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Наш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать — голова умная!

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Жребий Нижнего Новгорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана — ничто не могло склонить князя Василия Дмитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей Нижегородских оставалась еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон

и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих — ничего не было слышно...

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Дмитриевич был в Москве, кипевшей воинскою деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из Орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним страданием смерти — она не покоит его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении — он жив, но на него уже веет могилою — он предчувствует то близкое мгновение, которого содрогается все живущее!

Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России, несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненную рекою. Церкви московские были наполнены народом. День и ночь слышались молитвы и воздыхания молящихся.

А страсти не умолкали и на краю бездны! Сердце человека! Содрогнется тот дерзкий, кто осмелится заглянуть в тебя — содрогнется и побежит от самых обольстительных надежд и мечтаний своих, как бежит, содрогаясь, суеверный юноша при взгляде на гроб своей подруги, на ее лицо, обезображенное смертью и тлением!

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Дмитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московского князя. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли дома снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижегородских городов. Бояре, гости, почетные люди нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры, и часто старики забывали идти к заутрени после бессонной до белого света ночи, проведенной в гульбе у Белевута или какого-нибудь

богатого гостя. Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки малвазии выписал он нарочно из Москвы и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал был их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!

В веселом разгуле прошло две, три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псалмы, в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности и в домах погасли последние огоньки, все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать, иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояра, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдете в собраниях старинных чарок русских *чарки-свистуны*. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели *положить* своих гостей — верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение.

Такого-то *свистуна* огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было спoitь, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза три-четыре и когда уже петухи возвещали час полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна, — чокнемся и обнимемся еще раз!

— Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет

двоиться в глазах, — отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться: не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке?

— Э! была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!

— Давай! Если за нами черед, чего мешкать!

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня.

Кравчий повиновался.

— Эх! ты, боярин! Вот уж люблю тебя за то, что молодец — и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня — гуляка, пустая башка! Врут, дураки: я в тебя, боярин, — вот что ни смотрю, точно братья родные...

— Ты диво-малый! — вскричал Белевут, обнимая Замятню, — точный москвич, а не нижегородец!

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил? Ведь я был все тот же?

— Нет, не тот же, а теперь чудо — не человек... Прежде ты глядел не так — немножко кривил голову... Ха, ха, ха!

— А ты ее повернул мне куда следует?

— Сама повернулась!

— То-то же, *сама*. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот посмотри-ка: здесь кого-то недостает...

— Кого? — сказал Белевут, смеясь. — Ведь не тринадцать их осталось — чего бояться, если кто и уплелся!

— Надо знать *кто*! Вот, примером сказать: Некомат где? Вот там сидел он и морщился!

— Так не лежит ли он где-нибудь...

— Нет! Думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он человек, чтобы свалился. О, не люблю я эдаких народов...

— Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно нравится что-то? Я спас его от гибели: он не то что ты; у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!

— А он спустил тебя на посулах?

— Не то, не такого олуха царя небесного нашел он,

да что-то не ладится у меня с ним никак — словно козьи рога, в мех не идет.

— Скоро ли у вас свадьба?

— Скоро ли свадьба? Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат подтакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет, а просто жаль с сундуками расстаться — ведь богат, как немногие бояре московские...

— Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат, но, право, я что-то куда сомневаюсь... Вот я — был грех... стоял за Симеона, — тихонько прибавил Замятня, — а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!

— Я знаю, — сказал Белевут, коварно улыбаясь.

— Ой ли? Хочешь о большом медведе моем, моей любимой стопе, что воң там стоит на полке?

— Полно шутить, Замятня, — теперь уж все старое кончено...

— Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет — а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить... Что ты думаешь: все уж молодцы у вас в руках?

— Все. Хочешь покажу тебе роспись, кто и где теперь?

— Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал, да что ни лучшего-то, того-то у вас и нет... Где боярин Симеонов Димитрий?

— Где? У беса в когтях! Только его одного и недостает.

— Этак он ошутил: *только его!* Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

— Ну, где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!

— Его нигде не сыскали?

— Уж все мышки норки перерыли!

— А Некомат тянет ваше сватовство?

— Ну, что же?

Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
Во ту ли реку, во Смородину...—

так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

— Что ж ты хотел сказать? — спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин! Пусть они распоятся погромче — я нарочно затянул, чтобы нас не слышали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовый, стучит, воеет, кричит в полночь?

— Бабьи сказки!

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я... хм! — я видел домового!..

— Ты?

— Да, я. Ну, как ты думаешь: каков собой этот домовый дедушка? Кто он? Черт, что ли? — Замятня плюнул.

— Говори, говори! — вскричал Белевут. Глаза его засверкали.

— Постой — дай одуматься — все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть: что там за чудеса такие творятся и правда ли это — и вот и пошел я подкараулить; вот и идет Некомат, идет дочь его — и домовый идет... Месяц светил ярко... Провалился я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где... Симеон!

— Если ты лжешь, Замятня... — вскричал Белевут и взялся за саблю.

— Вот: *лжешь!* Послушай: теперь полночь... Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку — нас не заметят! Авось мы встретим домового!

Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками! — сказал Замятня. — На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!

— Нет, не верю... не верю... Пойдем!

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу, в переулочек, и ни одна душа человеческая не встретила их. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задним Некоматовым дворам. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некомата, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются — идет человек

с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья — человек с фонарем подходит — это Некомат.

Он идет озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается. «Господи! помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... Он, верно, в заговоре, проклятый пьяница... Если узнали! Горе мне, горе!» Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

— Ничего, — отвечал Белевут, улыбаясь принужденно. — Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?

Пойдем далее, а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня в чаще вишневых деревьев.

Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — заговорил Белевут, крестясь.

— Вот и трусил, боярин! Что, веришь ли мне? Пойдем ближе!

Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку — ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде — свет падает ему на лицо — Замятня не ошибся: он, Димитрий, боярин Симеона!

Как бешеный, вскочил Белевут. Замятня удерживает его — напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит неизвестные слова. Огонь в бане погас. Дверь растворяется. Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную...

— Она умерла! Она умерла! Господи боже мой! — говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий

оставляет Ксению на земле. Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.

— Пусть кричит себе там, сколько хочет! — сказал Замятня, оправляя платье. — Димитрий! Брат! Друг!

Они крепко обнялись.

— Доволен ли ты мною? — спросил Замятня.

— Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...

— Что: дурак я аль нет? Не обманул я самых хитрых, самых сильных людей, Москву и Нижний, татар и русских? Жизни моей неостанет отмотить все лжи, все обманы, какие принял я в это время на свою душу — и как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе, а еще хвастают, дураки!

— Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того... Награда твоя не здесь!

— Да и чем наградили бы меня здесь за все, что я сделал для правого дела? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной шапке! Димитрий! Дай бог тебе час добрый! Ступай прямо к Симеону — там все уже готово, а я побегу к гостям моим — у меня все собраны, и я никого не выпущу до света...

— Замятня! Увидимся ли мы еще в здешнем свете?

— Бог знает, друг Димитрий... Ну! Все равно — прощай!

— Прощай!...

Еще раз крепко обнялись они, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней; взял ее холодную руку.

— Умерла? — сказал он. — Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе не радостна была жизнь — я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради бога, пособи мне...

— Чем же, брат? — отвечал Замятня, сложив руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках своих ее руки. — Если бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы...

— Димитрий, супруг мой, милый друг! — вскричала

Ксения, тихо поднявшись с земли и обхватив Дмитрия обеими руками. — Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой — успокойся...

— Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видать тебя.

— Дмитрий! Время дорого! — сказал Замятня.

— Иду! Еще на часок...

— Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона...

— Да, да... Мог ли я забыть, — и он исчез. Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья деревьев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.

Быстро пробежал Дмитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить — ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении. В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Дмитрий увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом. Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Симеон, стояла подле Кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Дмитрий быстро прибежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души — стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку. Дмитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Дмитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из рат-

ников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один — весь обращен в слух — тихо — опять шорох!.. Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогуший! Если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрипит замок от напряжения лома... Димитрий прячется — таит дыхание. Кто-то подходит ближе — вынимает из-под полы маленький фонарь — светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца — Димитрий узнает Некомата...

«Недаром чуяло у меня сердце! — шепчет старик, — здесь не добро! Мое все цело, а здесь... Посмотрим... калитка отворена — сторожей нет... Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи! Измена! Ударим в набат!» Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче... О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведенная на набатную Кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение рукой — и вся кремлевская стража пробудится...

Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь его застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата — фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит — почти хватает веревку — все заключено в одном взмахе руки — старик хочет кричать — нож выпадает у него из-за пазухи, и, как безумный, он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, что теплая кровь течет по руке его — он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату — крик — новое усилие — еще удушаемый крик, еще усилие — последнее, отчаянное — и за ним послышалось хрипение умирающего...

— Убийца! — вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке: — Я убил его!

И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали.

Но вот идут из тюрьмы — слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим — Симеон!..

«О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей: Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганные погибла. Рекли князья: «то мое и то мое же», и сами на себя стали крамолу ковать, а поганные со всех сторон с победою приходят на землю Русскую. Тоска разлилась по земле Русской, и печаль тучная бродит по весям и градам. О! стонать тебе, Русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» Так пел ты, певец плена Игорева, и два века протекли, по вещие слова твои роковым пророчеством носятся по земле Русской!

Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, попадающего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь: Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воинство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и были там древле грады красны и нарочиты видением, места их единые только оставались. пусто же все и ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество. При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену. Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новгороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.

— Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура!— говорил татарин.

— Поедем!— отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

— Пусть останется.

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнул кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на

несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Въехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, и меловые горы, при впадении сей реки в Дон, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура — ни в которую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец, орудия, каких до того времени не видано в России, воины, разнообразно одетые, богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские, женщины и дети пленные, телги, нагруженные снарядами и добычами, оружие, наваленное кучами и расставленное рядами, огни, вокруг которых сидели воины, балаганы, где раскладены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище, рев животных, звук бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастья, бешеная радость и вопль ярости — все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица. Полы шатра, из драгоценных индийских тканей, были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, опрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, и тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. *Бессмертная дружина* Тимурова окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и спутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы;

одни писали на шелковых тканях, другие погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек с свертком в руке, молча, но выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек, с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдакиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани, стояли деревянные кадки и горшки с жемчугом, золотом, серебром, в гряде лежало множество золотых чаш, в стороне брошен был овчинный тулуп, шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них, на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклонив головы. Только один старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черные невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдакина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках. Он прихлебывал что-то из чашки и слушал чтение свитка — то было утреннее чтение алкорана.

«Он дал свет солнцу и блеск звездам. Он уставил изменения месяца, да послужат человеку делить время и считать лета. Воистину он создал всю вселенную. Он повсюду явил очам мудрых знамения своего могущества. Последование ночи и дня, согласие всех творений на земле и на небе суть блистательные свидетельства боящимся господу. Не ожидающий будущей жизни, обольщенный прелестями земного бытия, уснет на них ненадежно, а презирующий мои вещания за деяния свои получит возмездием огонь адский!»

Здесь Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел че-

ловека, которому, по-видимому, было не более 50 лет — таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом — ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура. Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смещением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине море-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит, и кипит, и застывает — плавит камни и леденит воду в одно время.

— Вот истинная премудрость, Желаддин-Абу Гиафар! — сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу, — вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, глени! Век наш — тень былия на горе Ливана!

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему.

— Разве я сказал что-нибудь достопамятное? — промолвил он. — Правду, простую правду сказал я!

— Правду небесную! — отвечал писец.

— Начто же записывать ее? Она в сердце твоём и моём, и всех людей. Люди все одинаковы.

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянья.

— Тебе могу поверить, — сказал тихо Тимур. — Бог рек: «Мы даровали премудрость Локману и вещали ему: даждь славу богу!» Ты поэт, вдохновенный небом, — говори!

И поэт проговорил быстро:

— Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес бога, создавшего Тимура, *саиб керема* вселенной. В едином человеке воссоздал бог все человечество. Он изрек: «*кун*» (да будет!) — и явился человек. Он изрек «*желаледдин*» (восстань!) — и восстал Тимур. Цари — рабы его, веяние крыл ангела смерти — гнев его, от взоров его колеблются столпы Византии и

трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю: на одной половине престол его, на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужаса враги его! Древо блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, она прейдет века и воссияет над гробницею последнего смертного!

— Благословен алла, создавший Тимура!— воскликнули присутствовавшие.

— Абу-Халеб! Возьми себе вот этот горшок,— сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вровень с краями золотом,— и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эйтак,— сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем,— говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восставить повсюду закон и правду?

— Нет, великий сагеб керем! Он князь в полунощной части земли Русь.

— В сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

— Так угодно было судьбам вышнего! Зачем же противится он воле бога! Зачем не отдаст он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.

— Не Москва ли было наследие его? Я слышал о каком-то городе Москве?

— Нет! Москва отняла у него наследие.

— Итак, даже Москва могла обидеть его, Москва, которая сама преклонялась у подножия седалища людей, ничтожных пред избранными пророком,— преклонялась пред ордою Тохтамыша!

Он умолк и потом обратился к одному из присутствовавших.

— Где посол Баязета?— спросил он.

— С восхождения солнца вчерашнего ждет он ответа,

не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ своего шатра.

— Кто он?

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

— Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит гибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в Анатолийские леса, и там богу правосудия предаю мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, если Москва обидела тебя, — поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву — поди и скажи князю Московскому, что я отдал тебе Москву, и — возьми ее себе.

— Он не посмеет взять не своего, — отвечал угрюмо Эйтяк.

— Эта Русь мне нравится, — сказал Тимур, улыбаясь. — Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса — они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной моими воинами дебри. Тут был лес — он был уже некогда вырублен — жили люди, и их нет — и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках — и так же называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землю! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру могилы.) Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон Великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись пред мною длинным рядом обломков. А знаешь ли, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать? Что ты скажешь об этом, Мостассем-Гассан, мудрец Багдада?

— Раб твой, — отвечал один из присутствовавших, — осмеливается думать, что воля провидения неисповедима: оно создало кедр Ливанона, розу Иемена и траву, растущую на могиле монгола, умершего в сибирской степи, где никто не ведал не только его самого, но и народа его, погребенного в ветре пустынном. Я видел водопады ве-

ликого Нила: там волны реки падают с того самого часа, как бог изрек миру: «*будь!*», и он был. Волна сменяет волну, и все льется в море, где и глаз и ум человека теряются в необозримой пучине.

Глаза Тимура блеснули как молния.

— Взгляни на звезды небесные, — сказал он, — и знай, что есть и в мире такие звезды! Пыль подымается ветром и падает опять на землю, а *глаза Алиевы* вечны, и бог избирает здесь на земле человека тленного и дает ему *нетленные глаза!* Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят духа безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой, — но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать *губительному ветру истребления* силы великие и царства многие! Дух божий ведет меня — и будто я знаю, куда он ведет меня? Он теперь отвращает меня от пути на полночь — он велит мне идти туда, в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем чрез те горы, где сказал какой-то бессильный богатырь: «*не далее!*» Придем сюда еще раз, но уже с запада, и через Железные Врата Каспия пронесем завет пророка в Самарканду! А, Мустафа! Исполнил ли ты повеленное тебе?

— Голова Корийчака и головы его советников складены столпом подле шатра твоего.

— Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и вод Дона, до самого Крыма.

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

— Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я и не заметил тебя! Воздай хвалу не мне, а богу. Будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни!

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим! — отвечал Кутлуй.

— Восемь? — спросил, изумясь, Тимур. — Девять дверей рая, девять молитв пророка, и число девять благословляет человека на земле!

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим, и девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул нескольких капель воды, принесенных ему усердием...

— *«Восток и Запад — область божия! Куда ни обрати взоры, везде узришь образ бога! Он наполнил вселенную своею бесконечностью»*. Не так ли рек пророк его?

— Но мы не видим его, и только дух премудрости его явлен человеку в образах видимых, и где более явлен он, если не в том, кто переживет тысячелетия и будет на земле *нетленными очами* человечества!

— Поди же, Темир-Кутлуй,— я даю тебе средство начать добром — отдай этому князю русскому то, что у него отняли Тохтамыш и враги его! А ты, князь русский, помани в молитве твоей меня, бедного хромца, и воздай за добро благоденствием твоих подвластных!

По данному знаку Темир-Кутлуй, Эйтяк и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные зрители оставались неподвижны и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось недвижимо, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимура, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую сложили в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней прежде в ханы Золотой Орды. Кровь из нее капала и падала на песок по обезображенным головам друзей Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась только в молве народной. Летописи русские повествуют, как благодать божия спасла Москву от гибели, как чудотворный образ богоматери принесен был из Владимира в Москву, как зверовидный Тимур устрешен был чудным видением — в трепете, ночью, вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратился вспять от берегов Сосны полки свои и бежал *«никем же гоним»*!

Когда вы вступите в древний московский храм Успения богоматери, ваши взоры благоговейно встретят на левой стороне от царских врат унизанный жемчугом и драгоценными камнями образ, пред коим денно и ночью горит елей, приносимый православными. Сей святой образ перенесен был из Владимира, когда Тимур грозою двигался по берегам Дона к Москве. Пред ним молились предки наши, пред ним падали тогда во прах князи и бояре, пред ним лились горячие слезы русских, когда

князь Василий Дмитриевич и воинство его обрекали себя верной гибели на берегах Оки и хотели лечь костью за Москву и православную Русь.

Красным летом, когда зацветают окрестности московские и толпы пешеходов идут поклониться мощам св. Сергия, благоговейно останавливаются сии странники у древнего Сретенского монастыря, совершают три земные поклона, и в душе их пробуждается память о том времени, когда на сем самом месте сердца предков их усладила *первая надежда спасения*, когда соимы народа преклонились пред чудотворным образом богоматери — и Тимура поразили страх и трепет.

Поколения прошли по лицу земли. Пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем Новгороде, войдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей Нижегородских, разберите старинные письма на их гробницах: вы найдете там гробницу Симеона, подле него гробница князя Бориса. Гроб примирил их.

Вы хотите знать судьбу Симеона, после того когда вы видели его в шатре Тимура и слышали, как могущим словом Тимур отдавал ему Москву, не только наследие его. Разогните древние летописи и читайте:

«Лета 1402-го, князь великий Василий Дмитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду да Федора Глебовича, а с ними рать свою искать князя Семена Дмитриевича Суздальского, и самого его обрести или княгиню его, или дети его, или бояр, крыяшесь бо в татарских местех. И идоша на Мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в Мордовской земле, на месте, нарицаемом Цыбирца, у святого у Николы, идеже поставил церковь бесерменин Хази-баба. И изымаша тамо княгиню Семенову Александру, и ограбиша ее, и приведоша в Москву, и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изымана, и посла к великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение, и во многое умиление и смирение, прося *опаса*. Был же тогда князь Семен в Ордынских местех, бегаша от великого князя, от Василия Дмитриевича. Князь же великий Василий Дмитриевич даде ему *опас*. Он же прииде из Орды на Москву и взяша мир с великим

князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцев, и в больший недуг впаде, и преставися, месяца декемврия в 21 день. И сей князь Семен Дмитриевич Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добываясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четырема царям: первому Тохтамышу, и второму Темир-Аксаку, и третьему Темир-Кутлую, и четвертому Шадибегу, а все поднимая рать па великого князя, на Василия Дмитриевича, как бы ему найти свою отчину, княжество Новагорода Нижняго, и Суздаль, и Городец. И того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретаая покоя ногама своими, и не успе ничтоже, но яко всеу труждаясь. Суетно есть человеческое спасение и упование, понеже от бога вся суть возможна, а от человек ничтоже... »

Такова была судьба князя Симеона Суздальского. Но его боярин Дмитрий, но Ксения, но Замятня?..

Если что успеем найти, перескажем когда-нибудь о Дмитриии, Ксении и Замятне. Теперь простите, православные, и благодать божия да будет с вами. Повесть о Симеоне кончена. Чему научила она нас? Повторим слова современника: «Суетно есть человеческое спасение и упование!» — Истина не новая, да помним ли мы ее?

1828





АЛЕКСАНДР КРЮКОВ



РАССКАЗ МОЕЙ БАБУШКИ

I

Бабушка моя (скончавшаяся лет пять тому назад, на восемьдесят первом году своей жизни) провела всю свою молодость в пограничных местечках Оренбургской линии, где отец и супруг ее были офицерами в гарнизонах. Эти местечки и теперь могут служить живыми образцами бедных городов древней Руси, а лет за шестьдесят или более они лепились по крутизнам Уральского берега, как гнезда ласточек по кровле крестьянского дома, будучи подобно им выстроены из обломков и грязи. Можно представить себе, какие блестящие общества заключались в таких великолепных жилищах и как далеко простиралось в них знание светских приличий, этот мишурный блеск, которым ныне гордятся не только столицы, но и бедные уездные городки. Впрочем, хотя бабушка моя во время своей молодости вовсе не читала романов (потому, что не умела читать) и в глаза не видала тогдашних придворных любезников, но простое сердце ее не было черство, а простой ум умел различать белое от черного, доброе от худого. Мать-природа, щедро наделившая мою бабушку нравственными красотою, не забыла позаботиться и о телесных ее качествах, так что, по свидетельству моего дедушки, она, в свое время, была румяна, как ночью пущенная бомба, бела, как солдатская перевязь, стройна, как флигельман, сладкогласна, как походная флейта, весела, как бивачный огонь, и что всего лучше — верна, как палаш, который носил он с честью с лишком тридцать пять лет. Нрав мой бабушки, как мне удалось слышать от людей посторонних, был чувствителен, но не слишком робок. Может быть, подобно пынешним романическим красавицам, она падала бы в обморок даже от появления какой-нибудь мышки, если б всегдашняя жизнь между воинственными народами и кровавые сцены, весьма не-

редко свершавшиеся перед нею, не придавали характеру ее довольно твердости не только для перенесения маловажных неприятностей, но и для самой борьбы с существенными бедствиями жизни. Хотя нельзя сказать, чтобы она, как спартанка, была слишком скупа на теплую воду, называемую слезами, но малодушные слезы не были для нее единственным орудием противу обид людей или рока. Пропливая их, она не забывала и других, более действительных средств защиты, так что при вражеских нападениях она, как женщина, рыдала, как женщина с духом — дралась.

Такова была бабушка моя в молодости. Впоследствии, живучи в больших городах и видя свет во всех его изменениях, она образовала природный ум свой беседами людей просвещенных; узнала и светских льстецов, и светских любезников, и даже выучилась читать и писать, но в обращении и в речах ее остались еще оттенки простоты старого века и то любезное прямодушие, которого уже почти не видим мы между нынешними стариками.

Читатель простит меня за сии подробности о моей бабушке, если узнает, что в детстве я был ее любимцем: при ней рос, при ней учился, при ней начинал чувствовать склонность ко всему прекрасному, уважение ко всему высокому и святому. Хотя в это время она, разумеется, уже несколько не походила на лестный портрет, начертанный мною, по рассказам моего дедушки: была стара, седа, почти слепа и сутуловата, но в голосе ее сохранились еще звуки, доходящие до глубины сердца, а на лице из-за глубоких морщин проглядывали черты добродушия и любезности, не истребленных в душе ее ни горестями, ни годами. С заботливостию матери старалась она ободрять склонность мою к наукам и в простоте своей думала, что чтение книг — каких бы то ни было — более всего служит к просвещению юного разума и к образованию юного сердца. Как *молодое* дитя, я любил читать романы и сказки; как дитя *старое*, она (вот доказательство ее чувствительности) любила их слушать. Вымышленные бедствия некоторых романтических героев сильно трогали ее сердце. Она их помнила и с милым простосердечием сетовала иногда об них, как о бедствиях мира существенного.

Однажды читал я ей какую-то повесть, в которой свое-нравное перо автора изобразило бедствия девушки, увлеченной разбойниками в их пещеру. Никогда еще моя ба-

бушка не бывала в глазах моих столь сильно растрогана, как при чтении сих романических бредней. Сначала участие, которое принимала она в судьбе мечтательной пленницы, обнаруживалось только отрывистыми восклицаниями и вздохами, но наконец она зарыдала так горько, что, почитая слезы ее припадком болезненным, я бросил интересное чтение и кинулся к ней на помощь.

— Что с вами сделалось, бабушка? О чем вы плачете, не больны ли вы?

— Нет, дитя мое, не беспокойся. Я плачу об ней, бедненькой. Ах! Ведь и со мной в старину было почти то же, что с нею!

— Как, бабушка? И вы видали разбойников? Так разбойники увозили и вас в пещеру?

— Да, дитя мое. На веку моем я испытала и горькое и сладкое... Много, много. Темные времена бывали, дитя мое.

— Ах! Бабушка! Милая, любезная бабушка! Расскажите мне о временах темных, расскажите, как разбойники увозили вас в лес дремучий... Все, все расскажите, любезная бабушка!

— Ладно, дитя мое. Я расскажу тебе все. Только не теперь. Воспоминания старины сильно растрогали мое сердце. Мне нужно успокоиться. Завтра, дитя мое.

— *Завтра!* — повторил я, вздохнувши, и — с нетерпением любовника, который, под благосклонным сумраком ночи, легонько стучится в потаенную дверь своей милой, — ожидал любопытный ребенок этого обетованного *завтра!* Наконец оно наступило. За днем, проведенным в учении и забавах, последовал вечер, и какой вечер. Темный, ненастный, с проливным дождем, с сильным ветром; короче, со всею свитою угрюмого октября, в начале которого это случилось. Но между тем как по улице скрипели ворота и ставни, шумел дождь и гудела осенняя буря — в комнате моей бабушки, как в келье святого отшельника, царствовала уютная безмятежность. Там тусклые лучи горевшей перед иконою лампы освещали занимательную картину: на дубовых, наследственных креслах сидела (несколько боком к свету) семидесятилетняя старушка, высокая и сухощавая, с бледным патриархальным лицом, в белом капоре и в темной одежде. Не оставляя своей всегдашней работы *вязать чулок*, она рассказывала (отчасти с жаром, отчасти с усмешкою) длинную повесть мальчику лет две-

надцати или более, который сидел противу нее на низеньком табурете и, опершись подбородком на обе руки, не спускал глаз своих с лица почтенной рассказчицы. Каждое слово ее было поймано его детским вниманием и брошено в хранилище памяти, не ослабленной еще ни заботами, ни страстями. У ног мальчика лежал большой черный кот *Васька*, любимец и внучка, и бабушки, который, вовсе не обращая внимания на рассказы госпожи своей, лениво перекатывал одною лапкою клубок ниток, упавший с колен ее.

Конечно, нет такого читателя, который бы не догадался, что описанная мною старуха была моя бабушка, а двенадцатилетний мальчик — я сам. Мне-то, милостивые государи, по предварительному обещанию, рассказывала она следующую *старинную быль*, которую постараюсь передать вам в собственных выражениях рассказчицы, свидетельствуя при том, что одною из главных ее добродетелей была величайшая любовь к истине.

II

— Давно, очень давно,— так начала моя бабушка свою повесть,— в то время, когда мне было еще не более шестнадцати лет, жили мы — я и покойный мой батюшка — в крепости Нижнеозерной, на Оренбургской линии. Надобно тебе сказать, что эта крепость несколько не походила ни на здешний город Симбирск, ни на тот уездный городок, в который ты, дитя мое, ездил прошлого года: она была так невелика, что и пятилетний ребенок не устал бы, обежавши ее вокруг; дома в ней были все маленькие, низенькие, по большей части сплетенные из прутьев, обмазанные глиною, покрытые соломой и огороженные плетнями. Но *Нижнеозерная* не походила также и на деревню твоего батюшки, потому что эта крепость имела в себе, кроме избышек на курьих ножках, старую деревянную церковь, довольно большой и столь же старый дом крепостного начальника, караульню и длинные бревенчатые хлебные магазейны. К тому же крепость наша с трех сторон была обнесена бревенчатым тыном, с двумя воротами и с востренькими башенками по углам, а четвертая сторона плотно примыкала к уральскому берегу, крутому, как стена, и высокому, как здешний собор. Мало того что *Нижнеозерная* была так хорошо обгорожена, в ней находились

две или три старые чугунные пушки да около полусотни таких же старых и закоптелых солдат, которые хотя и были немножко дряхленьки, но все-таки держались на своих ногах, имели длинные ружья и тесаки и после всякой вечерней зари бодро кричали: *с богом ночь начинается*. Хотя нашим инвалидам редко удавалось показывать свою храбрость, однако ж нельзя было обойтись и без них, потому что тамошняя сторона была в старину весьма беспокойна: в ней то бунтовали башкирцы, то разбойничали киргизцы — все неверные бусурманы. Они не только что захватывали в свой поганый плен христианских людей и отгоняли христианские табуны, но даже подступали иногда к самому тыну нашей крепости, грозя всех нас порубить и пожечь. В таких случаях солдатушкам нашим было довольно работы: по целым дням отстреливались они от супостатов с маленьких башенок и сквозь щели старого тына. Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елисавете Петровне) командовал как этими заслуженными стариками, так и прочими жителями Нижнеозерной — отставными солдатами, казаками и разночинцами; короче сказать, он был, по-нынешнему, комендантом, а по-старинному — *командиром* крепости. Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) был человек старого века: справедлив, весел, разговорчив, называл службу матерью, а шпагу сестрою — и во всяком деле любил настоять на своем. Матушки у меня уже не было. Бог взял ее к себе прежде, нежели я выучилась выговаривать ее имя. Итак, в большом командирском доме, о котором я тебе говорила, жили только батюшка, да я, да несколько старых денщиков и служанок. Ты, может быть, подумаешь, что в таком захолустье было нам весьма скучно. Ничего не бывало! Время и для нас так же скоро катилось, как и для всех христиан православных. Привычка, дитя мое, украшает всякую долю, если только в голову не заберется всегдашняя мысль, что *там хорошо, где нас нет*, как говорится пословица. К тому же скука привязывается по большей части к людям праздным, а мы с батюшкою редко сидели поджав руки. Он или *учил* своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век!), или читал священные книги, хотя, правду сказать, это случалось довольно редко, потому что покойник-свет (дай ему бог царство небесное) был учен

по-старинному и сам, бывало, говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. Зато уж он был великой хозяин — и за работами в поле присматривал все своим глазом, так что в летнюю пору проводил, бывало, целые божии дни на лугах и на пашнях. Надобно тебе сказать, дитя мое, что как мы, так и прочие жители крепости сеяли хлеба и косили сена — немного, не так, как крестьяне твоего батюшки, но столько, сколько нам было нужно для домашнего обихода. Об опасности, в какой мы тогда жили, ты можешь судить и по тому, что земледельцы наши работали в поле не иначе как под прикрытием значительного конвоя, который должен был защищать их от нападений киргизцев, беспрестанно рыскавших около линии, подобно волкам голодным. Потому-то присутствие батюшки моего при полевых работах было нужно не только для одной их успешности, но и для безопасности работающих. Ты видишь, дитя мое, что у батюшки моего было довольно занятий. Что же касается до меня, то и я не убивала времени напрасно. Без похвальбы скажу, что, несмотря на мою молодость, я была настоящею хозяйкою в доме, распоряжалась и в кухне, и в погребе, а иногда, за отсутствием батюшки, и на самом дворе. Платье для себя (о модных магазинах у нас и не слыхивали) шила я сама, а сверх того, находила время починить батюшкины кафтаны, потому что ротный портной Трофимов начинал уже от старости худо видеть, так что однажды (смешно, право, было) положил заплатку мимо прорехи, на целое место. Успевая таким образом отправлять мои домашние делишки, я никогда не пропускала случая побывать в божием храме, если только наш отец Власий (прости ему господи) не поленится, бывало, отправить божественную литургию.

Впрочем, дитя мое, ты ошибаешься, если думаешь, что я и батюшка жили в четырех стенах одни, ни с кем не знаясь и не принимая к себе людей добрых. Правда, нам редко удавалось хаживать в гости, зато батюшка был большой хлебосол, а у хлебосолов бывает ли без гостей? Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу: старик поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кой-какие жители крепости — всех не припомню. Все они любили потягивать вишневку и домашнее пиво, любили потолковать и поспорить. Разговоры их, разумеется, были расположены не по книжному писанью, а так,

наобум: бывало, кому что придет в голову, тот то и мелет, потому что народ-то был все такой простой... Но о покойниках надобно говорить одно только хорошее, а наши старые собеседники давно, давно уже покоятся на кладбище.

Следуя старинному обыкновению, я никогда почти не показывалась гостям моего батюшки, да и не слишком того желала, потому что эти старики с их громогласными рассуждениями не могли правиться девушке моих лет. Мне гораздо было приятнее коротать длинные зимние вечера с несколькими молоденькими подружками, которые прихаживали ко мне и в будни и в праздники, с своими прялками и чулками. Несмотря на то, что они по большей части были дочери простых родителей, казаков или солдат, я обходилась с ними дружески и простотою моею успела приобрести их доверенность и любовь. Бывало, усевшись в тесный кружок, мы или поем песни, или рассказываем друг другу разные были и небывальщины, или гадаем, разумеется, о том, скоро ли каждая из нас выйдет замуж. Скажу тебе, дитя мое, что, где только сойдутся вместе две или три девушки, там уж, верно, начинаются между ними толки о женихах, и, зная, такова наша натура слабая, что мы никак не можем изжить своего века — не гадая, не думая о мужчинах. Так и в нашем маленьком кругу любимым предметом для разговоров были немногие молодые люди, которые слыли в крепости женихами. Простодушные подруги мои весьма откровенно высказывали в таком случае свои сердечные тайны, и каждая из них хвалила какого-нибудь молодчика, который нравился ей более прочих. Иная, например, почитала первым в свете щеголем и красавцем молодого дьячка за то, что он ходил в голубом длинном кафтане и гладко причесывал голову; другая предпочитала ему казацкого хорунжего, с его черненькими усиками и алым шелковым кушаком; третья, напротив, думала, что хотя казачий старшина и не так уже молод, но заткнет за пояс всякого хорунжего, у которого только что пробивается пушок на подбородке. Слушая моих подружек, я не спорила с ними о достоинствах их женихов и не хвалила ни одного... Но и у меня был уже на примете молодой человек, с некоторого времени, так овладел всеми моими мыслями, что я даже видела его и во сне.

Это был молодой драгунский офицер, недавно прибывший в Нижнеозерную с отрядом драгун для подкреп-

ления нашего дряхлого гарнизона. Несколько раз случилось мне его видеть то на улице, едущего на бодром коне, то в церкви, то сквозь замочную скважину в комнате моего батюшки — и сердце мое всякий раз говорило, что он самый brave, самый любезный молодой человек. Всего более нравились мне в нем его мужественная осанка, высокий и стройный стан, черные глаза и черные кудри, которые в старину почитались первыми красотами в мужчине. Как бы то ни было, волею или неволею, я не могла уже выкинуть из мыслей моих драгунского офицера. Днем думала об его черных глазах, ночью они виделись мне во сне. Он был тем для меня милее, что и батюшка мой всегда отзывался об нем с великою похвалою. Сердечный мой так успел понравиться доброму старику, что он никакого гостя не принимал к себе с большею ласкою и радушием, как его. Что касается до меня, то сколько я ни была в то время проста и неопытна, однако ж догадывалась, что красавец мой ко мне равнодушен. Если бы он меня не любил, думала я, то зачем бы ему смотреть на меня во время божией службы или зачем бы ему беспрестанно ездить мимо окон нашего дома, как будто в целой крепости нет уж для него другой лучшей дороги. Впрочем, думая таким образом, я иногда и сомневалась в любви его. Случалось ли, например, мне не видеть его целый день, я становилась печальна, изредка даже и плакала, твердя: он меня забыл, он меня не любит. Такова-то любовь, дитя мое: она в одно и то же время радуется и печалится, верит и сомневается, смеется и плачет.

Итак, подружки мои не знали, что есть молодчик, которого я предпочитала не только их неотесанным женихам, но и всем красавцам белого света. Я была на этот раз так скрытна, что таилась даже и пред *бабушкою-мельничихою*, всегдашнею моею собеседницею, поверенною и другом. «Но кто такова бабушка-мельничиха?» — спросишь ты. Виновата, дитя мое: мне бы должно прежде всего познакомить тебя с этою старухою, которая очень много участвовала в моих приключениях. *Бабушка-мельничиха* была старая вдова одного из жителей крепости, который когда-то был мельником, почему и осталось при ней прозвище прежнего его ремесла. В то время, о котором я теперь говорю, она жила своим домом, имела изрядный достаток и пользовалась в кругу своем особенным уважением, которое приобрела своим умом,

расторопностью и бойким нравом. Она была женщина высокая, дородная и, несмотря на шестьдесят лет, лежавших у нее за плечами, потягалась бы силою и молодечеством со всяким добрым детиною. Большая часть жителей крепости была той веры, что бабушка-мельничиха живет *неспроста*, потому что она умела и бобами разводить, и в воду глядеть, знала и привороты и отвороты, и всякие лекарственные зелья. Но такая слава о мельничихе была нисколько не справедлива, и она столько же много виделась с нечистым духом, как и всякий добрый христианин, который ходит в храм божий, исповедуется и приобщается св<я>тых таин. Да и сама бабушка-мельничиха мне говаривала весьма часто, что она гадает не по дьявольскому наваждению, а с помощью святой молитвы господней. Как бы то ни было, я любила ее как родную мать свою, потому что она, будучи особенно привязана к нашему дому, взлелеяла меня на руках своих — выучила хозяйству и рукодельям и всегда с охотою оставляла все свои домашние работы, чтобы сокращать для меня скучные зимние вечера любопытными рассказами о временах старинных. Хотя благодарность и обязывала меня не скрывать ничего от этой доброй старухи, но я не могла принудить себя открыть ей мое сердечное горе. Однако ж бабушку-мельничиху не так-то легко было провести. В один вечер, когда я одна-одинехонька сидела в моей светлице, думая и гадая о молодом драгунском офицере, пришла она и, севши возле меня, взявши меня за руки и посмотревши пристально мне в глаза, спросила тихим голосом: «Что, Настинька, видела ли ты молодого драгунского офицера?» Я вспыхнула и, запинаясь, отвечала: «Да, бабушка». — «Нравится ли он тебе, дитятко?» Что мне было сказать? Я немножко призадумалась и опять отвечала: «Да, бабушка». — «Ну, так дело наше и слажено, — сказала старуха. — Ведь он любит тебя без памяти, дитятко. Он хочет сватать тебя у батюшки». — «Как, бабушка? — вскричала я, не думая скрывать своей радости. — От кого ты это узнала?» — «От него самого, дитятко. Он молодец откровенный, не так, как ты, моя сударушка: таилась целую неделю и думала обманывать меня, как будто уж я ничего и не вижу. Да ладно, — продолжала старуха, — приготовляй-ко приданое, матка-свет. Ведь я недаром пришла к тебе, а сватать. Думать-то нечего: молодец он прекрасной, во всем тебе пара — и его как будто

нарочно для тебя занес бог в наше убогое захолустье». Не нужно тебе рассказывать, дитя мое, что известие бабушки-мельничихи сильно обрадовало меня, и, оставшись опять наедине, я со слезами благодарила мать пресвятую богородицу за неожиданное счастье, которое она, моя владычица, мне посылала. На другой день, около полудня, я увидела в окно, что к моему батюшке пришли: сперва бабушка-мельничиха, потом молодой драгунский офицер, увидела — и сердце мое сильно забилося. Вскоре громкий голос батюшки позвал меня к нему. Там, между им и бабушкой-мельничихой, сидел мой красавец. «Подойди сюда, Настя! — вскричал мой батюшка, когда я вошла. — Подойди, не бойся. Полно сидеть тебе в девках да нянчиться с старым дураком, твоим отцом. Вот тебе жених, — продолжал он, толкнувши меня к драгунскому офицеру. — Вот тебе жених — и не будь я капитан Шпагин, если ты не будешь такою же доброю женою, как покойная твоя мать».

Между тем как батюшка говорил эти речи, мой суженый опрометью кинулся ко мне и впопыхах зацепил бабушку-мельничиху тяжелым своим палашом, а мне мой сердечный наступил на ногу — и так больно, что я принуждена была вскрикнуть. Я не буду распространяться о том, что и как после этого было. Довольно тебе знать, что отец Власий обручил меня с моим возлюбленным золотыми колечками и что в светлице моей начали каждый вечер собираться красные девушки, шить приданое и петь свадебные песни. В это время жених мой был при мне почти безотлучно. Узнавая его покороче, я уверилась, что он и по уму и по сердцу столь же достоин любви, как и по молодецкому виду; между тем как он и я смотрели в глаза друг другу, батюшка мой без памяти хлопотал о будущем свадебном пире, которым он хотел удивить нашу Нижнеозерную крепость. Никогда еще старик мой не был так жив, так добр, так радостен, как при этих занимательных для него сборах. Свадьбы нашей откладывать не хотели. Ожидали только моему любезному позволения на брак от его командиров и нимало не сомневались, что оно придет очень скоро. Но вдруг, вместо этого позволения, получен строгий командирский приказ: поручику Бравину (так звали моего жениха) немедленно выступить с своим отрядом в Оренбург.

Ты не можешь себе представить, дитя мое, как всех нас опечалила эта новость. Какое-то тайное предчув-

ствие говорило моему сердцу, что я теряю моего друга надолго-надолго, если не навсегда. При прощании с ним я рыдала; он утешал меня, но в черных глазах его тоже блистали крупные слезы. Даже плакала бабушка-мельничиха; даже плакал мой батюшка, а это случилось в другой только раз его жизни: в первый раз плакал он, засыпая землею матушкину могилу. Мы сами дивились, как можно так печалиться, расставаясь с человеком, который отлучается только за сто верст и на короткое время. Но души наши предчувствовали бедствия, которые издалека уже собирались над нашими головами.

Вскоре после отъезда моего жениха достигла до нашей крепости страшная молва о Пугачевщине. Говорили много, и вести были различны: одни утверждали, что это или сам дух нечистый, или отродье нечистого духа, что все адские силы за ним следуют, истребляя бедный народ христианский; другие, напротив, рассказывали, что он такой же человек, как и все люди, но храбр, предприимчив и зол, как нечистые духи; были между народом и такие глупцы, которые верили, что Емелька Пугач действительно блаженной памяти император Петр Федорович, за которого он себя выдавал. Но все были согласны в том, что Пугачев, собравши рать-силу несметную, затопил ею почти половину матушки-России и свирепствует, как лютый пожар в лесу дремучем. Всего более наводили на нас ужас рассказы, что Пугачев казнит и вешает всех государевых чиновников, всех дворян, всех людей благородных, что он позорит жеп, убивает детей их, не щадя и младенцев невинных. Что пощаду оказывает только одним простолюдинам, которые встречают его с хлебом и с солью. Таковы, дитя мое, были вести, поразившие всех нас страхом и ужасом. К несчастью, они были по большей части справедливы, как после мы уверились в том собственными глазами.

Не лишнее будет рассказать тебе, кто в самом деле был этот Пугачев и какие страшные дела навлекли на него проклятие людей и гнев милосердного бога. Пугачев, или *Емелька Пугач*, как обыкновенно называли его все добрые люди, был сначала простой и бедный уральский казак, который, попавшись несколько раз в краже лошадей и вытерпев за то доброе наказание, бежал из своей родины, где его все ненавидели и презирали, как злого и непутного человека. Лукавый ли помог ему впоследствии приобрести великую власть над своими земля-

ками, или уж господь бог захотел наказать этим человеком наше православное государство — не знаю, но как бы то ни было, он успел взбунтовать противу законной власти целое уральское казачье войско. Впрочем, скажу тебе, дитя мое, что уральцы, закоренелые в расколе, были в старину всегда склонны к возмущениям и разбоям. Довольно было одной только маленькой искры, чтобы зажечь между ими ужасный пожар мятежа. С этими-то неукротимыми и буйными изуверами кинулся Пугачев на беззащитные приволжские стороны. Покорить их было ему нетрудно, потому что слабые отряды внутреннего войска не могли противустать его огромной и вооруженной шайке, а жители, испуганные такою внезапною грозою, искали спасения в бегстве, вовсе не думая о защите. Кто оказывал хотя малейшее сопротивление, тот неминуемо подвергался мучительной смерти. Все помещики, все зажиточные дворяне, все служивые люди, которых несчастная судьба предавала в руки злодеям, умирали смертию мучеников на виселицах, на колесах, на плахах. Имение их было расхищено, жены и дочери поруганы, малолетние дети оставлены ходить по миру. Страшно и подумать, дитя мое, как много почтенных, благородных семейств было расстроено, разорено, уничтожено в это несчастное время. Но Пугачев не оставался при одних грабежах обыкновенных; беспрестанно увеличивая свои силы новыми мятежными шайками казаков, и даже многими тысячами крестьян бестолковых, прельщавшихся его обещаниями и надеждою богатой добычи, он захватывал в свою власть целые многолюдные города, каковые, например, Уфа, Казань и наш родимый Симбирск. Он даже держал в долгой осаде Оренбург, спасшийся одними только своими высокими стенами, потому что незавидное войско, защищавшее этот город, вовсе не могло бы тягаться с ужасною шайкою Пугачева, который между тем успел привести ее в такой порядок, что в ней, как в какой-нибудь армии, были и пушки, и пушкарки, и пешие стрельцы, и конные наездники. Пугачев был так дерзок, дитя мое, что, прежде нежели матушка, покойная государыня, узнав об его богопротивных делах, послала настоящее храброе войско свое разогнать эту буйную сволочь и захватить нового *тушинского вора*, он успел обойти почти целую треть государства, и между тем как главные бунтовщики свирепствовали в больших городах и осаждали оренбургские стены, другие отдельные их шайки, под

предводительством таких же разбойников, как и *Емелька Пугач*, рассыпавшись по селениям и местечкам, своевольничали и буянили там на приволье. К счастью нашей маленькой крепости (пора уж мне продолжать рассказывать тебе о том, что делалось в ней), к счастью, повторю, после начала бунта она долго еще оставалась спокойною и не видала в деревянной ограде своей гостей незваных. Причиною тому было уединенное ее положение, а всего вернее воля всевышнего, хранившего еще нас под святым своим покровом.

Слушая первые известия о Пугачеве, покойный батюшка не хотел нисколько им верить, называя их бабьими бреднями и даже запрещая говорить об них. Но эти известия с каждым днем подтверждались, а наконец батюшка получил и командирской приказ, которым было велено защищать крепость от нападения бунтовщиков и наблюдать всякую осторожность. Тогда старик мой засуетился о том, чтобы крепость наша и вся команда были готовы на всякий случай. При неусыпных его стараниях вскоре крепостной тын был починен, старые пушки, в которых воробы повили себе гнезда, вытащены из анбара и расставлены в местах опасных; ворота крепости заколочены наглухо, и где только можно было поставить часового, там уж верно стоял часовой. Между тем батюшка беспрестанно толковал своим драбантам и прочим жителям крепости, как поступать в случае нападения разбойников. Верные солдаты клялись умереть за матушку-государыню, но казаки (не явно, а тишком) толковали другое. «Что-ста нам,— говорили они,— идти безумно на верную смерть. Плеть обуха не перешибет. Покориться будет здоровее. Нам-ста все равно служить, кому бы то ни было, лишь бы давали жалованье да провиант. Нам кто ни поп, тот и батька. Не подыдем рук на своих земляков и товарищей». К несчастью, батюшка вовсе не слыхал этих толков — и не подозревал ничего. Ах! Что бы ему вытолкать из крепости это змеиное племя и остаться одному с своими верными инвалидами!

После таких приготовлений мы еще довольно долго оставались спокойными; что я говорю? спокойными! Мы, а более всех я, бедная, не знали покоя ни днем, ни ночью, беспрестанно ожидая прибытия гостей ужасных. О моем женихе не было ни слуху ни духу, и в одних только теплых молитвах пред иконою божией матери находила я отраду для моего сердца. Немало также ободряла меня

бабушка-мельничиха, почти не покидавшая светлицы моей в это печальное время. Не унывая ни в каких обстоятельствах жизни, она была всегда шутлива, всегда разговорчива, но при всем том с невероятною проницательностью умела предусматривать всякую опасность и заранее придумывать средства, как бы ее отвести. «Горем беде не пособишь, дитятко,— говаривала она мне.— К тому же явной беды еще нет. Разбойников мы не видим. Принесет ли их сюда нелегкая: бог весть. Улита едет, когда-то будет. А мы между тем, надеясь на бога, проживем в радости, а не в печали. Век долог, всем полон. Успеем еще и наплакаться, если богу будет угодно». Впоследствии я узнала, что этой старухе были известны все злонамеренные толки казаков наших и что она говорила об них моему батюшке, но батюшка не хотел ее слушать. Так мы жили, ожидая беды.

В одну ночь (это случилось в начале марта месяца) вдруг была я разбужена барабанным боем и шумом, похожим на шум пожара. В страхе вскакиваю с постели, бегу в горницу батюшки: его там нет; выбегаю за ворота: на улице все мрачно и пусто, только вдали раздается барабанный бой, шум шагов и многие голоса. Вот кто бежит мимо меня. Спрашиваю: что сделалось? Прохожий отвечает торопливо: *Пугач пришел*,— и бежит далее.— *Пугач пришел!* Это слово было для меня громовым ударом. В величайшем ужасе возвратилась я в мою горницу и пала пред иконою богородицы с молитвою и слезами.

Тут собрались около меня все наши дворовые женщины, которые, сильно дрожа от страха, кое-как рассказали мне некоторые подробности о батюшке. В самую полночь прибежал к нему испуганный солдат с известием, что около крепости показалась толпа конных людей. Старик, дремавший во время опасности одним только глазом, тотчас схватил свою длинную шпагу и отправился из дому, чтобы поставить на поле весь гарнизон. Меня велел он разбудить только в таком случае, когда близка будет какая-нибудь опасность. Эти рассказы несколько ободрили меня. Беда, по-видимому, не так еще велика, чтобы отчаиваться, думала я. Да и в самом деле, полезут ли разбойники прямо на наши пушки и ружья? И как они попадут в крепость, закупоренную со всех сторон, как пивной бочонок? Хотя они и прославились бесовскими делами, однако ж все-таки едва ли есть у них крылья, как у нечистых духов, чтобы перелететь

через тын нашей крепости. Так утешала я себя, оправляясь после первого ужаса. Но господи боже мой! вот раздается ружейный выстрел... вот другой... вот третий. Вот и шум вдали делается ужаснее и сильнее. Что делать? Куда бежать? Женщины мои затолковали, что в эдакой беде лучше всего забраться на чердак, или в баню, или куда-нибудь еще дальше. Но вдруг дверь моей горницы отворилась с шумом — и все мы, как которая стояла, так та и рухнулась на пол. Однако ж вошедший человек был не разбойник, а добрый старик — сержант нашего гарнизона. Царица небесная! какой страх! какой ужас! голова у старика расшиблена; по лицу текут целые ручьи крови. «Спасайся, беги, барышня! — вскричал он, задыхаясь. — Беги к Уралу, беги в лес, беги куда хочешь — только не оставайся в этом старом гнезде. Все погибло! все потеряно!» — «Боже мой! Где же батюшка?» — «Батюшка! — подхватил старик, охая и падая на стену. — Да! Ты когда-нибудь с ним увидишься: только не скоро! будь прокляты эти разбойники; будь проклято все их племя неверное... Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй меня! свет темнеет в глазах моих... Прощай, божий свет... Прощайте, все добрые люди... беги, барышня»... Старик перекрестился и мертвый упал к ногам моим. Тут оставила меня и последняя бодрость. Ноги мои подогнулись, сердце замерло, слезы остановились в глазах — язык не мог пролепетать и молитвы господней. В оцепенении ужаса ожидала я смерти мучительной. Шум на улице делался поминутно сильнее и вскоре, смешавшись с воем собак, превратился в ужаснейший крик. Уже можно было различать голоса, уже кто-то ударил сильною рукою в самые ворота нашего дома... В это мгновение вошла ко мне бабушка-мельничиха. «Пойдем отсюда», — сказала она, взяв меня за руку...

Тут моя бабушка вдруг прервала свой рассказ. Причиной тому был кот Васька, который, разыгравшись клубком ниток, начал сильно тянуть его к себе, а как этот клубок непосредственно соединялся с бабушкиным чулком, то и чулок, выскочив из рук старушки, очутился в лапах блудливого Васьки. «Васька вор! — вскричала моя бабушка. — Что ты делаешь? Зачем отнял у меня чулок?» — «Васька плут! — сказал я. — Зачем вырвал у бабушки ее работу?» И с этими словами освободил чулок из лап

черного шалуна. Когда наконец все было приведено в надлежащий порядок, то бабушка моя начала продолжать свою повесть.

— На чем бишь я остановилась?— сказала моя бабушка.— Да! Между тем как шум и гам раздавался уже у самых наших ворот, бабушка-мельничиха, взяв меня за руку, вышла со мною в маленькую заднюю калитку и темными переулками привела меня к своему дому. Дорогою слышали мы многие голоса и ружейные выстрелы, и так близко от нас, что я каждую минуту оглядывалась назад, не доверяя спокойному виду своей спутницы, которая шла хотя довольно скоро, но без всякой торопливости. Дом бабушки-мельничихи находился на берегу Урала, в самом углу нашей крепости, или, лучше сказать, за крепостью, потому что он отделялся от чистого поля одним только впадающим в Урал крутым оврагом, внизу которого журчал ручеек. Надобно сказать тебе, что этот дом был лучший из всех обывательских домов в Нижнеозерной. Он заключал в себе две бревенчатые избы, разделенные большими сенями, как обыкновенно бывает в крестьянских домах. Крутая крыша его, отличавшаяся некоторым родом слухового окна, уступала вышиною разве одной только церковной колокольне. Но всего замечательнее было в доме бабушки-мельничихи то, что на крытом дворе этого дома, занимавшем острый мыс между берегом Урала и оврагом, было так много построено клетей и закоулков всякого рода, что их можно сравнить с теми подземельями старинных рыцарских замков, о которых мы недавно с тобой читали. К сим странным строениям принадлежала также и водяная мельница, находившаяся в самой глубине оврага, так что к ней не иначе можно было подойти, как по узенькой, весьма крутой и опасной тропинке. Некоторые из закоулков в доме бабушки-мельничихи были известны одной только хозяйке, и старые болтуны нашей крепости уверяли, что в этих-то потаенных местах совершает чудная старуха свои чародейские затеи. «Там,— говорили они,— в каждой клетушке заперто по нечистому духу, и мельничихе стоит только свистнуть, чтоб все они явились к ее услугам».

Я уже говорила тебе, дитя мое, что я вовсе не верила этим пустым рассказам, но, признаюсь, в печальную

ночь моего бегства из дома родительского я желала, чтобы бабушка-мельничиха имела хоть малую часть той сверхъестественной силы, которую ей приписывали, и эту силу употребила бы на сокрушение злобных врагов, разрушивших мирное спокойствие нашей крепости: всего более беспокоила меня участь моего батюшки — и сколько ни желала узнать я, что с ним сделалось, но не смела спросить о том у бабушки-мельничихи, боясь услышать какую-нибудь страшную весть. Вот уже мы достигли ворот ее дома, которые отворила нам странная и уродливая фигура, с широким черномазым лицом, с белыми сверкающими глазами и с огромным ртом, достигавшим почти до самых ушей. Это был работник бабушки-мельничихи, киргизец, именем *Бурюк*, по виду — самая глупая тварь, но на деле малый столь сметливый и расторопный, что подобного редко найдешь и между русскими. «Все ли готово?» — спросила его моя спутница. Вместо ответа кивнул он мохнатою головою. «Хорошо, — продолжала она, — теперь ступай в свою конуру и не показывайся этим собакам, которые, чай, скоро к нам нагрянут. Уж куда бы лиха не вынесла, а они не выторгуют у меня, у старухи, алтынного за грош. Пойдем, дитятко». Вошедши в избу, бабушка-мельничиха тотчас велела мне скинуть мой беспорядочный барский наряд и нарядиться в приготовленный уже ею сарафан. «Теперь, дитятко, — сказала она мне после этого превращения, — теперь ты моя внучка Акулина. Хоть и увидят тебя разбойники, так беда еще невелика; только ты старайся быть посмелее да не давай им много около себя увиваться. Я их знаю. С ними-таки еще можно ладить. Между ними есть один мой куманек, чтобы его нелегкая побрала. Ведь у меня, дитятко, родни до Москвы не перевешаешь. Чуваши, мордва: все наша родня. Да родня-то, что ты ни говори, а все-таки когда-нибудь пригодится». — «Да где же мой батюшка?» — спросила я наконец. — «Эх, дитятко, батюшка твой, чай, убрался подобра-поздорову. Ведь разбойников-то много — куда ему с ними барахтаться». — «Ах! Бабушка, не обманываешь ли ты меня?» — «С какой стати, дитятко, я стану тебя обманывать! Но тише. Слышишь, как шумят наши гости. Ступай-ка за перегородку да нишкни».

Едва только успела я исполнить это приказание, как дверь избы с шумом растворилась и в нее вступила целая толпа незваных гостей. «Здравствуй, хозяйка!» — сказал

грубый и глухой голос. «Здорово, кума,— захрипел другой голос,— ждала ли ты к себе дорогова куманька. Вот уж правду сказать, не бывал ни о семике, ни о масленице, принес черт в великий пост. А? Каково поживаешь, старая сова?» — «Коли с добрым словом, так милости просим», — проворчала мельничиха. «Мы не с худом,— заговорил опять глухой басыще,— мы своих людей не трогаем. Не попадайся только нам эта ересь нечистая. О! Как раз *ухайдакаем!*» — «Однако ж, кумушка,— сказал хриплый разбойник,— соловьев баснями не кормят. Нет ли у тебя чего перехватить да чем глотку промочить. Мы тощи, как голодные собаки!..» — «Не знаю, как теперь, атаман, а в старину моя кума была запаслива. Я недаром надоумил тебя остановиться у нее». — «Спасибо, куманек,— сказала старуха,— что ты нагнал ко мне всю эту саранчу. Да они съедят у меня и кирпичи из печки». — «Не бось, кума,— отвечал хрипун,— у тебя будут жить только двое, да и то люди не простые, а именно: наш атаман-молодец Панфил Саватейч Хлопуша да твой любезный куманек, эсаул: ведь я, кума, высоко нынче залетел». — «Скоро залетишь и еще выше», — проворчала старуха и начала вытаскивать пироги из печи.

С начала этого разговора я, сидя за перегороdkою, прижалась от страха к углу. Но скоро любопытство пересилило страх мой, и я начала рассматривать в щелочку наших гостей. Их осталось в избе только двое: *Хлопуша* и кум бабушки-мельничихи, который, как я после узнала, назывался *Топориком*. Оба они были одеты весьма богато: в цветные бархатные полукафтаны, выложенные позументами и подпоясанные алыми шелковыми кушаками; сапоги на ногах были красные сафьянные, выстроченные золотом. У того и другого были на боку огромные сабли с богатыми рукоятками и ножнами, а за поясом торчало по нескольку пистолетов. Длинные ружья свои поставили они в передний угол. Но как скоро бабушка-мельничиха устала для них стол пирогами и другими кушаньями, то разбойники, раздевшись, остались в одних только красных рубашках и черных плисовых шароварах. Нечего сказать, богато были они разряжены. Только, господи боже мой! Какие ужасные у них были рожи! Ты видел, дитя мое, картину Страшного суда, которая поставлена на паперти здешнего собора. Видел на ней врага рода человеческого, притягивающего к себе большою цепью бедных грешников: ну вот, ни дать ни взять, таков был

Хлопуша, тот же высокий сутуловатый рост, те же широкие плечи, та же длинная свинцовая рожа, те же страшные, кровью налитые глаза, сверкающие из-под густых нависших бровей, те же всклокоченные, как смоль, черные волосы на голове и та же борода, закрывающая половину лица и достающая почти до пояса. Недоставало только рогов да копыт. Что касается до Топорика, то рыжая голова и борода, широкая красная рожа, кошечьи глаза и небольшой рост делали его похожим на Иуду-христопродавца, изображенного сидящим на коленях у сатаны в той же картине.

Сначала эти страшные гости молча управлялись с бабушкиными пирогами и беспрестанно осушали тяжелые стопы с пенником, которые старуха не ленилась им подносить. Вообще Хлопуша был молчаливее и угрюмее своего товарища, который обращался иногда к кумушке своей с злодейскими шутками, на которые она умела всегда дать ответ. Наконец пенник сделал разбойников словоохотливыми, и между ими начался следующий разговор, из которого, к горю моему, я не проронила ни одного слова.

«Ну как не сказать спасибо свату, здешнему старшине, — начал Топорик, — без него где бы нам теперь так славно ужинать или уж не завтракать ли. Послушай-ко, кума, залихватскую штучку он выкинул, волк его не ешь! Открыл нам в ваше совиное гнездо такую лазею, что мы упали, как снег на голову. Смех, право, братцы! Этот старой хрыч, капитанишка, с своими пузастыми солдатишками туда же расхорохорился. Только когда он ими командовал: направо, налево, в седой его затылок вцепилась такая славная загвоздка, что он полетел вверх ногами». При сих словах разбойника я оцепенела от ужаса, но продолжала слушать крепя свое сердце. «Да, — сказал Хлопуша, — не скоро бы можно было попасть в эту берлогу: старый медведь хорошо ее укутал. И я скажу спасибо свату старшине и выпью за его здоровье». — «Пей за упокой, атаман, — подхватил Топорик. — Молодцу не удалось попить с нами. Какой-то старый хрыч, из этих голоколенников, просадил ему брюхо своим железным рожном. Жаль, право, молодца. Он бы нашей ватаги не испортил». — «Вот как! — сказал Хлопуша. — А я думал, что он хлопочет теперь об наших товарищах. Жаль, да делать нечего. А что, брат-эсаул, всех ли этих индейских петухов ты запер в курятник? Не настроили бы они нам каких пакостей». — «Не бось, атаман. У меня и таракан

не уползет, когда дело состоит только в том, чтобы ловить! Долго они уж здесь копошились — пора их немножко проявить. Я велел понаделать и вешалок. Что это? Светло становится. Видно, заря?» — «Да славная заря! — сказал Хлопуша, взглянув в окно. — Это горит старое гнездо старого сына — капитана. Я велел зажечь его нашим ребятам, чтоб им было около чего погреться. Да, кстати, бабка, у старого черта, слышь, была дочь?» — «Была, да сплыла, — отвечала бабушка-мельничиха. — Он ее давно уже отослал в Оренбург». — «Экой старой дьявол! догадался. А не худо было бы нам подцепить молоденькую девчонку. Как ты думаешь, эсаул?» — «Ах! Атаман, у тебя на уме только девчонки, а по мне, коли есть вот такая кружка, а в кружке вот такое винцо, да если можно его вот так выпить, — то черт возьми всех девчонок! Волк их не ешь!» — «Знаешь ли что, однако же, — сказал Хлопуша, подумав, — не худо было бы нам проявить немножко и старого хрыча, ну знаешь, о ком я говорю: капитана-то. Нужды нет, что он уж не дрягает. А все бы это хорошо, в пример прочим...» — «Эх, атаман. Кто вешает мертвых собак. Да к тому же какой-то пес успел прежде нас завладеть телом старого быка. Признаться, атаман, я хотел было поживиться его серебряными бляшками, да не тут-то было! Нигде не мог его отыскать. Кто знает, может статься, он и уполз куда-нибудь в суматохе».

Нужно ли рассказывать тебе, дитя мое, как поразил меня этот проклятый разговор. Сердце мое то сжималось от ужаса, то раздиралось на части. Долго страх смертный заставлял меня одолевать мое отчаяние, но при последних словах разбойника я не могла уже владеть собою. Громко, громко завывала я, повалившись на пол за перегородкою. «Что это?» — вскричали разбойники, выскочив из-за стола и схватив свои сабли и пистолеты. «Эк вы перепугались, родимые! — сказала бабушка-мельничиха насмешливо. — А еще говорите: мы-ста хватыв! Не бойтесь, сударики, садитесь-ко на свое место. Это плачет моя девчонка — внука. С ней, бедной, случается падучая». — «То-то же! — сказал Хлопуша мрачно. — Смотри, старуха, нет ли тут какого подвоху. У меня пистолеты не горохом заряжены». — «Полно страшать-то, батька-свет! — сказала бабушка-мельничиха равнодушно. — Я и кочергой с тобой управлюсь, даром что ты смотришь чертом». — «Ну, вот нашла коса на камень! — вскричал Топорик. — Только, атаман, с кумой не ссорься. Говорят, что она и

черта за нос водит. Прошу не гневаться, кумушка, так все толкуют о твоей чести». — «Да, — сказала старуха сердито, — если я и не вожу черта за нос, так уже никто не скажет, чтобы совсем не водилась с чертями. У меня даже они есть и в родне». — «Ах ты, чертова бабка, — сказал Топорик, смеясь, — не за мое ли здоровье ты гуляешь». — «А разве ты черт, родимой?» — спросила бабушка добродушно — и разбойники подняли такой смех, что вся изба задрожала. «Однако ж, — сказал развеселившийся Хлопуша, — за то, что твоя внучка нас перепугала, должна она выйти и попотчевать нас винцом». — «Ведь я говорю тебе, батька-свет, что она нездорова», — отвечала хозяйка. «Вздор! — заревел разбойник. — Я сам ее выведу», — и с этими словами, шагнув за перегородку, вытащил оттуда меня полумертвую. Думая, что приходит мой час последний, я дрожала всем телом и не могла проговорить ни одного слова. К счастью моему, это заставило разбойников подумать, что я в самом деле больна. «Жаль, — сказал Хлопуша, потрепывая меня по щеке жилистой своею лапой, — жаль, голубушка, что ты нездорова, а нечего сказать, эсаул, красавица! Хоть она и бледна, но черт меня возьми, если я видывал девушку красивее этой! Попотчуй же нас, красоточка! Эх, поводишь-ко с нами, так разом отстанет от тебя эта черная немочь!» — «Поднеси, Акулинька, гостям по стопе! — сказала мне бабушка-мельничиха. — Да и поди уж ляг хорошенько». Нечего было делать! Дрожащими руками взяла я поднос и начала потчевать этих гостей, которым с охотой поднесла бы яду змеиною. Всего несноснее были для меня паглые ласки Хлопуши.

Лучше бы он кинулся на меня подобно волку лютому, нежели расточал свои мерзкие нежности, которые делали его еще ужаснее в глазах моих.

Наконец два разбойника, сильно отуманившись винными парами, потребовали покоя. Бабушка-мельничиха отвела им другую свою избу, где они и улеглись, — между тем как алая заря озарила новые слезы на глазах моих и дымящиеся развалины моего дома родительского. Итак, все радости жизни моей были разрушены! Смертию мучеников погиб мой несчастный родитель, жених мой... Кто мог уверить меня, что и его не постигла та же плачевная участь? Отеческий дом мой сравнялся с землею... Я сама была во власти буйных злодеев... В будущем не было уже для меня ни одной надежды отрадной. Прошедшее могло

только раздирать душу мою воспоминанием. Самое провидение, казалось, меня оставило! Где же мне было взять столько слез, дитя мое, чтобы оплакать все эти бедствия страшные? Смерть была единственным моим прибежищем. Смерти ждала, смерти просила я, но господу богу не угодно еще было прекратить дней моих. Умная мельничиха не старалась утешать меня. Она знала, что не найдет слов для моего утешения.

Разбойники проснулись уже около вечера. По данному ими заранее приказанию, все старшие жители крепости пришли к ним с хлебом и с солью. Сам отец Власий, предпочитая свою временную, грешную жизнь венцу мученическому и жизни вечной, шел впереди прихожан своих, с крестом и образами святыми. Долготерпеливый господь не поразил громом своим старого святотатца, но тайные мучения совести искажали уже лицо его. Весь этот народ, трепещущий за жизнь свою и за свое бедное достояние, преклонял колена пред гнусными душегубцами, как пред вельможами именитыми. Самохвалство и наглость их при этом случае были выше всякого описания. Они потребовали себе поголовной дани от жителей; потребовали, чтоб отец Власий, оставив свои священные книги, отправлял божественную службу по их раскольническим службеникам, и старый грешник (прости господи душу его) повиновался злодеям. В заключение всего этого — при одном воспоминании мороз подирает меня по коже — были безжалостно повешены пять или шесть бедных стариков, несчастный остаток команды моего батюшки, уцелевший от всеобщего поражения минувшей ночи. Громко призывали они проклятие небесное на главы своих мучителей — и вопли их поразили бы ужасом самое жестокое сердце.

Не буду рассказывать тебе, дитя мое, как проводили разбойники у нас жизнь свою. Довольно сказать, что пьянство, разврат, богохуление и срамные речи никогда почти не оставляли их богомерзкой беседы. Но буйная жизнь не мешала им заботиться о своей безопасности: везде были у них расставлены часовые, а по ночам ездили разъезды около крепости. Теперь слушай повествование о собственных моих бедствиях, которые не только не кончились, но с каждым днем становились ужаснее.

Хлопуша для того только, казалось, и жил, чтобы меня мучить. Он непременно требовал, чтобы я всегда находилась при буйных попойках разбойников — и мне

должно было повиноваться. Сколько ни старалась бабушка-мельничиха укротить его мрачное своеволие, все ее старания, просьбы, брань, угрозы были бесполезны. Хлопуша старался оставаться со мною наедине, насильно сжимал меня в сатанинских своих объятиях и говорил мне такие нежности, от которых сердце мое обливалось кровью. Он так запугал меня своими ужасными ласками, что при одном появлении его я теряла все душевные и телесные силы и трепетала от ужаса. Этот ужас можно сравнить с тем, какой мы иногда чувствуем во время тяжкого сна, возмущенного какими-нибудь страшными грезами: сердце сжималось, вся кровь застыла, душа готова была вырваться вон из тела. Но страстный любовник мой вовсе не хотел замечать моего бедственного состояния и не почитал, по-видимому, трудным заслужить мою взаимную любовь. Он каждый день подносил мне какой-нибудь подарок, вероятно, приобретенный грабежом и убийством, и я, бедная, следуя советам мельничихи, принуждала иногда себя принимать эти дары. Старуха всего более боялась, чтобы разбойники не открыли тайны моего превращения, потому что в таком случае ничто уже не могло бы остановить их наглости и самодовольства. Впрочем, они, и не зная этой тайны, не слишком ограничивали себя в обращении со мною, и без твердого, пронзительного и лукавого нрава мельничихи я бы могла подвергнуться величайшим их оскорблениям, как ты сейчас о том услышишь.

Однажды, в полночь (когда я дремала в углу моем за перегородкою, между тем как бабушка-мельничиха храпела на печке), вдруг слышу я, сквозь сон, что кто-то, вошедши в дверь, крадется к моей постели... Слышу, что нечто тяжелое упало на грудь мою. Мысль о домовом тотчас родилась в суеверной голове моей. С ужасом открываю глаза и — при свете горевшей пред иконою лампы — вижу пред собою Хлопушу, который, будучи в одной красной рубашке, наложил на меня ужасную свою руку. Болезненный стон вырвался из груди моей. «Не бойся, моя красавица, — торопливо шептал мне страшный посетитель, — не бойся... Не убить, не зарезать тебя пришел я. Любовь не дает мне покоя. Люби меня, будь моею, золотом засыплю тебя... в бархате, в парче ходить будешь... Только полюби меня». При этих словах он хотел взять меня за руку. «Скорей умру! — вскричала я, позабыв в отчаянии всю мою робость. — Скорей умру!» — и силилась

оттолкнуть от себя руку ужасного мужика. «Если так, — взревел он вполголоса, — если так, я с тобой сделаюсь, упрямая...» При сих словах он схватил меня за руки. Но в то же мгновение кто-то с величайшею силою отдернул этого волка от бедной овцы. «Разбойник! душегубец! вор! плут! мошенник! — возопила бабушка-мельничиха, потому что это она избавила меня от величайшей опасности. — Разбойник! Разве так делают добрые люди? Вон отсюда, мерзавец! вон! или я призову всех чертей, чтобы вырвать из тебя гнусную твою душу!» — «Старая ведьма! — взревел Хлопуша, засучив рукава своей красной рубашки. — Старая ведьма! Убирайся сама к отцу своему, сатане...» — и, говоря это, он поднял на старуху жилистые свои кулаки. Неробкая мельничиха готовилась уже выцарапать глаза злому разбойнику, как позади их раздался третий хриплый голос: «Ну вот, атаман! Уж у тебя опять потеха с моей дражайшею кумушкой. Полно, полно, атаман! Как тебе не стыдно! Кто свяжется с бабою, тот сам баба! А ты, честнейшая моя кумушка, что так окрысилась? Ну, стоит ли того какая-нибудь девчонка, чтобы для нее поднимать такой гвалт? Разойдитесь же, пожалуйста, или не прикажете ли разлить вас водой». — «Не потерплю эдакого срама у себя в доме! — вскричала мельничиха. — Вон, разбойники! Полно вам у меня пировать! Сколько волка ни корми, он все в лес глядит. Я покажу вам, какова бабушка-мельничиха... вон, говорю я». — «Ах ты, старая ведьма, — мрачно заворчал Хлопуша, подвигаясь к ней поближе. — Дай-ко я попробую, отскочит ли мой кулак от твоего проклятого лба». — «Ну, уж вот это, кума, нехорошо! — захрипел в то же время Топорик. — Зачем попрекать нас своими оглодками. Коль правду-то сказать, так мы и без твоего позволения умели бы себя потчевать на твой счет. Право, ты нехстати уж так хорохоришься!» — «Посмотрим, как ты будешь храбр, — проворчала старуха. — Дядя! — сказала она протяжно и дико, обратясь к печке. — Дядя! Дома ли ты?» — «А?» — отозвался в тишине ночи чей-то грубый и как бы нечеловеческий голос. Глаза всех устремились на печь, из которой, казалось, выходил оный. И что же? в черном, закопченном ее челе мелькнула чья-то такая же черная, гнусная образаина. «С нами крестная сила!» — закричали оба разбойника и опрометью кинулись из избы... Я сама дрожала от ужаса.

«Ну, теперь уж они сюда не воротятся! — сказала ба-

бушка-мельничиха, тихонько смеясь. — Теперь почивай себе, дитятко, с богом». — «Но, бабушка...» — сказала я, указывая на печь. «Ничего, дитятко, не бойся, — говорила старуха, — это не дьявол, наше место свято, а просто мой честный работник *Бурюк*... Ведь надобно же было чем-нибудь напугать этих душегубцев». — «Да как же он очутился в печи-то, бабушка?» — «Да так просто, дитятко, залез в печь, да и только. Я уж ведь наперед знала, что этот леший — Хлопуша сюда привалит. Вот видишь ты: за избой, в которой живут разбойники, есть у меня маленькой *тайничок*, в которой я на всякой случай сложила мое добришко; из этого тайничка слышно все, что говорят разбойники, и видно все, что они делают. Я каждый вечер их подслушиваю. Ведь с ними, дитятко, дружбу води, а за пазухой носи камень. Вот я и услышала вчерась, что Хлопуша задумал прийти к тебе, да и велела моему домовому заранее засесть в темный угол. Ну, теперь вылезай, мой чертенок, да убирайся в свою конуру». И в самом деле, из печи вылез работник *Бурюк*, который, будучи выпачкан в золе и саже, много походил на нечистого духа. После этого бабушка-мельничиха спокойно забралась к себе на печь и скоро захрапела по-прежнему. Но я, измученная страхом и борьбою с разбойниками, целую ночь провела в беспокойном бреду и как будто бы на горячих углях, а поутру не могла уже приподнять головы с подушки: сильная горячка со мной приключилась. Целый месяц, дитя мое, пролежала я на одре неутолимой болезни и во все это время весьма редко приходила в себя. Ужасные грезы: убийства, кровь, целые полчища духов нечистых, самый ад, с его неугасаемым пламенем, — попеременно тревожили мое больное воображение. Меня исповедывали, приобщали, соборовали маслом. Бабушка-мельничиха истощала надо мною все свои познания в лечебном искусстве — и не было у ней такого целительного зелья, которым бы она меня не поила. Эта добрая старуха показала в сем бедственном случае всю свою привязанность к своей питомице. Ни днем ни ночью не отходила она от моей постели, предупреждала малейшие мои желания и оплакивала меня, как детище свое милое. Наконец благодаря ее стараниям, а более всего молодости, которая сильнее и душевных и телесных недугов, я выздоровела, или, лучше сказать, начала выздоравливать. Мало-помалу, в продолжение месяца, возвратились ко мне и сон, и аппетит, и рассудок. Самая го-

ресть моя сделалась гораздо спокойнее. Слабая, но отрадная надежда начала понемногу прокрадываться в мою душу, и хотя я не видала еще конца моим бедствиям, но мне казалось, что по благости провидения они не могут быть бесконечными, что жених мой когда-нибудь ко мне возвратится и что я могу быть еще счастлива. Причиною такой спасительной перемены в расположении души моей было отчасти то, что ужасный Хлопуша перестал уже меня преследовать и, по-видимому, оставил все свои адские замыслы. После чудесного ночного приключения он сделался еще угрюмее прежнего, но с бабушкою-мельничихою обходился необыкновенно тихо и уважительно, как бы стараясь загладить вину свою перед нею. Бывало, он весьма редко оставлял дом наш; напротив того, в это время почти каждый божий день пировал с своими буйными товарищами у других жителей крепости. Как ребенок, радовалась я частым его отлучкам и со слезами благодарила всевышнего, что он, создатель мой, избавил меня, бедную голубку, от когтей этого коршуна кроважадного. Таким-то образом, дитя мое, в великих злоключениях жизни малейший луч отрады ободряет нашу угнетенную душу, поселяя в ней спасительную надежду.

Однако ж опытная бабушка-мельничиха не совсем верила паружному спокойствию своего мрачного гостя. «У него недоброе на уме, дитятко, — говорила она. — За ним теперь надобно смотреть да и смотреть. Недаром выглядывает он, как сыч, исподлобья. Но старуха еще надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо проведет он меня, либо нет!» Желая во что бы то ни стало выведать замыслы Хлопуши, бабушка-мельничиха решилась подслушивать все тайные разговоры его с Топориком, и для этого, всякой раз, когда наши разбойники оставались одни в избе своей, хитрая старуха забиралась в свой *тайничок*, о котором она говорила мне прежде. Но в один вечер, будучи занята каким-то весьма важным делом, она никак не могла отправиться на эту необыкновенную стражу. Подумав немножко, она решилась поручить ее мне. «Нечего делать, дитятко, — говорила она. — Надобно тебе посидеть нынешний вечер в моей будке. Бояться нечего. Пускай боится тот, у кого нечиста совесть, а ты, моя лебедушка, с крестом да с молитвой, можешь спокойно ночевать и на банном полке в крещенский вечер. Пойдем же, я проведу тебя в мой тайничок. Сиди там тихо, так тихо, как таракан за печкой. А пуще всего слушай, не про-

рони ни одного слова разбойников. Нет нужды, хоть они, мошенники, и будут порой лаяться по-собачьи. Ведь у красных девушек уши золотом завешены. Непременно, во что бы то ни стало надобно нам выведать: какой дьявол лежит в черной душе этого вора. Выведаем — хорошо, не выведаем — мы пропали. Вот тебе и все мое наставление».

Скажу тебе, дитя мое, что в молодости моей я была не самого робкого духа, а к тому же очень хорошо знала, что бабушка-мельничиха не сделает ни одного дела наобум и на ветер. Потому-то, не думая долго, я согласилась исполнить ее приказание. Куда же мы пошли? Недалеко, дитя мое. В подполье нашей избы. Оттуда поползли мы по какому-то узкому ходу и скоро достигли до маленькой лесенки, которая привела нас прямо в бабушкин тайничок. Шепнув мне: «Сиди тихо и слушай!» — бабушка скрылась.

Оставшись одна, я с робостью осмотрела место моего пребывания. Это была низенькая и маленькая каморка, приклеенная, так сказать, к задней стене той избы, в которой жили разбойники. Сквозь узкую поперечную щель, прорезанную между двумя стенными бревнами, можно было видеть из каморки все, что делается в избе, и слышать каждое проговоренное там слово. Напротив того, из избы вовсе нельзя было приметить этого потаенного места, потому что щель находилась в темном углу и почти у самого потолка. Несмотря на то, я сначала сильно перепугалась, увидавши себя в таком близком соседстве с нашими ужасными жильцами. Однако ж, скоро пришедши в себя, я тихонько уселась на один из стоявших в каморке ларцов и начала, по совету бабушки, слушать, а по совету моего любопытства — смотреть.

Оба разбойника лежали, один противу другого, на разостланном по полу широком шелковом ковре, опираясь локтями на сафьянные седельные подушки. Между ими и разными оружиями, на низеньком ларчике, стояли: большая баклага с вином, поднос с круто насоленным ломтем черного хлеба и оловянная стопка, из которой они беспрестанно потягивали. Тут же горела сальная плашка, которая мигающим светом своим то освещала, то покрывала тенью угрюмую, свинцовую рожу Хлопуши и зверски улыбающуюся, красную харю Топорика.

«Ну-тка, выпьем еще, эсаул! — сказал первый. — Черт возьми! пить так пить». — «От питья я не прочь, ата-

ман,— отвечал Топорик.— Только, девушка, пей, да дельце помни. Скажи-ка мне, свет-атаман, зачем мы здесь киснем, как болотная тина?» — «А вот я тебе скажу, зачем мы здесь киснем, я так хочу: вот и все тут. Коли тебе здесь скучно, эсаул, так убирайся к черту!» — «Не то чтобы скучно, батюшка-атаман, не то чтобы грустно, золотой мой, да боязно. Ведь нас здесь небольшая сила, а Оренбург-то не за горами». — «Покуда жив наш Емельян,— сказал Хлопуша,— так я плюю и на твой Оренбург, и на всю эту голоколенную сволочь, и на самого сатану». — «Эх, почтеннейший атаман! В том-то и сила, что кобыла сива. У Емельяна-то, слышь ты, не очень здорово. Вести все приходят нерадостные: из-под турка армия идет». — «Ну так что ж?— сказал Хлопуша.— Пускай идет, разве мы этих армий-то не разбивали?» — «Да, ладно было разбивать кривых да слепых. Тут, батюшка-атаман, идет войско другого покроя. С этим немного набарахтаешься! Как раз велят прочесть черту молитву. Эх, золотой мой атаман! хорошо воевать, а и того лучше сидеть за теплой печкой. Ударить камнем из-за угла — наше дело, а стоять противу этих дурацких пушек — нет, черт возьми! Не лучше ли бы нам, дражайший мой атаман, покуда лукавый нас еще не побрал, убратся подобру-поздорову». — «Знаю, эсаул, знаю: ты блудлив, как кошка, а труслив, как заяц; врешь много вздору, да иногда невзначай болтнешь и правду. Черт возьми! Ждать бы нам здесь точно нечего. Уж коли быть, так быть с нашим Емелей... Но,— прибавил Хлопуша мрачно,— скорей черт вытянет из меня грешную душу, нежели я просто оставлю это сычиное гнездо!» — «Что же тебя к нему привязало, как висельника к перекладине?» — спросил Топорик. «Что?— отвечал Хлопуша...— А вот, эсаул, я тебе скажу что... наперед выпьем... Слушай же: девчонка-то из головы у меня не выходит, как будто сам черт засадил ее в мою душу». — «Ну так!— вскричал Топорик.— Ты опять с девчонками! Да разве она не сдается? Что же? Пряничков ей, жемочков, знаешь, золотой мой, как это в старину важивалось». — «Да поди ты сладь с нею!» — отвечал Хлопуша.— Она на меня так же умильно смотрит, как и на самого сатану». — «... Э-хе-хе-хе, дражайший мой атаман, ты-таки, нечего сказать, немножко на него и походишь. Не сердись, золотой мой... Что же ты намерен с нею сделать?» — «Что? И сам не знаю,— отвечал Хлопуша...— Не будь этой старой ведьмы, я бы знал, что с

ней сделать. Но, эсаул, коли я с вида похож на сатану, так не уступлю ему и на деле. Пускай эта колдунья выкликает своих домовых, не струшу, эсаул! К черту ее! к черту всех — а девка будет моя!» — «Нечего сказать, золотой мой атаман, с моею почтеннейшею кумушкой худо возиться: мало того, что у нее целый свет родня, — все черти ей братья да кумовья. Ты человек храбрый, дражайший атаман, а не шепнул чего-нибудь на ушко этому черному приятелю. Уф! волк его не ешь! меня и теперь мороз по коже подирает. Нет! Почтеннейшая кумушка: я всегда нижайший слуга вашей чести — ссориться с вами не буду... К тому же, атаман, мне приходит что-то страшно. Хочу отстать от нашего молодецкого ремесла. Полно! пора покаяться. Благо у нас теперь есть свой батька-поп...» — «А я было хотел тебя попросить об одном деле, — сказал Хлопуша, — но ты постригаешься в монахи и, стало, уж больше мне не слуга». — «Почему же не так, золотой мой! Разве спасенный человек хуже мошенника сослужит службу? Говори, родной мой». — «Дело-то, правда, святое, — сказал Хлопуша, озираясь, и потом, понизив голос, прибавил: — Надобно сбыть с рук эту старую ведьму». — «Зачем же?» — спросил Топорик торопливо. «Зачем? Глупая башка! Разве не она причиною того, что я до сих пор, как голодная собака, смотрю на жирный кусок? Не все ли черти у нее в услугах, не все ли казаки ей родня? Да, знаю, что за нее и кроме чертей есть кому заступиться... Итак, что прикажешь делать?.. Отказаться от девки? Топорик! Ты любишь одну только винную баклагу... Но я — слушай меня: для этой девки я зарежу отца, мать, отдам сатане свою душу... Ну, понял ли ты меня?.. Эсаул! — прибавил Хлопуша дружески. — Сослужи мне последнюю, верную службу: отправь к черту старую колдунью; за такое богоугодное дело ты прямо попадешь в рай!»

«Атаман, золотой, серебряный, драгоценный мой атаман! Рад бы душою услужить тебе. Но на душе моей так много грехов, она мне кума, да и черти... С нами крестная сила — что там зашумело! Атаман, и черная рожа не выходит у меня из башки. Но почему не справишься с нею ты сам?»

«Не хочу марать рук, эсаул... — отвечал Хлопуша с замешательством. — К тому же, к тому же... Итак, ты не согласен?..»

«Боюсь, золотой мой».

«Ну,— сказал Хлопуша,— не хочешь, как хочешь — вольному воля, а я было думал за эту услугу подарить тебе моего карего жеребца...»

«Жеребца?» — вскричал Топорик.

«Хотел было,— продолжал Хлопуша,— дать в придаток мешочек с рублевиками...»

«Целый мешок!» — проворчал Топорик.

«И ко всему этому прибавить мое турецкое ружье и пистолет с золотой насечкою...»

«Дражайший атаман»,— вскричал Топорик плачущим голосом...

«Но как ты не хочешь,— продолжал Хлопуша,— то я все это отдам Савичу. Савич малой неробкой, не откажется мне услужить».

«Дражайший атаман! Я подумаю. Коли ружье, пистолет, рублевики... атаман, ведь уж старухе быть же убитой?»

«Так верно, как сегодняшний день пятница!» — отвечал Хлопуша.

«Золотой атаман! Как ты думаешь, не лучше ли укокошить ее своему человеку, нежели чужому? Родная рука хоть долго мучиться не заставит. Не богоугодное ли будет это дело?»

«Я то же думаю,— отвечал Хлопуша,— но что толковать, эсаул, ты ведь не хочешь?»

«Так и быть, атаман. Я решусь. Ну, а подарки — твои, дражайший атаман. Только как и когда?»

«Чем скорее, тем лучше,— отвечал Хлопуша.— Выпьем же да и потолкуем. Во-первых, угомонить старую колдунью надобно так, чтобы никто не видал и, по крайней мере, не было никакой иной улики. Нехорошо, брат эсаул. Худой славы я не люблю. Итак, ты завтра ночью подавишь немножко ей около горла — и дело будет с концом: она не запирается, а спит одна на печи».

«Но черномазой?» — сказал Топорик со страхом.

«Экой ты, брат, простак! Не будет ведьмы — провалятся и черти. То-то и хорошо, что с кумушкой-то твоей мы и всех чертей в ад отправим».

«Да, атаман, не худо от них заранее отвязаться. Но что же после этого будет, дражайший мой атаман?»

«После этого — красotka будет моя, и мы бросим это старое дупло...»

«Вот что хорошо, то хорошо, атаман. Только мне все что-то страшно... Этот черномазый...»

«Так ты спятился?» — сказал Хлопуша мрачно.

«Дражайший мой атаман, а лошадь моя?»

«Твоя, если сделаешь дело».

«И деньги, и прочее, и прочее, золотой мой?»

«Твои, твои».

«Ну, так я твой! — вскричал Топорик. — В будущую ночь мы пошепчем с дражайшей нашей кумушкой... Эх, выпьем еще, атаман... пить умереть и не пить умереть!»

«Га! — сказал Хлопуша, стиснув зубы. — Это будет славно. Итак, завтра».

Я уже наскучила тебе, дитя мое, этим длинным и богопротивным разговором, который на деле был еще вдесятеро длиннее и ужаснее. Но я хотела показать тебе: к чему были способны эти закоренелые злодеи и какой великой опасности подвергались мы, живучи под одной кровлею с ними. Впрочем, напрасно старалась бы я передать тебе собственные их речи, они были так мерзки и страшны, что волосы становились от них дыбом. Когда я возвратилась к бабушке-мельничихе, то старуха, увидав мою бледность и смущение, подумала было, что меня опять схватила горячка. Впрочем, мельничиха выслушала рассказ мой с удивительным хладнокровием. «Видишь ли, дитятко, — сказала она, — видишь ли, что я угадала злые замыслы этого зверя. Не подслушай бы их разговора, так завтра поминай бы меня как звали. А теперь, — примолвила она с усмешкою, — теперь, проклятый мой куманек, задушишь ты разве козу, а не меня, грешную. Теперь я знаю, как с тобой сделаться. Ляжем же благословясь, дитятко, спать. Утро вечера мудренее».

— Но и нам, — сказала мне бабушка, — дитя мое, пора уже отправиться на покой. Я так заболталась, что не видала, как прошло время. Ступай почивать, друг мой. Завтра я доскажу тебе мою быль, если ты только не соскучишься ее слушать.

— Ах! Бабушка, я рад бы не спать целую ночь, слушая ваши рассказы. Мне смертельно хочется знать, что сделалось с этою доброю мельничихой и как она отвратила от себя угрожавшую ей опасность?

— Завтра все узнаешь, дитя мое, до тех пор почивай спокойно; поди, и да будет над тобой благословение божие.

Я должен был повиноваться приказанию бабушки — и скоро обнявшись с подушкою, заснул безмятежным сном детства.

III

Я не спал почти целую ночь: бабушкин рассказ и возбужденное оным во мне любопытство кружили мою голову. Напоследок настало утро; я поспешно вскочил с постели, оделся, помолился богу и побежал к бабушке. Но она до вечера отложила окончание своей повести. Как долог казался для меня день, как медленно катилось солнце в небе и какую отрадою наполнилась душа моя, когда вечерние сумерки, будто долгожданные гости, заглянули в окно нашего домика!.. Вот подали свечи, и я по-прежнему уселся с бабушкой в ее комнате.

— На чем бишь мы вчера остановились? — сказала добрая старушка.

— На том, бабушка, что вы подслушали разговор Хлопуши и Топорика, которые хотели известить умную мельничиху.

— Да, да, теперь помню, дитя мое! Слушай же далее: я говорила уже тебе, что бабушка-мельничиха хладнокровно выслушала рассказ мой; мы легли спать, и поутру она казалась так спокойною, как будто бы и не знала, что дорогой куманек хотел задушить ее. Жильцов наших день-деньской не было дома, и поздно вечером они пришли из гостей пьянешеньки.

Бабушка-мельничиха, помолясь святым иконам, забралась на печку и велела мне идти спать в свою каморку. «Не бойся, дитятко! — говорила она. — Никто как бог!»

На дворе бушевал ветер, дождь лил ливнем, и было так темно, хоть глаз выколи!.. Бабушка-мельничиха храпела на печке, а я от страха не могла сомкнуть и глаза. Около полуночи скрипнула дверь, и при свете лампы зверский вид Топорика обдал меня как холодною водою... Он выступал тихо; вдруг дверь захлопнулась за ним с стуком, но бабушка-мельничиха не просыпалась и храпела пуще прежнего. Топорик медленно подвигался вперед, и с каждым его шагом сильнее и сильнее слышалось мне мяуканье и фырганье кошек... Дрожа всем телом, я смотрела сквозь щелочку перегородки: Топорик, по-видимому, робел, но все ближе и ближе подходил к печке; мяуканье и фырганье становилось громче — черные кошки запрыгали вокруг разбойника — и грубый, хриповатый голос проревел: «Кто тут?»

А бабушка-мельничиха спала препокойно и храпела пуще прежнего... Страшная, черная образина, с длин-

ными жилистыми руками, высунулась из устья печи, и Топорик, вскричав: «С нами крестная сила!» — бросился вон из избы. Бабушка-мельничиха захохотала: «Эк мой Бурюк и мои доморощенные кошки переполохали этого душегубца! — сказала она. — Видишь ли, дитятко, как пуглив человек, посягающий на злое дело!.. Недолго пировать этим злодеям здесь: войско матушки-государыни уже в стенах Нижнеозерной!»

Раздавшиеся в крепости выстрелы оправдали слова бабушки-мельничихи; скоро Хлопуша, Топорик и все сообщники гнусного Пугача были схвачены и получили мзду по делам своим.

В числе наших избавителей находился и мой нареченный супруг Бравин. Через год я вышла за него замуж. Видишь ли, дитя мое, — сказала моя бабушка в заключение своего рассказа, — что худое дело никогда добром не кончится.

<1832>





АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ



АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ

Старинная повесть

ГЛАВА I

Была осень. Лес в окрестностях Валдая, верстах в двух от большой дороги из Петербурга в Москву, находился в оцеплении. Охотничьи рога, свист арапников, шум листьев от конских копыт, лай, визг, вой легавых, когда несшихся по опушке, когда уходивших в глубину рощи, по мере того как след зверя гороховел, стыл, терялся, изумляли слух дикой смесью разнородных звуков. Везде деятельность, живость, быстрота. Поднимали зверя на поляну, где, держа на сворах беспокойных от нетерпения гончих, находились верхом на известных расстояниях охотники, окрестные помещики, полевавшие в угодьях окольного Ивана Семеновича Горбунова-Бердышева. Сам он в середине, окруженный доезжачими, на лихом аргамаке под турецкою сбруей, с неугасшим от лет пламенем в очах ожидал появления добычи. Но вместо зверя показалась на дороге из лесу телега, в коей сидело двое мужчин. Едва въехала она на поляну, старший, в некрытом овчинном тулупе, остановил лошадей, соскочил с телеги, снял шапку и, будто занявшись поправкою хомутов, внимательно рассматривал лица охотников. Младший, по-видимому лет двенадцати, укутанный шерстяным платком, обратил взоры на погоню за выскочившими в это самое время из пороши двумя зайцами.

Лов был удачен. Между тем вечерело. Раздался звук рога, возвестивший конец охоте. Ловчие, сомкнув и сосволив гончих, отправились вперед с тороками, тяжелыми от затравленных зайцев, лисиц; за ними в другом поезде владелец села Воздвиженского с деревнями и его соседи. С появлением барина высыпали на двор конюхи для принятия лошадей. Гости разошлись по своим комнатам, дабы, переодевшись, вздохнув, собраться снова и увенчать тревоги дня веселым ужином. Иван Семенович,

прежде чем скинул охотничий наряд, подошел по обычаю к окну посмотреть, как проводят по двору коней, и видит, что телега, которую заметил еще на охоте, остановилась у ворот. Мужчина в тулупе, привязав вожжи к одному из колец, коими тогда усеяны были заборы наших барских домов, без шапки, держа за руку спутника, пробирался вдоль боковых строений к господским хоромам. Иван Семенович свистнул.

— Кто приехал? — спросил он у вошедшего на призыв слуги.

— Из Тихвина, от Александра Семеныча, Николай Федоров.

— От братца Александра Семеныча? — повторил с изумлением барин.

— Точно так-с, — отвечал слуга.

— Послать сюда Федорова.

Вошел рослый, плотный, румяный мужчина; коснулся челом земли и, по преимуществу людей дворовых поцеловав руку господина, подал перевитый шелковинкою свиток с висевшей восковой печатью.

— Что скажешь, Николай Федоров?

— Александр Семеныч приказал долго жить.

— Братец скончался? — прервал Горбунов. — Упокой, господи, его душу! — промолвил, вздохнув и с крестом обратившись к образу. Затем развернул свиток и вполголоса прочел следующее:

— Государь братец, Иван Семенович! Десять лет ложный стыд удерживал меня от сознания, что я оскорбил тебя, и господь тяжело наказал медлившего. Наконец, ложась в могилу, готовый предстать перед судиею праведным, прошу тебя, отпусти мне вину; прости кающемуся! Посылаю тебе своего Андрюшу, одно, что осталось от нашей Веры, потому что она была твоя сердцем, хотя мне принадлежала по закону. Ее именем, по ее последней заповеди, заклинаю тебя, будь отцом и матерью сироте: яви на сыне примирение с тенью родителя.

Горбунов кончал чтение письма, когда Андрюша, вошедший между тем в комнату, облобызал его руку. «Это она, это моя Вера! — вскричал старик, взглянув на племянника и утирая рукавом слезы. — Так! вы не обманулись в ожидании. Завет ваш святая для меня заповедь. Отныне, Андрюша, — продолжал он, целуя его в голову, — ты мой сын».

Иван Семенович Горбунов служил в молодости в

Москве, в дружине одного из знатнейших бояр царя Алексея. Узнал Веру у пожилой родственницы, которая приняла к себе бездомную сироту. Ее беззащитное положение пробуждало участие, красота и душевные качества привязали к ней юношу. Они полюбились всем пламенем первой любви. Между тем наступила война с Польшею. Иван, верный долгу, расстался с Верой, поручив ее надзору брата Александра. Прелесть лица, сладость речей очаровывали всех, кто ни встречал, ни слушал Веру. Александр находил удовольствие в ее беседе, не замечал закрадывавшейся в сердце страсти, когда же заметил, был уже не в силах ее побороть. Мысль, что Вера достанется другому, терзала ослепленного: он решил добыть ее преступлением. Является к ней с грустным лицом и вестью о кончине брата, плачет с горюющею и, когда миновали первые месяцы печали, предлагает ей вместе с рукою подпору и заступление. Между тем Иван, полный любви и отваги, подвизался на поле ратном. Бился под Смоленском, под Витебском; доходил до Вильны; наконец, по наступлении Андрусовского перемирия, богатый милостию царской и славой, с чином окольного и почетным прозванием Бердыш, которое получил, когда при вылазке врагов из Смоленска своеручно иссек польского военачальника, спешит в Москву с надеждой на отдых от трудов бранных в объятиях Веры. Накануне его приезда Вера обвенчалась с Александром. Иван не хотел видеть брата, но не мог расстаться с Москвой, не упрекнув изменницы. Они свиделись, и не на радость. Вера, вышедшая за Александра не по склонности, оставалась верною обязанностям супруги, но не могла уважать того, кого почитала рушителем счастья собственного и счастья существа, которое любила более себя. Томимая тихой грустью, тем более тяжкою, что скрывала ее от ревливой подозрительности мужа, чахла несколько лет и, наконец, истаяла, произведши на свет сына. По ее кончине Александр только и знал напасть. Строптивый нравом, поссорился с начальником и принужден был выйти из Приказа, в котором служил; вотчину его подле Тихвина отобрали на государя; наконец, доведенный до нищеты, не смея прибегнуть к брату, которого оскорбил, мучимый прошедшим, настоящим, будущим, слег в могилу, поручив опеке Ивана Андрюшу, с которым мы познакомились выше.

ГЛАВА II

Длинный, по обычаю, стол уставленный яствами в серебряных судках под крышками, возвещал о наступлении времени ужинного. Впрочем, только умноженное число приборов и бутылок с винами в поставце позволяло догадываться, что собрание собеседников будет значительно. В хлебосольный век, к которому принадлежит наша повесть, истинно держались пословицы Не красна изба углами, а красна пирогами. Не щеголяли убранством в домах: стены голые, иногда покрытые цветной бумагой или завешенные коврами; вместо диванов, кресел — лавки, обитые кожей или сукном. Но на столе не было пустого места. Мясо говяжье, свиное, баранье, все домашние птицы, дичь, рыба жареные или вареные, в похлебках, взварах, студнях, притом пироги, куличи, оладьи, коврижки, медовые варенья — всего вдоволь. Кушай, сколько душе угодно! Правда, не заботились об утонченностях вкуса: лук, чеснок и перец, необходимая принадлежность старинной русской кухни, слышались в каждом почти кушанье, но зато волей-неволей встанешь сыт из-за стола. Случались ли гости, все блюда разносили собеседникам; кушал ли хозяин один или с домашними, яствами более обыкновенными, по примеру древних наших царей, жаловал слуг, которым хотел явить милость.

Гости, проголодавшись от воздуха и верховой езды, собрались в гостиной, нетерпеливо ожидая хозяина. Наконец, он явился, ведя за руку Андрюшу. «Извините меня, дорогие соседи, что замешкался,— проговорил он к собранию,— господь послал мне сына. Благослови сироту, отче Григорий! — промолвил, обратясь к священнику, — ты знал отца и мать».

В то время как Андрюша подходил к руке священника, вошли слуги, неся подносы, уставленные разноцветными плодовыми и травяными водками. Когда гости, чтоб не оскорбить хозяина, отведали каждой, раздалось громкое восклицание: «кушанье поставлено», и все с шумом понеслись в столовую.

Долго слышался лишь стук ложек, ножей, вилок. Когда несколько обнесенных блюд поуспокоили первый позыв к пище, а усердно полнимые слугами медовые и винные кружки пробудили говорливость, хозяин, обратясь к соседу, молвил, глубоко вздохнув:

— Дожили мы до поры, Лука Матвейч! И детям рад не будешь! Волей-неволей посылай мальчика в школу, не то сам попадешь в опальные, да и молодца-то не женят, вечной памяти не дадут. Бывало, и нас учили: узнаешь грамоту, много — цифирь, и дело с концом! И живи, как дай бог всякому! Нет, вишь, хотят, чтоб дети были умнее отцов. Учат, мучат, а что-то будет проку? Не так ли, Лука Матвейч?

Лицо, к которому обращалась сия речь, мужчина полный, тучный, на щеках коего играло здоровье, некогда пятисотенный в стрелецком войске, был сосед Горбунову по деревне. Он безошибочно распознавал на бегу зайца — русак или беляк, с виду определял достоинство гончей, по вкусу — лета меду, но в делах, кои требовали некоторых усилий рассудка, соглашался со всяким, кто с ним заводил речь: не из угодливости, а потому что не имел своего мнения. Долго находился под властью родителей, потом жены, которые за него рассуждали. Наконец, овдовев в тех годах, когда учиться поздно, недоросль в сорок четыре года, почитал лишним труд, без которого столь долго обходился.

— Точно так-с, — отвечал Лука Матвейч.

— Мало того. Кончит ученье, посылай молодца на службу. Бывало, и мы ходили на войну, и мы бивали врагов, — продолжал Иван Семенович, гордо озираясь на стены, увешанные доспехами — но то ли дело? В наше время боярин в суде, боярин в думе, боярин на поле ратном — везде боярин. Сядешь на коня, сотни, тысячи глядят тебе в глаза. Куда ни кинь оком, везде твои люди. А нынче? И дворянин, и холоп на одну статью: всем та же напасть! Поставят тебя в строй, дадут в руки ружье, и слушайся, кого же? Добро бы своего брата, православного. Нет! у нас-де, вишь, на Руси нет умных людей! Какого-нибудь, прости господи, выписного, заморского сорванца, нехриста, у которого ни кола, ни двора, что двух слов по-человечески промолвить не сумеет. Не правда ли, Лука Матвейч?

— Совершенная правда, Иван Семенович, — отвечивал сосед.

— Да это ли одно? Ума, право, не приложишь, коли посмотришь кругом себя. Затеяли строить город, где же? На краю земли, в болоте, где и лягушкам нет приволья, селят людей, словно куликов. И имя-то дали городу не христианское, что и вымолвить не сможешь. Губят на-

род, сорят деньги, а будет ли прок, про то ведает один бог.

Тут Иван Семенович окинул взором собрание, как бы желая прочесть одобрение на лицах собеседников, и, наконец, остановив очи на приходском священнике, спросил: «Что ты молчишь, отче Григорий?»

Отец Григорий, старик седой как лунь, жил уже третье поколение. Природный ум, образованный чтением священных книг, многолетняя опытность и житие неукоризненное окружили его уважением. Большую часть века провел в Москве, наконец, в преклонные годы, по давней приязни к Горбуновым, перешел на отдых в приход села Воздвиженского.

— Мое мнение не ваше, — ответствовал он, оправляя длинные, развевавшиеся по плечам волосы. — Учение — свет, неученье — тьма. Царю ниспослана свыше мудрость, и нам подобает возносить мольбы ко господу, да поможет ему излить ее на свою паству! Иноземцы опередили нас в науке и всяком знании; нет стыда, подавно греха, перенимать хорошее; придет, может быть, время, что они в свою очередь будут от нас заимствовать. Вы жалуетесь, что бояре несут одну службу с холопями. Послушайте же. Лет двадцать назад случилось мне быть у священника села Коломенского под Москвою. Пора была осенняя, как нынче, на дворе холод, буря, дождь ливнем, непогоди, что на улицу и калачом не заманишь. Против нашего дома, у дворца государыни Натальи Кирилловны, стоял ратник лет шестнадцати, промок, сердечный, продрог, а выстоял под ружьем свое время, пока его не сменили. Кто ж, мыслите, был этот ратник! Государь Великия, Малыя и Бelyя России, наместник бога на земли! Что же против царя ваш боярин, будь его имя на всех листах Разрядной книги? Санктпитебурх, правда, перевел много православных, но послушайте, что бают в народе: «Коли-де сам государь-батюшка, топором в своих царских руках, валит лес, по пояс в воде, долбней сбивает сваи, как же нам, рабам его, не терпеть? Сам-то он болеет за нас душою, да, видно, дело-то нужное. Не трудил бы, не мучил бы себя, коли б не видал нашей пользы». И порассудишь, увидишь, народ прав. Государи живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снесят потомки, и внуки наши будут благословлять Великого за построение города, который вы нынче зовете болотным гнездом. Но зачем ходить далеко? Не видите ли кругом себя благотворных последствий трудов его? Слу-

ги ваши ходят в сукне, какое, в мою память, кой-когда появлялось на боярах; в доме вашем убранство, какое только видали в царских палатах. Перейдите к другому. Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву, имена, кои будут жить, пока живет Россия. Чем подобным похвалится ваша старина?

Иван Семенович привык с детства уважать своего духовника и позволял ему противуречить, но унижение старины, времен его славы, его подвигов почитал личным оскорблением. Не возразить было свыше его сил.

— Чем похвалится наша старина? — прервал он с запальчивостию. — Иной помыслит, батька, лета отшибли у тебя память. Чем похвалится наша старина? Этот бунчук, отче Григорий, — тут он указал на стену, — эта сбруя добыты мною у турецкого паши в поход Чигиринский, когда мы карали бусурман за малую Россию; эта кольчуга принадлежала мурзе татарскому, которого полчища мы иссекли у порогов днепровских; лезвие этого меча рубило поляков под стенами Витебска, и, наконец, этот бердыш, который еще багровеет запекшеюся кровию врагов, по коему блаженные памяти государь Алексей Михайлович, упокой господи его душу, изволил пожаловать мне, холопу своему, прозвание, этот бердыш есть памятник завоевания Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти городов. Чем подобным похвалится ваше нынешнее, хваленое время?

Отец Григорий, не хотевший дальнейшим разногласием гневить хозяина, которого знал слабую сторону, помолчав немного, спросил вместо ответа: «Скоро ли чаете отвезти Андрея Александрыча в школу?»

— Я! Нет, отче! Я в Новгород не ездок. Туда являйся не иначе как в немецком платье, а мне на старость поздно рядиться скоморохом. Это твое дело, Терентьич!

Терентьич, к которому обращена была речь, мужчина малорослый, перебивавший в трех приказах, исчах над деловыми бумагами. В то время на Руси судов и судей еще не было: отдавали ее, матушку, на корм воеводам, кои в областях были как дома: вершили, рядили, никого не спросясь; катались как сыр в масле. Каждый помещик имел у себя в доме подъячего, наторевшего в законах, которого обязанность была отстаивать милостивца у воеводы.

Вотчина Горбунова окружена была поместьями, незадолго перед тем пожалованными любимцу Петра I, князю Меншикову. Князь неоднократно предлагал Ивану Се-

меновичу продать имение или взамен выбрать любое из его поместий, но Горбунову-Бердышу расстаться с селом Воздвиженским, которое получил в награду за многие верные службы, на коем основывал честь своего рода, казалось более чем преступлением. Отказ произвел неудовольствие и частые между соседями споры. Терентьич вел битву за Ивана Семеновича. И действительно, трудно было в околотке отыскать борца искуснее. Уложение и новоуказные статьи, притом все крючки, все натяжки, какие искони водились между приказными, были ему свои: приискать закон, перетолковать его в пользу или против, проволочить или ускорить дело, задобрить кого словом, кого мздою — никто лучше Терентьича не ведал. Пронырливый, изворотливый, неразборчивый в средствах к достижению цели, умея принять все личины, нередко самого Горбунова приводил в изумление и страх, чтоб клевет не сделался противником.

Терентьич, сидевший на конце стола, привстал, ответил тоненьким голоском: «Как ваша милость приказать изволит». — «Вот настанет зима, и тогда с богом!»

Между тем самозвонные часы пробили восемь. Собеседники, усталые от охоты, чтоб к следующему дню собраться с силами для новых подвигов, осушив в заключение по братине меду, разошлись по своим комнатам на покой. Так миновался первый день пребывания Андрюши в селе Воздвиженском.

ГЛАВА III

Несколько месяцев спустя после вышеприведенной беседы от раннего утра все было в движении в доме Горбунова. Перед крыльцом стояла большая крытая кибитка, на дворе несколько саней, тяжело нагруженных чемоданами, сундуками, кулками, кулечками. Старики наши были домоседы, ограничивали путешествия уездным, много областным городом, но и те совершали не иначе как обозом. Дело-де холопское пускаться в дорогу на одной телеге; дворянин, чтоб не уронить звания, вез с собою весь дом. По отслужении напутственного молебна посадили Андрюшу, укутанного между Терентьичем и дядькою Николаем Федоровым, и обоз потянулся к Новгороду.

В то время заря просвещения едва начинала проявляться на горизонте России. До Петра I воспитание у нас находилось исключительно в руках духовенства. Государь

сей, до учреждения гражданских училищ введши преподавание некоторых светских наук при архиерейских школах, повелел обучать в них детей всякого звания. В Новгородской школе, после Киевской и Московской важнейшей, было всего двое учителей. Дьячок Никандр, незадолго прибывший из Славяно-греко-латинской академии, обучал закону божью, чтению книг по старому и новому письму и церковному пению; воспитанник морского училища, что на Сухаревой башне, преподавал цифирь, географию и начала геометрии. В этом заключалась премудрость, к таинствам которой готовились приобщить нашего Андрюшу.

После четырехдневного пути Терентьич привез к новгородскому архиерею юного питомца с письмом, живую стерлядь и бочонком заморского вина от своего милостивца. Преосвященный, давний знакомец Ивана Семеновича, поручил Андрюшу надзору келаря, приказав ему поместить мальчика в своей келье.

Между школьными товарищами Андрей преимущественно подружился с Желтовым. Оба были одинаковых лет и способностей, дворяне, сироты; различествовали нравом и положением. Андрей, живой, резвый, отличался добрым сердцем и шалостями. Желтов, тихий, важный, прикрывал вялою наружностью редкую в эти лета решимость. Первый, без состояния нашел дядю, тужившего об нем, как о сыне; второй, богатый наследник, попал к опекуну, который старался об удалении племянника, дабы в отсутствие юноши рачительнее править его имением. Дьячок Никандр, надзиратель и главный учитель школы, муж твердый в священном писании, особенно изучил два изречения: муж мудр биет дитя неразумно, и другое: иже щадит жезл, ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно. Дабы явить себя вместе мудрым и чадолюбивым, педагог весьма усердно следовал наставлениям царя израильского. Каждую субботу по окончании классов стены школы оглашались криком и визгом несчастных страдальцев его мудрости и чадолюбия. Андрюше доставалось реже: он жил в доме архиерейском, находился под покровительством преподобного отца келаря; притом Терентьич являлся в Новгород всякие три месяца с фурой разных запасов в поклон начальникам юноши, причем и на часть Никандра перепалили когда кусок байки на сюртук, когда иной, другой рублишка. Но Желтов, без защиты, без по-

кровителей, в конце каждой недели чувствовал тягость руки грозного наставника, когда за вину, чаще для примера. Долго мальчик переносил, крепился, наконец, увидев, что ни прилежание, ни скромность не избавляли от деятельного сердоболия дьячка, вышел из терпения. «Шали, не шали, все те же розги, пускай же хоть будет за что». В классе на возвышении находилась кафедра, над коею висело жестяное люстро, которое на лето снимали. Никандр, близорукий, полуглухой, взошед по лесенке на кафедру, имел обычай, наклонившись на лежавшую перед ним тетрадь или книгу, выслушивать уроки подходивших учеников. Желтов, забравшись в класс в часы отдыха, привязал к вделанному в потолок кольцу люстра бечевку, в конце которой прикрепил загнутую крючком булавку, и когда подошел к кафедре для высказывания урока, осторожно зацепил крючком косичку строгого ментора. Пробило одиннадцать. Учитель, сложив тетрадь, встает, сходит с лесенки, но едва ступил на вторую ступень, не тут-то было, хочет оборотиться, не может. Между тем от этого движения лесенка падает, и дьячок Никандр, гроза школы, за два дня до посвящения в дьяконы, повис между потолком и полом, при громком смехе тех, кои дотоле трепетали от одного шума его шагов.

Преступление было велико, и преступник недолго укрывался. Товарищ, которому неосторожный открылся, напуганный, назвал Желтова, и раба божия отвели в исправительную, дабы, продержав там до субботы, нещадно наказать в виду всех учеников и потом позорно выгнать из школы. Исправительную звали в отдаленной части архиерейского дома уголок, огражденный перегородкою в два человеческих роста. Там Желтов, на хлебе и воде, лежа на голом полу, со страхом в сердце, и днем и в ночных грезах видел перед очами роковой день. Вдруг ночью слышит сквозь сон, кто-то зовет его по имени. На отзыв тот же голос: «Вставай, времени терять некогда, не ждать же завтрашнего дня!» С сим вместе спустилась к нему с перегородки веревочная лестница. Желтов поспешил выбраться из тюрьмы. Встретил его Андрюша: «С помощью Николая Федорова мне удалось обмануть бдительность о. келаря. От тебя теперь зависит избежать мстительности Никандра. Вот тебе все, что теперь имею,— промолвил он, подавая Желтову одной рукою несколько серебряных рублей, а другою отпирая окно, выходившее на улицу,— поспеши до свету выбраться за город, чтоб

нам обоим не попасть в беду, а там господь тебя не оставит!» И не дав Желтову высказать благодарности, с братским поцелуем опустил его по веревочной лесенке, поднял ее и, заперши окно, без шума воротился в келью.

Недолго спустя после сего подвига кончился курс учения. Андрюша в четырехлетнее пребывание в школе бегло выучился русской грамоте, вытвердил большую часть псалтыри, твердо знал цифирь до правила товарищества, умел отличить квадрат от треугольника, параллелограмм от круга, назвать европейские государства с их столицами и, награжденный похвальным листом от преосвященного, со славою многоученого воротился к нетерпеливо ожидавшему его дяде.

ГЛАВА IV

Наступило время отправления героя нашего на службу, но Иван Семенович, привязавшийся к племяннику, как к сыну, со дня на день откладывал. «Он-де еще ребенок, куда ему мыкать горе, таскаться с ружьем», хотя ребенку, ростом вершков девяти, миновался уже двадцатый год. Андрей между тем полевал с дядей зайцев и лисиц, травил соколами журавлей, стрелял на близлежавшем болоте гусей и уток. Когда ходил с рогатиной и ножом на медведя или гнался за быстрою ланью, когда умучивал диких коней дядина завода. Смелый, не зная ни страха, ни усталости, радовал старика Горбунова, которому подвиги юноши приводили на память собственную удалую молодость.

В одно летнее утро Андрей ехал лесом на борзом коне арабской породы, дотоле мало носившем седоков. Что-то шорохнуло в листьях, испуганный конь взвился дыбом и пустился молнией в сторону по случившейся просеке. Андрей хотел удержать его на поводьях, поводья оборвались. Тогда, схватившись за гриву, предоставил себя на волю ретивого. Сей, несясь через пашни и луга, примчался к пруду, обсаженному деревьями в два ряда. Между березами качались девицы под звук заунывной песни, которой вторила пожилая женщина в телогрее, сидевшая за пряжей подле, на берегу пруда. Поодаль стояло несколько мужчин, по-видимому, слуг. Вдруг одна из девушек при виде несомого стрелой всадника вскрикнула. Андрей, дотоле ездок внимательный, оглянулся; между тем конь в воду, и седока на нем не стало.

Пришед в чувство, он увидел себя в постели, укутан-

ный одеялами. Подле сидела женщина преклонных лет, которую по шелковой фрезе и богатому платку на голове принял за боярыню. Перед кроватью стол с огромной шашечницей, шашки в беспорядке и отодвинутые от стола к середине комнаты кресла показывали, что игра была недавно прервана. Стены, обитые цветною бумагой, развешанный по ним охотничий наряд, большая печь с лежанкой, в углу кивот с иконами в серебряных окладах — говорили Андрею, что он в незнакомом месте.

— Где я? — спросил он вполголоса.

— Насилу-то ты очнулся, батюшка, — ответствовала старушка. — Куда ты нас было перепугал! Ивановна! — продолжала она, обратившись к стоявшей в углу женщине. — попроси скорее Луку Матвеича. Что, каково тебе, мой родной?

— Слава богу! — отвечал Андрей, — только немного знобит.

— Как не знобить? — прервала незнакомка. — Легкое ли дело? Мало ли ты, голубчик, пробыл в воде? Да беда, что тебе здесь и пособить нечем. Я человек заезжий, а в доме братца, Луки Матвеича, такая безладица, что ничего не найдешь. Сейчас потороплю их, чтоб подали тебе чаю.

В дверях встретилась она с Лукой Матвеичем.

— Ну, Андрей Александрыч, — сказал он, придвигая к кровати большое, обшитое черной кожей кресло, — перепугал ты нас порядком. Бог с тобой! уж мы тебя и раскачивали и оттирали; да спасибо надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, положить тебя в постель. Наказал тебя господь за удалство, не будешь вперед молодечествовать. Да и то сказать, лихого ты коня себе подобрал. Я теперь только смотрел его. Как ни в чем не бывал! Как ты это так оплошал?

— Поводья оборвались, Лука Матвеич.

— Поводья! Уж бы за это конюхов! Иван Семенович такой благодушный, по мне — всех бы до одного передрал.

— За что же всех? — возразил Андрей.

— Виновного за то, что провинился, а прочих в острастку, чтоб знали, каково провинившемуся, — отвечивал хозяин. — Так ведется у меня от дедушки. Ведь счастье, что моя Варвара очутилась на ту пору у Ольгина пруда; не то, упаси чего боже, поминай как тебя звали.

Между тем воротилась княгиня со слугою, несшим на подносе кипевший чай. «Покушай, батюшка! Согрейся и усни! Увидишь, как рукой снимет».

Предсказания старушки сбылись. Живительная влага действительно произвела благотворное влияние на оцепенелые члены Андрея, но сон не приходил ему на ум. Почувствовав в себе довольно крепости, встал и оделся, чтоб поблагодарить хозяев за ласковую внимательность, поспешить домой успокоить дядю в долгом отсутствии. Прошед из спальни через несколько комнат, ступил в одну, в которой светлые бумажные обои, дубовая софа, явление в то время редкое, и несколько кресел, обитых кожей, большое зеркало в зеркальных же узорчатых рамах показывали, что то была гостиная.

Но убранство комнат не занимало Андрея. Все его внимание обратилось на окно, у которого за большими пальцами, в объяринном сарафане с золотыми пуговками, сидела девица, в коей он узнал незнакомку у пруда. Кто из вас, любезные читатели и читательницы, буде таковые найдутся, не испытывал на себе того изумления, той немоты чувств, какую ощущаешь при первой встрече с предметом, к коему что-то невольно влечет тебя? Когда, не понимая, что в тебе происходит, утратив память, мысль, язык, весь погружаешься в созерцание стоящего перед тобой существа? В таком положении был Андрей, когда Варвара подняла на него голубые очи, когда поразили взор юноши ее высокое чело, осененное светло-русыми кудрями, румянец, вспыхнувший было на белых как снег щеках, полная грудь, пробивавшаяся из-за ревнивой дымки. Варвара была не в меньшем изумлении. Уже при царе Алексее, подавно в правлении Софии, женщины начали покидать у нас затворническую жизнь. Варенька, лишившись матери в детстве, от ранней юности привыкла быть хозяйкой в доме, и вид чужого мужчины был для нее не диковинкой. Но при воззрении на юношу взрослого, статного, который пожирал его пламенными глазами, на черные усики, придававшие мужественную наружность его чистому, белому лицу, боязливая, как серна, румяная, как роза, то поднимала робкие очи, то опускала их в землю. Наконец, Андрей, приободрившись, первый прервал молчание.

— Я пришел извиниться перед вами, Варвара Лукинишна,— сказал он, заминаясь,— в испуге, который нехотя причинил вам.

— Благодарение богу,— отвечала она застенчиво,— что он вас сохранил.

— Благодарение богу и вам. Без вашего драгоцен-

ного участия я, может быть, доселе лежал бы на дне пруда.

Неблаговременный приход отца не дал Вареньке отвечать. «Исполать тебе, Андрей Александрыч!— вскричал он, ступив в комнату.— Дело говорит сестра, княгиня Ирина Матвеевна, в двадцать лет нет у людей недуга. Не прошло трех часов, как тонул, а теперь молодец хоть куда, как ни в чем не бывало!»

Андрей, повторив извинения и благодарность перед стариком, хотел было раскланяться. «Нет, Андрей Александрыч,— возразил хозяин,— ты и то у нас редкий гость. Благо, заполучили! Видано ль, чтоб я тебя, охотника, отпустил, не похвалившись псарней, не показав тебе конского завода! Он хоть и не чета вашему, да за себя постоит. О батюшке не беспокойся, спасибо, надумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, я давно уже отправил к нему вершника сказать, что ты у меня ночуешь».

Горбунову было в эту минуту не до псов и коней, но он не весть на что бы согласился, чтоб видеть еще Варвару, провести ночь под одним с нею кровом.

— Пойдем же! времени терять нечего,— сказал Лука Матвеевич, таща Андрея за рукав,— до обеда успею еще кой-чем тебя потешить.

Вскоре привел он гостя к длинному сараю, у которого ловчие в зеленых куртках с изображением медного рога на груди ждали барского прихода. Внутренность псарни чистотой и порядком едва ли не превосходила жилых покоев. Каждый из множества псов имел свой короб, выложенный войлоком и устланный свежей соломой; в стенах вделаны были на равных расстояниях медные кольца, к которым их привязывали. При входе посетителей псы с радостным визгом бросились к своему милостивцу. «Прочь, негодные! прочь, Зарез! Стрела, на место! Эй, привязать их по местам! Вот, любезный Андрей Александрыч!— продолжал Лука Матвеевич с торжествующим видом.— Сокол, который в одну погоню травит двух зайцев; Стрела, уж подлинно стрела, никакому коню ее не обскочить! А Вихрь? весь околоток на него зарится; сосед Бегунов невесть что давал в обмен; да, небось, Лука Матвеевич не даст промаха!»

Удержимся от дальнейшего исчисления достоинств и родословной собак, соколов, коней Луки Матвеевича, исчисления, которое, вероятно, столько же надоело бы вам, любезные читатели и милые читательницы, сколько

Андрею. Крепя сердце он нес муку, пока, после доброго часа, не отвела души весть, что кушанье поставлено. За столом Андрей сидел против Варвары. Несносно было слушать или притворяться слушающим рассказы хозяина о подвигах его осенней охоты, отвечать на назойливые вопросы княгини, но, глядя на Вареньку, Андрей забывал скуку. Взоры их встречались редко и, словно по какому-то механизму, тотчас опускались вниз; но в сих мгновенных встречах юноша, еще неопытный и по слуху не ведавший любви, успел уже прочесть, что он не противен, так понятен и для начинающих язык очей.

После обеда, когда, по обычаю предков, старики ушли отдохнуть, они опять свиделись наедине. Не было между ними и помину о любви. Говорили — Варвара о поездке в Москву, из которой только что перед тем воротилась с теткой, Андрей — о жизни села Воздвиженского. Но в сих речах, по-видимому обыкновенных, внимание, с каким собеседники друг друга слушали, нескромности, мимо воли у обоих вырывавшиеся, обнаруживали скрываемую каждым из них тайну.

С сего дня Андрей ожил новою жизнью. Опостылели стрельба, скачки, охота. Из коней только и был ему дорог Араб. К соседу ездил он так часто, как лишь позволяло приличие. Лука Матвеевич приписывал сии посещения удивлению его псарне; княгиня, страстная до шашек, — желанию доставить ей удовольствие игрою; одна Варвара не ошибалась в догадках. Пылкость Андрея, бестрашие, самая опасность, от коей она некоторым образом его спасла, заронили искру в сердце красавицы. Притом он имел у любезной усердного ходатая. «Уж куда как мил этот Андрей Александрыч! — говаривала вместо обычных сказок няня Ивановна, раздевая барышню по вечерам, — лицо — кровь с молоком, голос, словно соловей поет, глядишь, не нагладишься, слушаешь, не наслушаешься; и какой чтивый! Награди его бог. Меня, старуху, подарил объярью на телогрею: «Ты-де, нянюшка, ходила за мной больным». Дал бы мне бог попить на вашей свадьбе! Чем он тебе не жених, Варвара Лукинишна? Сродясь лучше не видала. И богат, и молод, и уж куда как тебя любит. Во всем околотке не найдешь пригоже». Такие и подобные речи вела няня, кладя барышню в постель, и если верить источникам, откуда мы заимствовали сию повесть, Варвара, слушая их, не засыпала по обычаю.

— Ты сегодня, Андрей, останешься хозяином в доме, — говорил одним утром Иван Семенович племяннику. — Меня звал сосед Лука Матвейч. Сегодня минуло его дочке шестнадцать лет; выводит ее, вишь, в люди.

— Батюшка! — ответствовал Андрей, целуя руку старика. — Я люблю Вареньку, она меня любит, благословите, помогите нам!

— Как? — вскричал с удивлением дядя, глядя племяннику в очи. — Ты любишь Вареньку? То-то, бывало, сирому — где Андрюша? Все одна песня — уехал-де в село Евсеевское. И Варенька тебя любит? Ай да сокол! Еще не оперился, а уже добыл добычу. Исполать тебе, Андрей! Чего же тебе хочется? Жениться? И меня берешь в сватья? Изволь! Быть делу так! Варенька девка разумная; одна дочь у отца, и приданое хоть куда! Только смотри, молодец, не ударить лицом в грязь! Дай мне потешиться на старости, понынчиться с внуками!

В это время подвезли сани, и Горбунов-Бердыш в соболей шапке, обвязанный шерстяным платком, укутанный в медвежью шубу, отправился в село Евсеевское.

Там сараи и обширный двор уже несколько дней набиты были кибитками, санями, конюшни лошадьми. В людских и девичьих теснились толпы прибывших с барами и барынями слуг, девок, карл, дур, дураков. В гостиных покоях, убранных по-праздничному коврами и занавесами, собрались свойственники, родные по отцу и по матери и знакомцы Луки Матвеевича пожилых лет, съехавшиеся из ближних и дальних мест на праздник шестидцатилетия его дочери. Ныне время первого выезда девицы в свет проходит почти без внимания; догадаешься разве только по локонам, небрежно опущенным за уши и еще не вьющимся трубками кругом чела, что она не оставляла родительского дома. Но в первой четверти XVIII в., когда жизнь общественная начинала у нас проявляться, старики, справедливо полагая, что появление женщины в свет — важнейший шаг в ее жизни, считали обязанностью праздновать день ее совершеннолетия особнным торжеством. Вы, конечно, слышали о постригах, какие в старину совершались над юношами, когда их впервые облакали в оружие. Обряд введения девиц в люди имел с постригами некоторое сходство. Девица до шестидцатилетнего возраста носила на заплечьях крылышки, видом похожие на

бабочкины. Когда наступал ей семнадцатый год, по приезде родственников отправлялись в домашнюю церковь или за неимением церкви в одну из комнат поболее, где поставлен был напой. Духовник читал громким голосом сочиненную на сей случай молитву, в которой, благодаря бога за сохранение именинницы, поручал святому его промыслу юную виновницу торжества. Засим все садились кругом, старшие на почетном месте, прочие ближе или далее, по летам. Наставало глубокое молчание. Отец или старший мужчина, с ножницами на серебряном подносе в одной руке, вводил другую дочь или племянницу в круг и после обычных во все стороны поклонов подходил с нею к самой пожилой из родственниц. Внучка кланялась бабке в ноги. Сия, привстав, обращалась к ней с поучением: что доселе, свободная, как бабочка, она беспечно предавалась движениям детской откровенности, но наступило время, когда, скованная приличиями, должна будет отказаться от прежней невинной веселости и подчинить себя тягостным требованиям света. От сего дня каждое ее слово, взор, поступь сделаются предметом толков, замечаний, пересудов; посему будь она чрезвычайно осторожной и всегда помни, что скромность — лучшее украшение, а доброе имя — самое драгоценное сокровище ее возраста и пола. Засим, взяв с подноса ножницы, при звуке труб, литавр, громких кликах присутствовавших и слезах внучки, обрезывала ей крылышки, сию красноречивую эмблему счастливого детства. Тогда отец представлял собранию дочь как совершеннолетнюю. Между тем являлись слуги с подносами, на коих стояли стопы, полные вина. Именинница подносила каждому из гостей, который, осушив кубок, оканчивал поздравлениями и поцелуем, последним, какой позволялось девицам давать или принимать от чужого мужчины.

По свершении обряда, когда Варвара, обошед всех собеседников, с пылавшим лицом и вздувшимися от поцелуев губами, поднесла последний кубок отцу, сей, выпив до дна, примолвил: «Дал бы господь, Варенька, также счастливо выдать тебя замуж, как мы вывели тебя в люди!»

— За этим дело не станет! — подхватил Горбунов-Бердыш. — Появись лишь Варвара Лукинишна в свет, а женихи прильнут, что мухи к меду.

— Каков жених, батюшка Иван Семенович! — молвила княгиня Ирина. — Бывало, у нас молодые не видались, не слыхивали друг про друга до свадьбы, а нынче, право-

славным на соблазн, родители ни про что не ведают, не гадают: сами слюбляются, сами берутся.

В другое время, в другой вещи Горбунов-Бердыш не преминул бы приобщиться к нареканиям на испорченность века, но, вспомнив, что сам некогда любил и был любим, удовольствовался ответом: «Не то время, княгиня, не те обычаи!»

— Стыда, право, не стало у людей,— продолжала Ирина.— Проезжала я намеренсь через Москву. Завели там, вишь, по-немецки какие-то а с а м л е и. Свозят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают, словно о масляной в собачью комедь, встречного, поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да подхваливают. Далеко ли, прости господи, до греха?

— Нынче, вишь, народ больно умудрился,— молвил Иван Семенович.— Мы с вами, княгиня, не изменим старине. Что бы вы, например, сказали, если б мне вздумалось явиться к вам сватом?

— Милости просим, батюшка! — ответствовала княгиня Ирина.— Не так ли, братец Лука Матвеич?

— Прошу покорно,— промолвил Лука Матвеевич.

— Есть у меня жених на примете: молодец собой, не без достатка, словом, постоит за себя. Ваша Варвара Лукинишна с сегодняшнего дня невеста, и пара из них вышла бы славная.

— Кто таков-с, позвольте узнать? — с любопытством спросила княгиня Ирина.

— Ни дать ни взять, мой Андрюша. Молодцу минует скоро двадцатый год. Хотелось бы на старости понянчить внуков. Мы с тобой, Лука Матвеич, лет тридцать жили добрыми соседями, почему бы не кончить родством?

— По мне,— ответствовала княгиня, вспомнившая о готовности Андрея играть с нею в шашки,— благослови их господь! Андрей Александрыч умен, пригож. Вареньке лучше жениха не найти. Как ты думаешь, Лука Матвеич?

— Вестимо, вестимо, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! Я одних с вами мыслей,— промолвил Лука Матвеевич.

— О чем же дале толковать? По рукам, да и дело с концом! — предложил Иван Семенович, протянув свою к соседу. Старики скрестили ладони, княгиня разняла, вос-

хищенный Горбунов-Бердыш назвал Варвару, еще более счастливую, дорогою дочкой.

Между тем в столовой ждал гостей богатый пир, заключение торжества. Все прихоти старинной русской и тогдашней полугерманской кухни, все, что могла придумать затейливая изобретательность века, было тут собрано, начиная от жареных павлинов и фазанов до огромной литого сахару башни, под конец пира распавшейся по трубному звуку и открывшей удивленным зрителям старуху карлицу, которая, провизжав осиплым голосом свадебную песню, поднесла имениннице цветочный венок. Но ни в чем не явил хозяин более тароватости, как в винах. В тот век пир был не в пир, если гости могли встать из-за него без чужой помощи. Ни лета, ни здоровье не избавляли от участия в веселии. Закон беседы для всех один: старики и молодые, крепкие и слабые, осушай до дна круговую чашу. Отговорки, жеманство — оскорбление хозяину, неуважение собеседникам. Или совсем не приходи на пир, или, пришедши, пей, пока вино не отнимет ног, рук, памяти. Вдоль стены на брусках стояли выкаченные из погреба бочонки с ромашкой, мальвазией, бордосским, в течение нескольких лет береженные именно для сего торжества; у всякого бочонка — кравчий, цедивший вино в стопы, подставляемые слугами. Каждый из собеседников предлагал свой тост; если он нравился, пили, изъявляя одобрение громким кликом, в противном случае молчали, а все-таки пили.

За сею шумною беседой последовало событие, сильно встревожившее собрание. Горбунов-Бердыш, который, почитая праздник собственным, и примером, и побуждениями побуждал пиравших к веселости, сильно занемог. Княгиня Ирина Матвеевна, по обычаю тогдашних женщин занимавшаяся целением недугов, поила больного чаем, ромашкой, мятой и доставила ему облегчение, но ненадолго: Бердыш потребовал священника и пожелал видеть Андрюшу. По приобщении святых тайн, изъявив желание остаться с племянником наедине, обратился к рыдающему следующую речь: «Я обещал праху твоих родителей, Андрюша, быть тебе отцом и, бог свидетель, держал слово с верой. Ныне господь зовет меня к себе, оставляя тебе все мое, прошу одного, исполни мою последнюю заповедь. Знаешь, блаженные памяти государь Алексей Михайлович, ниспосли ему господь царство небесное, — промолвил он, крестясь, — пожаловал в род наш

мне, холопу своему, за бедную мою службишку, чин окопничего, прозвание Бердыш и село Воздвиженское с деревнями. Есть у нас сосед сильный, который десять лет приступал ко мне, чтоб я продал ему поместье. Я пребыл крепок противу просьб, золота, угроз. Завещаю тебе ту же твердость. Обещай мне ее, не отдавай за корысть жалования царского достояния родового, не уступай боязни! Ты молод и не сегодня, завтра вступишь в царскую службу, да не прельстят тебя обещания, не страшат козни! Облечись в броню правды, стой крепко в вере богу и царю, и о щ и т е е п р и т у п я т с я р а з ж е н н ы е с т р е л ы л у к а в о г о , и с и л ы а д о в ы н е о д о л е ю т т я . Господь избавит праведного от руки нечестивых!» Когда Андрей, едва говоря от плача, уверил, что волю его почтет священной, старец продолжал: «Я выполнил твое желание и хочу, перед тем как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным. Попроси сюда Луку Матвсича, княгиню и Вареньку». Едва Андрюша воротился с ними, умирающий, взяв со стола поставленный перед кроватью образ, дрожащими руками благословил юную чету. Молодые, положив земные поклоны пред ликом пречистой и запечатлев обет верности первым поцелуем, бросились было лобызать хладеющие руки старца, но его уже не стало, и счастье надолго закатилось звездой для обреченных.

ГЛАВА VI

Есть ли счастье на земле? Обратитесь с сим вопросом к сребролюбцу, копящему сокровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, вам скажут — нет. Спросите у любящихся, верно, получите в ответ — да. Так! сие счастье, неслезанное, незаменимое, предвкушение блаженства небесного, живет в сердцах, полных любви; с нею радость — радость двойная, напасть не в напасть! Согласен, оно кратковременно, преходчиво, как все земное; зарница во мраке ночи, на миг озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее того существует, и любившие изведали его. Горесть Андрея об утрате отца-благодетеля была сносной, потому что с ним вместе горевала, вместе плакала Варвара.

Миновались тягостные, нестерпимые для сердца чувствительного поминки покойника, в которых, по обычаю того времени, осиротевший, деля с другими радость и печаль, долженствовал угощать пиром провожавших тело

и за чашей вина желать скончавшемуся царства небесного. Андрей занялся управлением доставшейся ему вотчины и отдыхал от дел хозяйственных в Евсеевском в обществе невесты. Одним утром известили его о приезде Степана Михайловича Белозубова. Белозубов, малорослый, плотный мужчина лет под сорок, был некогда сотником в Стрелецком войске. Расторопностью привлек на себя внимание князя Меншикова, который взял его к себе и за верную службу поставил управителем над новгородскими поместьями. Белозубов имел все пороки и одно доброе качество — безусловную преданность к своему милостивцу. Искусный в притворстве, дерзкий, решительный, не разбирая закона от беззакония, когда дело шло о выгодах вельможи, у коего находился в услужении, и в усердии к его пользе, уверенный в безнаказанности, часто без ведома князева, смело пускался на все неправды. Доверенность первого в России сановника стяжала ему большое уважение в околотке, но Андрей никогда не видал его в доме дяди, который, гордясь длинным рядом предков и внутренне ставя себя выше самого князя, оказывал явное презрение к его клевету.

После обычных приветов первого знакомства: — Занятия хозяйственные, — сказал Белозубов, — для вас, Андрей Александрыч, новы и человеку ваших лет немного представляют веселого. Почему бы вам не избавить себя от этих хлопот?

— Нельзя же, — отвечивал Горбунов, — имея вотчину, сидеть в ней спустя рукава.

— Вы меня не понимаете, — продолжал Белозубов. — Вам известно, село Воздвиженское словно чересполосное владение в поместьях князя Александра Даниловича. Он не раз предлагал себя в купцы покойному вашему дядюшке, но упрямый старик не хотел расстаться с именем. Не доставите ли вы князю этого удовольствия? Можете сами назначить условия продажи. Князь не постоит за лишнюю тысячу или две рублей.

— Это имение родовое, и я не намерен его продавать, — возразил Андрей.

— Если слово «продажа» вас так пугает, — подхватил Белозубов, — не угодно ли вам выбрать любое из княжских поместий? У него их много в Малороссии, около Москвы, во всех концах России. Уверяю вас именем князя, вы от сей мены не останетесь в накладе.

— Вы напрасно беспокоите себя, Степан Михайло-

вич, — прервал Горбунов. — Уже один пример дядюшкин долженствовал бы служить мне правилом, но скажу более: умирая, он наказал мне оставаться при владении Воздвиженского, а воля покойного для меня закон. Я не расстанусь с вотчиной.

— Послушайте, Андрей Александрыч! — молвил с важностью Степан Михайлович. — Я для вашей же пользы не хотел бы, чтоб ответ сей был решительным. Извините откровенность, на которую лета и опытность дают мне право. Вы еще молоды, готовитесь вступить в свет. Вспомните, кто таков князь? Ваше согласие доставит вам могущественного покровителя, отказ — сильного врага.

— Врага? — вскричал, вспыхнув, Горбунов. — Хорошее же вы мнение подаете о князе Александре Даниловиче, грозя его враждой тому, кто в удовлетворении его прихоти не захочет расстаться с собственностью. Благодарение богу, мы живем в стране законов, рабы царя правосудного, в державе коего невинность найдет защиту от гонений сильного.

— Вы меня не поняли, — возразил Белозубов хладнокровно. — Я не мыслил грозить вам негодованием князя. Но точно ли вы уверены, что село Воздвиженское ваша собственность?

— Кто дерзнет в этом сомневаться? Оно досталось мне по наследству и укреплено за мною духовною записью покойного дядюшки.

— Очень верю, — продолжал Белозубов, — но могут случиться обстоятельства непредвиденные, кои дадут другой вид делу. Впрочем, это одни догадки. Повторяю: для вашей же пользы, Андрей Александрыч, прошу вас, не отпускайте меня с отказом. Не накликайте на себя неприятностей пустым упорством.

— Это упорство, — живо сказал Горбунов, оскорбленный последним выражением, — говорю вам, пустое в очах людских, для меня священная обязанность. Повторяю раз навсегда: усыпай золотом князь Александр Данилович всю дорогу отселе до Новгорода, предложи мне все свои поместья за одно село Воздвиженское, я с ним не расстанусь.

— Итак, — отвечал Белозубов, взяв шляпу и раскланиваясь, — мне остается пожалеть только, что вы не послушались благого совета. Искренно желаю, дабы после не раскаивались в упрямстве.

Едва он уехал, Андрей, встревоженный двусмыслен-

ными намеками о правах своих на вотчину, велел позвать Терентьича.

— Вы не очень ему верьте, Андрей Александрыч,— сказал в ответ дядька Николай Федоров.— Он, кажись, замышляет что-то недоброе.

— Как так? — спросил Горбунов.

— Бог его ведает! Вот уже недели две ездит к нему какой-то посадский человек. Запираются вместе, толкуют до поздней ночи. Илья же Иванов, дворецкий, говорит, гость этот в службе у Белозубова. Да и дивное дело: взъедет на двор на пустом возу, а со двора — воз набит, словно фура.

— Ты что-то завираешься, Николай Федоров! — отвечал Андрей.— Однако ж пошли-ка Терентьича!

Но Терентьича не нашли. Занимаемая им изба была пуста, словно нежилая. Сей отъезд, походивший на потаенное бегство, еще более встревожил Андрея. Он открыл письменный стол дяди: жалованная грамота на село Воздвиженское, духовная запись покойного, все бумаги были на месте. «С этими свидетельствами,— сказал он про себя,— не страшны мне угрозы, пускай их делают, что хотят!»

Неделю спустя явился в селе Воздвиженском гонец из Новгорода. Андрею подали бумагу следующего содержания: «По указу его царского величества, самодержавца всея Россия, от воеводы новгородского недорослю из дворян Андрею Горбунову. Бил челом оному воеводе подьячий Прохор Терентьев, что в бытность его в Тихвине мешанка Палагея Тихонова, служившая в доме стольника Александра Горбунова в мамках, перед кончиной объявила на духу попу церкви Спасова преображенья отцу Петру, будто, быв беременной в одно время с Верой Горбуновой, женой Александра, и зная о желании последнего иметь сына, она подменила своим родившуюся в одно время с ним от Веры дочь, которая вскоре у нее, Тихоновой, и умерла. Сын же ее, прослав за сына Александра Горбунова, перешел по его смерти под именем Андрея в дом брата Александрова, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша; и сие показание в присутствии его, Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова подтвердила, за неумением грамоты, приложением собственноручного креста. Он, Терентьев, представив воеводе извет Тихоновой в подлиннике, движимый усердием к пользам казны, бьет челом: означенному Андрею название Горбунова воспретить и доставшуюся ему по смерти Ивана Горбунова-

Бердыша вотчину, село Воздвиженское с деревнями, как имение выморочное, отобрать на государя. Воевода новгородский, извещая о сем недоросля из дворян Андрея Горбунова, предписывает ему представить немедленно доказательства, что он родился действительно от Александра и Веры Горбуновых; в противном же случае поступить с ним и вотчиной его по законам».

Андрей ожидал неприятных для себя последствий от отказа в продаже имения, но никогда не чаял, чтоб дерзость его противников простерлась так далеко. Изумление, гнев, негодование попеременно волновали его душу при чтении бумаги. «Понимаю! — молвил он наконец. — Не могли принудить меня силой к уступке Воздвиженского, надеются вымолвить его у государя, как милость. Но я сорву личину лжеусердия, обнаружу коварство». Покамест, однако ж, надлежало удовлетворить требованию воеводы. Приглашает на совет о. Григория и Николая Федорова, кои оба знали его родителей. Извет Терентьича поразил и того и другого столько же, сколько самого Андрея. Особенно Николай Федоров, выросший в доме Горбуновых, всосавший вместе с молоком уважение и привязанность к господам и после бога и царя не знавший никого выше, оцепенел, словно ушибленный громом. «Господи, прости мое прегрешение, — вскричал он, крестясь, — кто лишь раз видал барыню и взглянет на вас, Андрей Александрыч, скажет, вы ее сын, как две капли воды схожи одна с другой. И Тихоновна! перед смертью продала душу лукавому! Ела барский хлеб, была одета, пригрета, одарена и пустилась на такое беззаконие, стала с вашими врагами!»

«Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела», — промолвил священник.

— Это явный подлог! — вскричал Андрей. — За неделю поверенный князев предлагал мне невесть что за село Воздвиженское и вслед за тем оспаривает у меня право на владение. Будь иск справедлив, кто велел бы ему сулить мне золотые горы?

— Слова нет, Андрей Александрыч, — возразил отец Григорий, — но если нет других доказательств в законности вашего рождения, этого одного недостаточно. Истец не Белозубов, а Терентьич. Мы оба, знавшие Веру Петровну, готовы подтвердить присягой ваше с нею сходство, но в

суде и этим доказательством не удовольствуются. Природа так играет наружностью человека, что иногда людей, друг другу совершенно чужих, творит похожими. Мой совет съездить вам самим в Тихвин. Исследуйте на месте весь ков. Николай Федоров пускай вам сопутствует. Отыщите отца Петра. Расспросите, что случилось с Тихоновной. Существу подмен действительно, надлежало б ей иметь помощников. Она была в то время родильницей и сама не могла встать с постели, а в извете упоминают об ней одной. Между тем попросите у воеводы отсрочку, и если не соизволит, перенесите дело в Сенат. Там, пока дойдет до него очередь, вы, может быть, успеете что разведать.

Горбунов пристал к мнению отца Григория. Велит дядьке приказать приготовить коней, чтобы на другой день отправиться в путь, вознамерившись заехать сперва в Евсеевское успокоить семью Луки Матвеевича. Несчастный! Не знал, что в это время дом нареченного тестя был уже для него заперт.

ГЛАВА VII

Белозубов, радея о выгодах своего милостивца, не пренебрегал собственными. Почитая брак с богатой наследницей верным путем к достижению независимости, давно метил на союз с будущей владычицей Евсеевского, но мыслил: «Окрестные помещики — или старики, для которых прошла пора женитьбы, или люди ничтожные, кои не посмеют простереть видов на дочь Луки Матвеевича, высокого рождения, владельца трехсот дворов. Варенька же еще ребенок, цветок нераспустившийся и добыча верная в глуши, где нет опасных соперников. Будет-де еще время объявить свое притязание». Можно посудить, каково ему было, когда узнал о помолвке Вареньки за Горбунова. «Ужели суждено, — вскричал с негодованием, — что этот щенок, мальчишка с необсохшим на губах молоком, был мне во всем помехой?» Едва известился о решении воеводы новгородского на извет Терентьича, спешит в Евсеевское.

— Милости просим! — молвил Лука Матвеевич, когда Белозубов, приказав наперед доложить о себе, вошел в гостиную; — очень рады. Давно вас не видать, Степан Михайлович!

— Дела не позволяли мне навестить вас в день рождения Варвары Лукинишны, — отвечал гость. — Я провел все это время в Новгороде.

— Что нового слышно в Новгороде?

— Все старое-с, разве одно, о чем, думаю, вы уже сведомы: неприятный случай с нашим новым соседом Горбуновым.

— С Андрей Александрычем, моим нареченным зятем? — прервал с беспокойством хозяин. — Что такое, батюшка Степан Михайлыч?

— Как? Вы сговорили за него Варвару Лукинишну? — спросил с притворным удивлением Белозубов. — Нелегкая же привела меня объявить вам столь печальную новость.

— С нами крестная сила! Уже не уголовное ли дело? — молвил Лука Матвеевич, час от часу в большем страхе. — Скажите, батюшка, что такое?

— Был у них в доме, — продолжал Белозубов, — какой-то подьячий, как бишь, Трифонов, Терентьев, не вспомню?

— Терентьич, батюшка Степан Михайлович! Знаю, он хаживал и по моим делам.

— Этот Терентьич, извольте видеть, бил челом воеводе, что Андрей Александрыч не сын Александра Семеныча Горбунова, а подкидыш: родился-де от мещанки, которая служила у них в доме в мамках; и на сем основании требует, чтоб его вотчину, село Воздвиженское с деревнями, отобрать на государя.

— Горбунов подкидыш! — сказал Лука Матвеевич, заминаясь и будто не смея выговорить. — Андрей Александрыч сын мещанки! Степан Михайлыч? уж не ошиблись ли вы?

— Я и сам бы тому не поверил, — ответствовал Белозубов, — но поверенный мой в Новгороде прислал мне вчерась указ воеводы. Вот он, — продолжал гость, подавая хозяину бумагу. — Оставьте его у себя, если угодно. Впрочем, извет, может быть, ложен, и Андрей Александрыч успеет доказать его несправедливость.

В тогдашнее время в России почти не было дворянства по заслугам. При царях, в существование местничества, примеры людей, вышедших в люди из низкого звания, являлись чрезвычайно редко. Давность рода давала право на уважение; личные достоинства одни ставились ни во что. Имей иной все качества тела, ума, души; хватай звезды с неба — его презирали, если не поддерживал их длинным рядом предков. Посему можно судить, какое влияние имела речь Белозубова на Луку Матвеевича. Едва гость уехал, он с грустным лицом и сердцем побрел на половину сестры.

— Не в добрый час, сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, — сказал он, вошедши, — сговорили мы Горбунова за Вареньку. Ведь он не из дворян!

— Что такое? — вскричала княгиня Ирина, глядя брату в глаза. — Андрей Александрыч Горбунов, сын стольника Александра Семеныча, племянник окольного Ивана Семеныча, не из дворян? В своем ли ты уме, батюшка?

— Вот то-то беда, изволишь видеть, сестрица, дело на поверку выходит не так. Андрей наш сын не Александра Семеныча, а какой-то мещанки. Был у меня Степан Михайлович Белозубов: он лишь только что из Новгорода, слышал об этом у воеводы.

— Не прогневайся, батюшка Лука Матвейич! — ответствовала княгиня Ирина, — а я плохо верю твоему Степану Михайловичу. Про него идет слава, что не больно стоек на правду. Долго ли обвести человека?

— Я и сам было усомнился, да бумаге-то нельзя не верить. Он оставил мне список с указа воеводы. — Тут Лука Матвеевич развернул указ и, прочитав, промолвил:

— Послушался я вас, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! А не худо было бы повременить сговором Варвары и Андрея.

— Ах, господи! — вскричала княгиня Ирина, — кто же его, батюшка, знал? С виду и умен, и красив, чем не похож на дворянина? И кому верить, как не родному дяде?

— Ихти мне! бедная моя головушка! — продолжал Лука Матвеевич. — Что мне прикажете теперь делать?

— О чем тут спрашивать? Отказ, да и только! Беды великой нет! И из-под венца расходятся. Ведь не быть же Вареньке за холопским сыном.

— Да, изволишь видеть, сестрица! молодец-то ей полюбился. Опечалить мне ее не хочется.

— Разлюбит, коли узнает, что не дворянин, — отвечала княгиня Ирина.

— Я чай, горевать будет, бедненькая!

— Погорюет, поплачет и перестанет. Полюбился один, полюбится и другой! Что за баловство? Иной подумает, братец, ты не между людьми живешь. Нас выдавали не спросясь, и прожили милостию господней как дай бог всякому! Думать не о чем. Садись и пиши к Горбунову, что свадьбе не бывать!

Покорный велениям сестры, старшей летами, Лука

Матвеевич присел за письменный стол: начинал, разрывал листы и, наконец, составил следующее послание:

«Государь мой, Андрей Александрович! Степан Михайлович Белозубов привез мне из Новгорода весть о неприятном случае, какой вас постиг. Сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, полагает, что после того вам нельзя быть включенным в нашу семью. По ее воле, возвращая при сем подарки, учиненные вами моей дочери, покорно прошу вас считать все обязательства с нашим домом прерванными».

Письмо было кончено, но предстоял подвиг более трудный — надлежало известить Вареньку о происшедшем, истребовать ее согласия на разрыв. Лука Матвеевич любил дочь нежно и, должно отдать ему справедливость, охотно искупил бы лучшей собакой или конем малейшее ее огорчение. Но мысль, что нареченный его зять — холопский сын, и боязнь гнева грозной сестрицы, к уважению которой привык с детства, придали ему бодрость. Медленными шагами потянулся в светелку Вареньки.

Женщины, существа, созданные, чтоб составлять с мужчинами одно, как истинно оправдываете вы свое назначение! Кто сравнится с вами в любви? С каким самоотвержением, с каким восторгом жертвуете вы богатством, почестями, всеми благами сего мира для услаждения участия того, с кем вы связаны! Как безропотно делите с ним все напасти! Для вас нет невозможного! От природы робкие, слабые телом и духом, вы, когда гроза висит над предметом вашей любви, одолевая естество, изумляете силою, крепостью, бесстрашием.

Варвара встала в тот день с счастливым расположением духа, какое только встречаем у девиц-невест. В ее передней портнихи, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне. Тихий шепот раз или два в утро, прерванный появлением приехавших из Новгорода купцов с тканями, жемчугом, нарядами для новобрачной. Собственная ее светелка оправдывала сие название господствовавшими повсюду порядком и опрятностью. Вы увидели бы тут и кровать под пологом зеленого штофа, подобранного под тень узорчатых бумажных обоев; и лоснившийся уборный столик дубового дерева с круглым подвижным зеркалом в дубовых же резных рамах; и в углу кивот с иконами в горевших, как жар, вызолоченных окладах и теплившиеся перед ними лампадою; по сторонам столика большие

сундуки, обитые светлой жостью, заключали наряды бабушки и матушки, перешедшие по наследству, дабы составить часть приданого; наконец, несколько увесистых стульев с высокими круглыми спинками дополняли убранство комнаты. Четыре сенных девушки за пальцами вышивали под надзором няни Ивановны, женщины дородной, румяной, излелеянной в недрах барского дома, вскормленной на господском столе и по праву пестуна барышни пользовавшейся преимуществами, коих не имели другие слуги. Няня заведовала чаем и серебряной посудой, подавала голос в совещаниях о делах семейных, блюла за порядком, тишиной и нравственностью многолюдной женской челяди, была советником и поверенным барышни. Ивановна, в синем платке с золотыми цветами и штофной телогрее, сидела на низкой скамейке за пряслицей у ног Вареньки. Варенька у окна, перед коим вилась дорога в Воздвиженское, нарядная, как невеста, в узком кирасе и широком атласном роброне, с убранными *à la Fontanges*¹ волосами, горевшим от удовольствия лицом, закрепленным алмазной пряжкой жемчужным ожерельем на шее и запястьями сканого золота, подарком жениха, также за пальцами выводила серебром цветы по голубому бархату, в котором хотела, чтоб Андрей явился под венцом. Пробыло десять — заглядывает в окно. Смотрит в него чаще, чаще. Наконец, иголка покинута, работа брошена. Варенька с устремленными на дорогу очами — вся ожиданье. Как радостно билось сердце, когда, бывало, завидит издали черное пятнышко, потом отличает всадника, и Андрей, словно писаный, на вороном Арабе, то плавно неся стройным лебедем, то, дабы выказать ловкость, поднимал коня на дыбы, и, прежде чем Варенька успела от страха вскрикнуть, пустившись стрелой, остановился будто вкопанный перед возлюбленной. Лицо ее то светлеет надеждой, то вдруг опять подергивается туманом, когда обманывала ожидания пыль, взметенная вешним ветерком или поднятая крестьянином, медленно тянувшимся на барский двор с возом снопов. Пробыло одиннадцать.

— Ивановна! что-то не видать моего Андрюши! Бывало, об эту пору он давно тут.

— Эх, дитятко! что тут за диво? — возразила няня. — Вотчина у него немалая; дел полон короб. А нынче, вишь, он один. Терентьич ведь бежал от них.

¹ Убор волос, так названный по имени девицы *de Fontanges*, которая явилась в нем при дворе Людовика XIV.

Варвара взялась за иголку. Прошло еще полчаса.

— Нянюшка, мне грустно! Сердце что-то вещает недоброе! Уж не занемог ли Андрюша?

— С нами крестная сила! Что тебе привиделось, моя родная? Мало ли что может прилучиться? Явись к Андрею Александровичу человек чужой, ведь не выгнать же гостя!

Миновала пора обеденная; наступал вечер, а жених не показывался. Наконец, когда подали свечи, Варвара услышала в девичьей мужские шаги. Бежит навстречу и, завидев отца, — «батюшка, — говорит, — что это сделалось с моим Андрюшей? Я вся не своя. Выглядела все очи, а его нет как нет. Был бы занят делами, прислал бы сказать. Верно, занемог!»

— Не быть тебе, Варенька, за Горбуновым! — с грустью молвил Лука Матвеевич. — Он не из дворян!

— Что вы говорите? — с изумлением спросила дочь, как бы не веря слышанному.

— Он не из дворян, сын мещанки, — повторил отец.

— Мой Андрюша? Кто взвел на него эту небылицу?

Отец вместо ответа подал ей указ новгородского воеводы.

— Откуда у вас эта бумага? — сказала Варвара, быстро пробежав указ глазами. — Кто ее привез вам? Знаю, здесь был Белозубов. И вы ему верите? Неужели не знаете, что Белозубов искони враг Горбуновым?

— Враг ли он или нет, Варенька, и все-таки Андрей Горбунов не дворянин.

— Стыдитесь, батюшка! Вам бы следовало заставить молчать злые языки, а вы им потакаете, повторяете их нелепости! О, мой бедный Андрюша!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, Варенька, что тебе не бывать за холопским сыном. Я отказал ему от дома и пришел взять у тебя его подарки.

— Как? — прервала дочь. — Разве вы не сами благословили нас образом богоматери? Батюшка! — продолжала она с укором, — изменить в слове людям стыдно, изменить богу грешно!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, что даже из-под венца расходятся.

— Батюшка! — медленно молвила Варвара. — Я ваша дочь и должна вас слушаться, однако ж есть предел родительской власти. Вы можете не выдавать меня за Андрея, но я перед богом была ему обручена и останусь его невестой до смерти. — Засим, обратившись к няне, которая

глядела на происходившее, смиренно сложив руки, повелительным голосом, словно давая знать, что не потерпит возражения. «Ивановна! — говорит, — завтра чем свет отправься к Андрей Александрычу, скажи ему, что я не верю клевете и хочу с ним сама проститься у Ольгина пруда».

Няня, изумленная решимостью барышни, не смея ни отказать, ни согласиться в присутствии барина, отвечала: «Как его милость молвить изволит».

Но изумление его милости было гораздо сильнее. Сам он не имел понятия о любви. Семнадцатилетнего привезли в церковь, поставили рядом с девицей, которой дотоле не видал в глаза, и, обведши три раза кругом налоя, приказали ему любить жену, как душу свою. Он исполнил повеление по своему разумению: в десятилетний брак и мыслию не изменил верности супружней. Когда же увидел, что Варенька, незадолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, вместо вздохов и слез являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся. «Делай что тебе приказывают!» — сказал няне Лука Матвеевич.

ГЛАВА VIII

На другой день, едва Андрей проснулся, вошел к нему Николай Федоров с извещением о прибытии гонца из Евсеевского. «Этого только недоставало! — вскричал Горбунов, прочитав письмо бывшего нареченного тестя. — Неужели и Варвара мыслит одно с отцом и теткой?» Посмотрел на подарки, которые дядька выложил между тем на стол: лежали тут шелковые ткани, бухарские платки, жемчуг, румяны; не было одного золотого колечка, освященного прикосновением к персту св. великомученицы Варвары, которое Андрей получил в наследство от матери и наложил на палец возлюбленной в день сговора. «Так! — сказал он со вздохом, — ее принудили к разрыву, но сердцем она мне не изменила!»

Внезапный стук привлек его к окну. Одноколка въехала на двор, и няня Ивановна с видом торжественным, словно министр, идущий на переговоры, от коих зависит судьба государства, в шелковом шушуне и богатом платке ступила на крыльцо.

— Ох, нянюшка, нянюшка! — вскричал Андрей, бросившись к ней с распростертыми объятиями.

— Позвольте-с, батюшка Андрей Александрыч! — прервала с важностью няня, не допуская его к себе рукой. Потом, сотворив молитву, продолжала, не переводя духа, как рядовой, когда, сменившись с часов, доносит старшему: — Варвара Лукинишна изволила прислать меня к вашей милости доложить, дескать, что она не верит-с наговорам людским и хочет, дескать, сама проститься с вашей милостью у Ольгина пруда-с.

— Я был уверен, — произнес с восхищением Горбунов, — что Варенька мне не изменит! здорова ли она?

— И! батюшка Андрей Александрыч! — ответствовала Ивановна, перешед к обычной говорливости, — не дай бог и ворогу! Пришел вчера барин, ни слезинки не выронила. Чуть он за дверь, бросилась на постелю и ну плакать! И к ужину не пошла-с, не изволит кушать, моя сердечная, на свет божий не глядит, все горюет. Уж я-то с ней примаялась: и кивот устала свечками, и перед Спасом клала земные поклоны, и ей-то говорю: «Не губи себя и нас, дитятко! Не греси против бога! Милость господня велика! Все переменится! Не думаешь, не гадаешь, жених твой поведет тебя к венцу». Нет! ничего не помогло: мечется, родная, из стороны в сторону, только и молвит всего: «О, мой бедный Андрюша!» Не погневайся, ваша милость! Наконец, к свету, слава тебе господи, немного уснула.

Андрей, у коего при слушании сего рассказа, в котором каждое слово говорило о любви Варвары, навернулись слезы умиления и участия, молвил: «Присядь, няня! Ты, чай, натошак. Обогрейся, напьемся вместе чаю!»

— Покорно благодарим-с, батюшка Андрей Александрыч! но мешкать-то мне некогда-с. У девиц сон, изволишь видеть, недолог: барышня, чай, пробудилась и меня дожидается. Прощенья просим, батюшка Андрей Александрыч!

Вскоре после отъезда Ивановны подвели оседланных коней к крыльцу. Многолюдная челядь, старый и малый, столпилась перед домом проститься с молодым барином. Андрей в дорожной однорядке, с ружьем, прикрепленным к седлу, и парой заряженных пистолетов в чухках, предосторожность, без коей в то время не выезжали из дому, сопровождаемый Николаем Федоровым в широком плаще, по отслушании молебна, иных допустив к руке, иных приветствовав, кого милостивым словом, кого наклоном головы при благословении отца Григория и желания счастливого пути от двора, оставил Воздвиженское.

Вскоре показались березы, осенявшие Ольгин пруд. Горбунов ускорил бег коня, завидев между березами нечто белеющее. На сем самом месте он встретился с Варварой впервые, когда с веселой беспечностью красовалась как пава в толпе сверстниц. Накануне еще счастье играло на ее щеках: ласкавшие воображение мечты так были сладостны. Тут же, бледная, с впалыми от бессонной ночи очами, цветок, убитый морозом, представилась ему тенью прежней Варвары.

— Я хотела видаться с тобою, мой милый, — сказала она медленно, когда, соскочив с аргамака и бросив поводья Николаю Федорову, Андрей побежал к ней, — проститься с тобою, прежде чем нам расстаться.

— Злые люди разлучили нас, Варенька! Но ненадолго. Я обнаружу коварство, выведу на свет все козни. Прошу тебя одного: успокойся, крепись и надейся на бога! Враги мои сильны, но господь не попустит восторжествовать неправде.

— Ах, дай бог, — промолвила Варенька со вздохом, набожно сложив руки. — Куда ты это едешь, друг мой?

— Теперь в Тихвин, потом должен буду отправиться в Санкт-Петербург.

— О да сопутствует тебе господь и пресвятая богородица! — вскричала она, бросившись к нему и обливая его слезами. — Друг мой! бабушка, умирая, благословила меня этим образом Иверской божией матери. — Тут надела она на него оправленный в золото образок. — Да сохранит он тебя от всякой напасти! носи его в память своей Варвары, молись ему. И я с тобой буду молиться!

Они слились устами и несколько времени пробыли обнявшись. Наконец, Андрей, более твердый, с тяжелым вздохом отторгнулся от любезной. Медленно удалился, долго еще не покидал Варвары взорами. Наконец, образ ее становился час от часу меньше, меньше, исчез белым пятнышком в туманной дали, и Горбунов, болея сердцем, понесся по излучистой дороге.

На четвертые сутки, время было пасмурное, при въезде в дремучий бор Николай Федоров, который, чтоб разогнать грусть барина, не раз уже заводил речь и не получал ответов, молвил будто про себя: «Слава тебе, господи, наконец доехали. Авось господь приведет сегодня ночевать в Тихвине».

— Разве мы недалеко от города? — спросил Андрей.

— Этот лес тянется под самый Тихвин, — отвечал дядь-

ка. — Здесь, бывало, в старые годы, Андрей Александрыч, не приведи бог, проезда нет ни днем, ни ночью. Только и слышать о разбоях. Иначе не отправлялись как обозом, а солнце еще высоко, а уж смотрят, как бы добраться до ночлега. Купец ли с товаром, крестьянин ли с запасом приедут в Тихвин, прямо с воза в церковь отслужить молебен пресвятой богородице, что ее заступлением остались здравы и невредимы.

Едва он кончил, раздался выстрел. Николай Федоров повалился с коня. Андрей хочет броситься к дядьке на помощь; другая пуля просвистела мимо его ушей, и аргамак, почуяв опасность, взвился на дыбы и помчался вихрем. Горбунов опомнился только, чтоб услышать за собой погоню. Оглядывается, три всадника, с ног до головы вооруженных, скачут за ним во всю прыть. Мешкать было некогда, сопротивление невозможно. Поворачивает на выходившую из леса тропинку и отдает себя на волю коня. Под ним свидетели многих поколений, покрытые мхом и сросшиеся с землею при звенят от копыт, листья хрустят, ветви хлещут, царапают лицо; впереди трущоба все чаще, чаще, темная и в ясное солнце, тогда же еще мрачнее; над головой носятся тяжелым полетом тетерева, испуганные необычайным шумом, и вороны карканием приветствуют наступление сумерок. Но Андрей ничего не слышал, не чувствовал; мыслил только о сохранении жизни. Наконец лес стал редеть, конь умерил бег, и всадник перевел дух. Тут впервые пришлось ему на память случившееся: вспомнил о дядьке и горько заплакался. Николай Федоров учил его ходить, лелеял его детство, ходил за отроком и потом служил ему так усердно, как только мог. Из многолюдной челяди, которая досталась ему в наследство после дяди, Николай Федоров был один предан ему душою, один знанием обстоятельств семейных мог пособить ему в тогдашнем положении. Тяжело вздохнув, «да будет воля твоя, боже! — произнес он наконец, — дай ему царство небесное! благодарю тя, господи, что меня спас от руки злодеев». Между тем ночь спустилась на землю. Андрей очутился на небольшой поляне и, завидев вдали огонек, чувствуя нужду в отдохновении себе и коню, тихой рысью пустился к одинокой в лесу избе. Он въехал в околицу, привязал коня к изгороди. «Нельзя ли у вас, голубка, пообогреться и перекусить чего-нибудь?» — спросил у женщины, которая на стук в окно вышла к нему с горящей лучиной.

Незнакомка несколько времени смотрела ему в лицо, как бы удивленная, что видит странника в такой глуши, и наконец отвечала: «Взойди, кормилец!»

Изба, в которую ступил Андрей, ничем, кроме обширности, не отличалась от тех, какие видим ныне в деревнях. Но кровать под холщовым занавесом, заменявшая полати, окна, в которых вместо стекол были кусочки слюды, скрепленные выведенными в узор жестяными пластинками, и несколько медной посуды на полках показывали, что хозяин не простой поселянин. Между тем как странник с любопытством и сомнением осматривал место своего ночлега, хозяйка положила на стол каравай хлеба, поставила с солонкой вынутую из большой печи корчагу щей, горшок гречневой каши и, поклонившись, молвила: «Милости просим, батюшка! Кушай на здоровье! Чем бог послал!»

Утолив первый позыв к пище: «Неужели ты здесь, молодка, одна?» — спросил Андрей у хозяйки, которая, приклонившись к печке и подперши голову рукою, на него глядела.

— Мать со мною, кормилец: живет — не живет. Злая немочь мучит сердечную: ноги не поднимет, рукой не пошевелит, языком не перемолвит. Хозяин уехал в Тихвин да замешкался. Чай, сегодня уж не будет.

— И тебе не страшно оставаться одной в таком захолустье? — продолжал Горбунов. — Кругом жилья не видать, а в лесу у вас беспокойно.

— Эх, родимый, — ответствовала хозяйка. — От лихого человека нигде не убережешься! Мы жили в городе, да и там злые люди подожгли избу. Ночью тревога, оборони бог! Все дотла сгорело; сами еле живы остались. Здесь же милует господь. Вот уже полтора года ничего не слыхать!

— А далеко ли отсюда до города?

— А бог весть! Мы сами туда не ездим. Бают, коли до свету отсюда выедешь, приедешь в Тихвин к обеденной поре.

Скромный ужин кончился. Горбунов помолился и, бросив несколько копеек на стол, промолвил: «Спасибо, голубушка, за хлеб, за соль!»

— На здоровье, батюшка, — ответила молодница. — Что это? Деньги? Возьми их назад, кормилец! — продолжала она с неудовольствием. — Слава тебе, господи! И без твоих копеек есть у нас чем накормить проезжего!

Между тем в люльке, повешенной на длинном, при-

крепленном к печи шесте, запищал младенец. Мать поспешила успокоить его грудью. Андрей, измученный дорогой и тревожностями дня, пустив коня свободно по двору, положил к себе в головы, в углу избы, под иконами, седло, протянулся на лавке и, пожелав хозяйке доброй ночи, скоро заснул глубоким сном.

Перед рассветом пробудил его внезапный блеск. Глядит, не верит глазам. Старуха, бледная как мертвец, у коей лета и болезнь избороздили глубокими морщинами лицо, осененное длинными космами седых волос, в беспорядке ниспадавших из-под изорванной кички, в рубище, до половины прикрывавшем иссохшую грудь, держа дряхлую рукою горящую лучину, вперила в него серые, сверкающие очи. Невольный холод обнял Андрея. В ребячестве он слышал о ведьмах, колдуньях, леших, всех существах, коими досужее воображение наших предков населяло мир мечтательный. Существованию их тогда верили, и Андрей разделял заблуждения современников. Ободрился, однако ж, заметив, что старуха творит молитву: нечистая-де сила боится креста. Привстал и хотел было приветствовать мнимую колдунью, но она подала знак к молчанию и, схватив его окостеневшими пальцами за руку, вывела на двор.

— Что за нелегкая принесла тебя сюда? — сказала она осиплым голосом, между тем как Андрей седлал коня.

— Еду в Тихвин, бабушка, и сбился с дороги.

— А зачем тебе в Тихвин? — продолжала старуха.

— Долго рассказывать. Не слыхала ли ты про отца Петра?

— А на что тебе отец Петр?

— Послушай, бабушка, — молвил вместо ответа Андрей. — Жил здесь в Тихвине стольник Горбунов...

В это время послышался поблизости конский топот. Старуха, вероятно, от испуга, зашаталась и, как показалось Андрею, упала. Он сидел уже на аргамаке и, вообразив, что подъезжают разбойники, накануне за ним гнавшиеся, быстро понесся по тропинке, ведущей в Тихвин.

ГЛАВА IX

На берегах Невы красовалась новая столица России, возникшая по мановению Петра из болот финских и уже в то время, семнадцать лет после основания, обширностью и красотой изумлявшая иноземцев. Весь левый берег

реки от Смольного двора, где ныне Смольный монастырь, до Новой Голландии был застроен. В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-Интендантская контора), Литейный двор, не переменявший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство, здание глиняное с деревянным шпиком и двуглавым орлом на вершине, окруженное валом и рвом, каменный Исаакиевский собор, в то время еще не достроенный, и, наконец, на месте нынешнего Сената, австрия князя Меншикова. Вообще странная пестрота и разнообразие: дома каменные подле деревянных или мазанок, построенных из фашиннику и глины; крыши железные или муравленой черепицы подле тесовых; здания высокие с мезонинами, бельведерами, четвероугольными и круглыми, всеми затеями тогдашней причудливой архитектуры, обок низких лачужек. Великолепные ныне Малая Миллионная и обе Морские заселены были адмиралтейскими служителями, завалены лесами, канатами, смоляными бочками. Левую сторону Невского проспекта, и в то время уж обсаженного деревьями от мостов Зеленого (Полицейского) до Аничкова, занимали иноземные ремесленники: на правой виднелись Гостиный двор (ныне дом графини Строгановой) и деревянный собор Казанский божия матери. Пространство от Аничкова моста до Александро-Невского монастыря, тогда еще строящегося, занимали слободы Аничкова, заселенные солдатами его полка, и Ямская. Из прочих зданий в сей стороне замечательны были на левом берегу Фонтанки Итальянский дворец, в коем до вступления на престол жила императрица Елисавета, и дом графа Шереметева, еще не dokonченный. Впрочем, Адмиралтейская сторона, составляющая ныне главную часть Петербурга, почиталась тогда предместьем: центром города была так называемая Петербургская сторона. Там, кроме крепости, еще деревянной, с множеством ветряных мельниц на валу, и соборов Петропавловского и св. Троицы, красовались, между прочим, каменные палаты графа Головкина, Брюса, Шафирова, князей Долгоруких, Кикина и особенно дом князя-папы, Ивана Ивановича Бутурлина, замечательный по колоссальному Бахусу на бочке, занимавшему в крыше место фронтона. Впрочем, на нем не было ни колонн, ни фронтонов, никаких вообще украшений, которых

требует от больших зданий изящная простота нынешней архитектуры.

Но все строения Петербурга превосходил великолепием и обширностью на Васильевском острове дворец владетельного князя Ингрии, Эстонии и Ливонии генерал-фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, составляющий ныне часть стороны 1-го кадетского корпуса, которая обращена на Неву. Сей любимец Петра, самый усердный, самый деятельный его сотрудник в подвиге преобразования России, красавец телом, исполин духом и умом, на поле бранном отважный ратник, прозорливый полководец, в Государственной думе советник проницательный, дальновидный, исполнитель без медления, усталости и отдыха, по уставу природы, которая, дабы явить беспристрастие, не раздает доблестей великих без великих слабостей, имел главным недостатком непомерную, с каждым днем усиливающуюся алчность почестей и корысти. От сего покровитель щедрый, заступник ревностный своих приверженцев, гонитель непримиримый противников стяжал себе в кругу первостепенного русского дворянства многочисленных врагов. Пока жил Петр, пока властвовала Екатерина, высокий, корпистый дуб смеялся бурям, бушевавшим у подошвы и не дерзавшим сизгать до вершины, в державу Петра II и рухнул, на высоте могущества не столь великий, как в падении, когда на крае земли, во льдах Сибири, некогда нареченный тесть императора, с духом покойным и ясным челом, полудержавными руками срубил церковь, в которой и покоятся останки Великого.

В отдаленной половине князева дома, в небольшой слабо освещенной комнате, сидели у круглого стола за кубками вина двое мужчин; один, развалившись в широких покойных креслах, другой против на стуле, являя в наружности середину между почтительностью и простым обращением.

— Ну, Терентьич,— сказал первый, полня кубок собеседника,— перестанешь ли, наконец, трусить? Ведь в Сенате решили и приговорили дело по-нашему.

— Да еще не подписали, Степан Михайлыч! Не хвалился о утрие, не веси бо что родит находяй день, гласит премудрый царь Соломон. По моему разумению, дело тогда кончено, когда увижу благодатную подпись и с п о л н и т ь. Горбунов здесь и завтра, изволите видеть, хочет подать новую челобитную в

Сенат. А ведь он был в Тихвине, и кто ведает, не доискался ли следа?

— Полно тебе прикидываться! — возразил первый, в котором читатели наши, конечно, узнали Белозубова, — толкуй другим! Мне ли тебя не знать? Что ты завяжешь, того и сам лукавый не распутает.

— Молодец-то не таков, Степан Михайлыч, чтоб его легко провести, — молвил Терентьич. — С ним держи ухо востро. Но меня более беспокоит Николай Федоров. Наши, как его повалили, до ночи гнались за барином; воротились, ан убитого на дороге нет. Справлялись в околотке, а там и видом не видали, и слухом не слыхали.

— Вздор, братец! Все пустое мелешь, — прервал Белозубов. — Ну кому придет в голову, что это твое дело? Ты, вишь, виноват, что по дорогам грабят и убивают проезжих?

— У вас все вздор, все пустое, — сказал тоненьким голосом Терентьич, — и не диво, вы за стеной. Придет до расправы: Степан Михайлыч в стороне, а Терентьича, раба божия, потянут на дыбу. Степан Михайлович ни о чем не знает, не ведает, Терентьич за все про все отвечает!

— Ах ты, негодная приказная строка! — вскричал в гнев Белозубов. — Смотри, пожалуй, он еще недоволен. Много ли ты выслужил в десять лет у Бердыша? Явился ко мне оборванный, в истертом кафтане, гол, как ладонь. Посмотри же теперь на себя. Иной с виду и впрямь подумает, что ты человек порядочный!

— Да я не жалуюсь, Степан Михайлыч, — пропищал подьячий. — Вы есть и были мой милостивец. Оно только так, к слову пришлось.

— Однако ж, — молвил Белозубов, — шутка плохая, если Горбунов успеет до подписи приговора подать свою челобитную. Съезди-ка завтра раненько к обер-секретарю.

— Да, изволишь видеть, Степан Михайлыч, народ-то у вас больно мудрен. У нас в воеводстве, будь лишь в деле замешана казна, она уж непременно выиграет, дари не дари. А здесь говорят тебе: царь-де не хочет неправосудия. Что казенное, то казенное, что обывательское, то обывательское. Намеднись нелегкая понесла меня намекнуть обер-секретарю о благодарности, он взбеленился и так на меня напустил, что я не знал, куда деваться. Жизни не рад, что обмолвился.

— Бестолковая голова, — прервал Белозубов. — Тебе только и таскаться по уездным да воеводским канцеляриям. Вели-ка завтра заложить в одноколку пару моих вятских.

Когда будешь у обер-секретаря, постарайся в разговоре притащить его к окну да невзначай заведи речь о лошадях. Он неравно спросит о цене. Я заплатил за них сто рублей; ты же скажи, они тебе стоят пятьдесят, а с него-де возьмешь половину. Он тебе даст обязательства, может быть, выложит чистые. Улики нет, он-де купил и прав. А о деле уже не поминай и не беспокойся! Он не бит в темя, и не тебе его учить! Сам сумеешь все сладить.

— Век живи, век учись,— отвечал Терентьич, взявшись за шляпу.— Покорно вас благодарю, Степан Михайлыч!

— Выпей последнюю на сон грядущий,— промолвил Белозубов. Они осушили в заключение беседы по кубку вина и разошлись на покой.

ГЛАВА X

На другой день после приведенного нами разговора Андрей явился у сенатского обер-секретаря Приволгина. Немногим пособила ему поездка в Тихвин. Неопытный, утратив в Николае Федорове полезного советника, который помог бы ему в розысканиях, сам ничего почти не узнал. Отец Петр скончался за два месяца. Из дворовых людей его отца одни, поступив с имением в казенное ведомство, были усланы, другие сами разбрелись в разные стороны. О бывшей мамке Палагее Тихоновой не умели также сказать ему ничего верного. Жила в Тихвине, была больна и, как полагали, сгорела во время пожара. Одно показалось ему замечательным: с Тихоновой жила девка, слышавшая под именем ее дочери, меж тем как Терентьев в извете показывал, что ее дочь умерла вскоре после рождения, но и сие обстоятельство, одно, основанное на слухах, ни к чему не могло ему послужить. При всем том, однако же, решился обороняться, сколько мог. Изложив все подозрения свои в лживости извета со смелостию, внушенною чувством правоты и грозившей ему крайностию, явился с челобитною, как мы выше сказали, у обер-секретаря.

Приволгин, мужчина лет пятидесяти, важной, строгой наружности, принял Андрея с возможной вежливостию, снисходительно выслушал его объяснения, дал ему несколько полезных советов. Андрей, очарованный сею приветливостию, сообщил ему свою челобитную. Обер-секретарь, прочитав ее, похвалил бесстрашие юноши. «Государь наш,— продолжал он,— хочет правды и, не

сомневаюсь, обратит внимание на ваше прошение. Долг службы воспрещает мне сказать вам, в каком состоянии дело, но, принимая участие в вашем беззащитном положении, позволю себе присоветовать, повремените несколько дней. Люди не без слабостей, и, чтоб успеть с ними, надобно им несколько потворствовать. У нас же скопилось ныне множество дел. Вашу челобитную примут, потому что не могут в этом отказать, но примут с предубеждением. Впрочем, не принимайте совета за понуждение, я нимало не хочу стеснять ваших поступков, действуйте, как заблагорассудите, я сказал только вам свое мнение, основанное на знании лиц, от коих зависит участь дела». Андрей, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, последовал совету столь благонамеренному, и через несколько дней, пришед в Сенат для узнания об успехе, получил от Приволгина обратно, к великому его сожалению, свою челобитную с надписью, что дело уже решено.

Знакомо ли вам, любезные читатели, состояние души после сильного непредвиденного удара, когда вся кровь поднимается к сердцу; вас что-то давит, душит, жжет; исчезают мысль, память, все чувства; минувшее, настоящее, будущее сосредоточиваются в гнетущее вас несчастье? Состояние убийственное, которого человеческая природа не могла бы выдержать, если б, по благодати провидения, оно не было кратковременным. В таком положении был Андрей, когда вышел из Сената. Ничего не помня, не видя, не слыша, он быстро несся из улицы в улицу, из переулка в переулок, куда, зачем? Сам не ведая. Солнце садилось. Он почувствовал усталость и, увидев перед собою открытое здание с надписью «А в с т е р и я е г о ц а р с к о г о в е л и ч е с т в а», вошел туда для отдыха.

Образ жизни наших дедов был не тот, что ныне. В царствование Петра I присутствие в казенных местах начиналось летом в шесть часов, кончалось в двенадцать. Государь вставал в три часа утра, в четыре выходил для обозрения городских работ и возвращался во дворец около полудня; а дабы от девятичасового воздержания не ослабеть, повелел учредить в трех концах города трактиры, куда заходил перекусить: один в своем кабинете редкостей (ныне Музей императорской Академии наук), находившемся в то время у Смольного двора, другой неподалеку от тогдашней Канцелярии Сената, на площади собора св. Троицы (что на Петербургской стороне), а третий поблизости от Адмиралтейства, где ныне здание Сената.

Последние два трактира назывались австери́ями — первая царской, вторая австерией князя Меншикова, потому что сей вельможа, переправляясь чрез Неву из своего дворца на Адмиралтейскую сторону, к ней всегда приставал. Обыкновенный завтрак Петра состоял из рюмки водки и куса ржаного хлеба с солью. Все люди, порядочно одетые, имели право на вход в австерию и на ту же порцию, которая и выдавалась им за счет государя. За прочие требования платили по таксе, подписанной самим царем. Петр поощрял собрания в австериях, полагая оные в числе средств к сближению сословий, дотоле разделенных местничеством.

Андрей вошел в обширную приемную. За решеткою, как в иностранных трактирах, стоял хозяин, толстый, румяный мужчина, впереди множество слуг, готовых к удовлетворению требований гостей, на столах в разных концах залы бутылки с винами, табак, голландские глиняные трубки, шашки и шахматы. Кругом в облаках дыма люди, высокие и низкие чином, военные, статские, шхипера, иностранные ремесленники играют, беседуют, шумят, спорят.

Андрей сел отдельно в углу и, подперши голову руками, погрузился в думу. Тут представился ему весь ужас его положения. Давно ль, вотчинник обширных поместий, он был одним из самых значительных лиц в округе, ныне — безродный, бесприютный сирота: ни кровных, ни друзей, никакой помощи, утешения, нечего терять, не на что надеяться. Одно существо во всем мире его любило, одно принимало в нем участие, и с ним он был разлучен, может быть, на всю жизнь. «Бедная Варенька, — помыслил он, — тебя ласкает теперь надежда, что твой Андрюша разрушит ков злых людей; что станет с тобой, когда узнаешь, что он жертва их ухищрений? Изноешь, сердечная, от тоски!»

Погруженного в свои грустные мысли пробудил раздавшийся позади радостный клик: «Горбунов, любезный Горбунов!» И с сими словами высокий мужчина в мундире Преображенского полка бросился к нему не шеею.

— Здравствуй, Желтов, — молвил Андрей медленно, оправившись от первого изумления, — но не зови меня Горбуновым, а то неравно обнесут тебя как преступившего царский указ.

— Что с тобой, любезный, — вместо ответа спросил с беспокойством воин, глядя собеседнику в очи, — ты не болен ли, мой милый!

— Ах, как бы я хотел, чтоб это был бред горячки,— сказал со вздохом Андрей.— К несчастью, говорю горькую истину: я более не Горбунов!

— Изъяснись, пожалуй! что такое?

— Тяжко говорить об этом,— отвечивал Андрей.— На, читай, все узнаешь,— и при сем подал ему из бокового кармана бумагу.

— Друг мой,— сказал Желтов, прочитав и возвращая Андрею челобитную,— дело твое, правда, не в завидном положении, но отчаиваться и грешно и стыдно. Уверять мне тебя в искренности лишнее. Я еще помню, что ты в Новгороде избавил меня от розог и позора. Послушайся же доброго совета. Рано ли, поздно ли тебе надобно служить: вступи к нам в полк. Царь, слова нет, доступен для всякого, но служба в полку, которого он шефом, ты будешь иметь более случаев лично с ним объясниться. Притом он любит людей грамотных. Я, помнишь, был в школе плохой ученик, а теперь поручик от того только, что поучение моих товарищей. А узнай он дело, так тебе и тужить нечего: он правосуден.

— Правосуден,— отвечал Горбунов, горько улыбнувшись.— Помнишь ли, любезный Желтов, в букваре, по которому учил нас чтению дьячок Никандр, в изречениях греческих мудрецов выражение: «Правосудие — паутина, которая задерживает малых насекомых и рвется от больших?»

— Нет, уж воля твоя, голубчик, а за это я тебе ручаюсь, что никакие козни, никакое лицепритие на него не действуют. Не спорю, он может погрешить, но от неведения. Расскажи же ему дело, как оно есть, и он, не стыдясь сознания в ошибке, сам переменит свое решение. Право, послушайся меня, запишись к нам в службу!

— Любезный,— молвил Андрей в половину убежденный,— и этого мне теперь нельзя сделать. Злодеи принуждают меня отречься от своего отца. Под каким именем явлюсь я к вам в полк?

— За этим дело не станет! Я представлю тебя под именем Б е з ы м е н н о г о. Да где ты здесь живешь?

— На постоялом дворе, который при въезде первый мне попался.

— Этому быть не должно! Я ведь у тебя в долгу, любезный! Ты меня ссудил в час нужды всем, что имел. Переезжай ко мне! Нечего совеститься! — продолжал Желтов, заметив, что Андрей хотел возражать.— Я не тот бедняк,

что был в школе; с наступлением совершеннолетия уволили почтенного дядюшку от опеки и теперь, слава богу, не без достатка. Да полно тебе кручиниться! Увидишь, все кончится благополучно! Эй, бутылку иоганисберга! — закричал он слуге. — Обновим, друг мой, приязнь стаканом рейнского!

Нежданная встреча с Желтовым оживила убитого грустью. Согретый дружбой и вином, Андрей поуспокоился и вышел из австении рука об руку с приятелем, решив облечься на другой день в солдатский мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

ГЛАВА XI

Внутренний быт владельцев села Евсеевского изменился после разрыва с Горбуновым. Княгиня, приехавшая ко дню совершеннолетия племянницы, задержанная ее сговором, воротилась в свою ярославскую вотчину. Лука Матвеевич делил время между псарней и конским заводом. Варвара была уже не Варварой-невестой. Тихая грусть сменила прежнюю живую, беспечную веселость: в гостинной являлась только перед столом, прочие же часы дня проводила или в своей светелке за пальцами, или у Ольгина пруда, где впервые и впоследствии свиделась со своим Андрюшей. Но и тут качели висели в покое или колыхались разве только от ветра, не слышалось песен, какими, бывало, оглашался берег, не было, как прежде, резвой толпы девушек, коих невинные забавы обманывали время, или с Ивановой находила облегчение от тоски в воспоминаниях о былой счастливой поре.

Белозубов, по удалении соперника частый гость Евсеевского, был принужден отправиться по делу Горбунова в столицу, решил во что бы то ни стало убедить Луку Матвеевича к переезду в Петербург. «Пока я здесь, — мыслил, — Варвара моя, уезжай я, кто мне порукой, что не найдется новый Андрей, который похитит у меня и ее, и Евсеевское? К тому же тут все напоминает ей о прежней связи. В столице же, окруженная предметами новыми, среди забав и рассеяния, скорее забудет возлюбленного и охотнее выслушает предложение о новой женитьбе».

Государь Петр I ходил сам в толстом сукне и заплатанных башмаках, предпочитая щи, солонину и ржаной хлеб блюдам утонченной французской кухни, но хотел, чтоб окружающие его лица жили с пышностью, соответствен-

но их звания. Князь Александр Данилович, носивший титул владетельного, в угодность царю и собственному честолюбию устроил дом свой по образцу мелких немецких государей. На его половине пажи, камер-юнкеры, камергеры; на половине княгини — фрейлины, камер-фрейлины, вообще все придворные чины. Белозубов в награду за отторжение у Горбунова села Воздвиженского с деревнями исходатайствовал у князя для будущей своей супруги звание фрейлины его двора. Отъезд княгини Ирины Матвеевны способствовал его замыслам. Уже издревле знатные бояре имели обычай держать у себя во дворе молодых дворян, мужчин и девиц, под именем знакомцев и подруг, и сие звание нимало не было унижительным. Но Меншиков вышел из низкого звания — пятно неизгладимое в очах коренных русских дворян. Княгиня, числившая между предками немало бояр, вдова одного из знатнейших сановников при дворе царя Алексея, не дозволила бы племяннице, в укор своему роду, служить у вельможи, который обязан был возвышением одному себе. Лука Матвеевич сам был не без спеси, но, покорный внушениям чужим, любя дочь нежно, в надежде, что забавы столичные прогонят ее тоску, не мог противустоять приглашению князя Александра Даниловича. За несколько лет перед тем повелено было дворянам, владельцам известного числа дворов, иметь дома в новостроившемся Петербурге. В одно утро Лука Матвеевич под предлогом обозрения своего дома, сев с дочерью в старинную, веером сделанную колымагу на цепях и низких колесах, со всею челядью, начиная от няни Ивановны до шестидесятилетней дуры, забавлявшей в молодости барыню-бабку и на старости разгонявшей грусть внушки, от толстого дворецкого до карлы, со стаей псов и табуном верховых и цуговых коней, длинным обозом потянулся в Петербург.

Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная Арсеньева, была из самых почтенных жен своего века. Душевно преданная супругу, любила в нем не светлейшего, не генерал-фельдмаршала, а Александра Меншикова. Не ослепленная блеском почестей, ведая, с какими они сопряжены опасностями, проводила дни и ночи в страхе, чтоб чрезмерное его могущество не рушилось на погибель всего семейства. Но бессильная к обузданию властолюбивой души князя, в угодность ему несла бремя величия с притворным удовольствием. Предчувствия ее сбылись наконец, и когда чрез несколько лет гроза разразилась над домом

Меншиковых, в рыданиях о муже и детях выплавав очи, вскоре за зрением утратила в ссылке и жизнь.

Княгиня, коей нетрудно было отгадать причину тоски новой фрейлины, обходилась с нею весьма ласково. Но сия снисходительность не возвратила Варваре веселости; тайная грусть грызла сердце. Любовь к Андрею, освященная религией, казалась ей долгом; измена жениху, и жениху, терпящему напасть, — смертным грехом. Посему-то покорная во всем воле родителя, в этом одном дерзнула ему воспротивиться. Частые посещения Белозубова, в коем видела гонителя Андрюши, внушили ей подозрения, кои утвердились при поездке в Петербург и вступлении в дом князев. Лука Матвеевич не смел говорить дочери ясно о новом женихе, но позволил Белозубову искать ее благоволения, и сей, мужаясь заступлением своего милостивца, уже не скрывал притязаний на ее руку. К тому же об Андрее — совершенное неведение или слухи более горькие, чем самая неизвестность. Наконец, даже Ивановна, дотоле поверенная в печали, переменила речь: «Не промаяться же тебе, мое дитяtko, весь век сиротой. Андрей Александрыч, нечего сказать, пригож, да если он и впрямь не дворянин, без рода, без дома: ни за ним, ни перед ним? Не таскаться же тебе с ним по миру. И Степан Михайлыч, чем не жених? Еще не стар, в чести у людей, а уж как тебя любит! Так и глядит тебе в глаза. Свыкнешься, влюбишься, моя родная».

Так Варвара, предоставленная самой себе, одному богу открывала свою горесть, мешая в молитвах со своим именем имя Андрея.

Одним утром, когда Варвара сидела за пальцами в кабинете у княгини Марии Андреевны, явился паж с докладом о приезде царицы. Тотчас вслед за ним взошла и государыня, так что застала еще фрейлину в комнате. По ее удалении, «я никогда еще не встречала у вас этой девицы», — сказала Екатерина, после того как княгиня облобызала ей руку.

— Она с небольшим неделя, как ко мне поступила, ваше царское величество.

— Кто она такая?

— Дочь соседа князева по имению; тиха, скромна, мастерица, шить, и я ею очень довольна.

— Ее наружность меня поразила. Какое у ней бледное, жалкое лицо!

— Она действительно достойна сожаления, государы-

ня! Ее, бедненькую, отторгнули от жениха и, кажется, хотя против воли выдать за другого.

— И вы, княгиня, ужли не употребите своего влияния, чтоб тому воспротивиться?

— Ваше величество,— грустно сказала княгиня, потупив взор,— есть вещи, в которых Мария Меншикова не имеет голоса.

— Признаюсь,— продолжала царица,— ее наружность возбудила во мне большое участие.

— Государыня! Одно ваше слово может возратить ей покой и радость.

— Пришлите ее завтра ко мне,— молвила Екатерина.

ГЛАВА XII

Рано испытанная превратностями рока, Екатерина, едва умея грамоте, из дома сельского ливонского пастора перешла на престол и явилась на нем достойною супругою русского царя. Величественная осанка, высокий рост, гордая поступь, взор живой, пламенный, всегда сохранявший должную важность, уже означали монархиню сильного народа. Но блестящая наружность исчезала при великих качествах души. С добросердечием неистощимым, с ангельскою кротостию Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Ее одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей и направлять ко всему великому, возвышенному. Сим неизменным поведением Екатерина приобрела над Петром влияние, которое удержала почти до самой его кончины. Властитель России, изумлявший мир железною волей и нравом непреклонным, становился агнцем перед слабой женщиной. И никогда не употребляла она во зло своего влияния! Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей. В приемных ее комнат непрестанно толпились матери, жены, дочери опальных: прибегали к заступнице несчастных, к матушке Екатерине Алексеевне. Она не всегда могла исполнить их просьбы, но всех отпускала с милостивым словом, иногда со слезою участия, пролившего утешение в души страдалиц.

С 1711 г. Екатери́на редко разлучалась с супругом. Весь турецкий поход проводила дни на коне, в мужском платье,

вперед войск, ночь же под шатром или не раздеваясь на голой земле, под открытым небом; в сражениях находилась обок государя. В минуты тягостные, когда Петр, усталый от борьбы с препятствиями, какие отовсюду предстояли его великим предначертаниям, искал в ее беседе отдыха, увещеваниями, поощрениями, упреком подкрепляла изнемогавшего, пробуждала мгновенно засыпавшую в нем твердость. Екатерина на берегах Прута спасла русское войско, сохранила Петра для России. Целя душу супруга, целила и тело. Известно, государь Петр I от отравы, данной ему в молодости, подвержен был припадкам иступления. В беседах, на пирах волосы его вдруг становились дыбом, глаза наливались кровью, изменившееся лицо подергивало в разные стороны, пена у рта, скрежет зубов, крики, подобные звериному реву, наводившие ужас на самых бесстрашных. В эти грозные минуты, когда никто не дерзал предстать перед больным, Екатерина, подошедши, склоняла его голову к себе на грудь и усыпляла иступленного, тихо водя по ней рукою. Сей род магнетического сна, длившегося не более четверти часа, возвращал государю здоровье и веселость. Но всего в ней удивительнее ничем нерушимый, ни в каких обстоятельствах не падавший дух. Однажды, незадолго до кончины, Петр, сильно разгневанный, влечет ее к окну и, ударив в окончину, в то время как окно с треском рухнуло, говорит, указывая на разбитые стекла: «Видишь ли — это презренное вещество, облагороженное искусством человека? Оно потускло, и мне стоило только поднять руку для его сокрушения. Я, правда, окровавил руку, но его обратил в ничтожество». Сие мгновение было решительным. Екатерина знала, что стоит на краю гибели, и с ясным челом, с обычною на устах улыбкою отвечает: «Не гораздо ли достойнее вашего величества пощадить слабого и не являть могущества перед ничтожным?» Обезоруженный сим спокойствием, Петр обтер слезы и, обняв ее, сказал: «Бог тебе, Катя, судья, а не я. Тяжко мне на сердце, но... забудем прошлое».

Впрочем, кроме сего неприятного случая, нарушившего на время спокойствие высоких супругов в 1724 г., жизнь их представляла умирительную картину согласия, и Петр на престоле вкусил сладость счастья семейственного, редкий удел государей. Разведшись в молодых летах с Евдокией, искал развлечения от дел правительственных в обращении с женщинами. Случай свел его с Екатериной;

ее качества привязали непостоянного. Это была первая, единственная его любовь. Тут он впервые стал скрываться перед приближенными. Екатерина жила в Москве, в небольшом домике подле Лефортова дворца. С наступлением вечера государь, улучив время, когда полагал, что никого не встретит, тайком выходил от себя и на другой день, еще с рассветом, возвращался во дворец, дабы являвшиеся по делам не подозревали его отсутствия. Потом, спустя уже долгое время, принимал у Екатерины немногих близких особ: Меншикова, Шереметева, Шафирова. Когда сия взаимная привязанность освятилась узами брака и плоды оного утешили счастливых родителей, внутренность государева семейства являла патриархальную простоту. В 1714 г. Петр, ограничив удельные имения и распределив оные между членами царского дома, назначил для собственных издержек доходы с 900 душ в Новгородской губернии, что, судя по тогдашней ценности имений, едва составляло 9000 рублей. Екатерина вела им расход, и с бережливостью, какую редко встретить в частном быту. Окрока, солонина, пиво закуплены в свое время, дрова на отопку дворца в зиму запасены летом, везде порядок, во всем самая строгая отчетливость. В разговоре, в письмах к супруге Петр не иначе называл ее, как д р у г м о й К а т я ! Сии письма, полные чувства, дышат любовью, которая не ослаблялась годами, а напротив, с каждым днем становилась более пламенною, более романтическою. Некоторые начинают или оканчиваются словами: К а т я ! м н е г р у с т н о . Т е б я н е т с о м н о ю !

Государь всегда почти кушал в семействе. В четыре часа утра, когда уходил, Екатерина с великими княжнами Анной и Елисаветой отправлялись в Царицын сад, потом известный под именем Малого Летнего и ныне принадлежащий к Александровскому дворцу. В сем саду был деревянный павильон, разделенный сквозными сенями на две половины, каждая в две комнаты. На половине великих княжен одна комната была их учебной. Сюда приходили давать им уроки: Феофан — закона божия и русской словесности, Остерман — языков немецкого и итальянского, истории и географии; для французского языка и приятных искусств выписаны были мадам и учителя из Парижа. Смежная с учебною комната заключала в себе птичник великой княжны Анны Петровны: канареек, попугаев, всех птиц стран южных, живых или в чучелах.

Вторую половину павильона занимала сама государы-

ня. В то время вышивание было единственным занятием женщин высшего и среднего сословий. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лавок же модных еще не было, все приготавливалось дома. Посему во дворце, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пядьцами; за ними просиживали по целым дням и царица, и самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на заплечьях крылышки. За пядьцами в широкой соломенной шляпке с заброшенным на тулью зеленым флером, в белой кисейной кофточке и широкой юбке зеленого атласа застала Екатерину представшая ее очам Варвара.

— Здравствуй, милая! — молвила государыня, стараясь ласковой улыбкой одобрить робкую. — На лице твоём написано страдание, и я хотела тебя видеть, чтоб узнать, не могу ли тебе помочь?

— Велика милость вашего царского величества, — отвечала Варвара, кланяясь в пояс.

— Тебя хотят выдать за человека, как я слышала, достойного. Для чего ты не хочешь идти за него?

— Матушка-государыня! Я перед богом была уже обручена; могу ли без греха изменить жениху?

— Суженый твой в милости у князя Александра Даниловича; можешь надеяться на чины, почести.

— Сердцу не прикажешь, ваше царское величество! Будь он знатен и в чести, все-таки он мне не милее моего Андрюши!

— Но если выходит, что твой Андрюша, что ли? как ты его зовешь, не из дворян?

— Он мне жених.

— Слова нет! Но нельзя же быть тебе его женой. Ты сама не захочешь поступить противу воли родительской.

— Матушка-государыня! Знаю, что мне не бывать за Андреем, и несу безропотно свою участь. Молю об одном, — промолвила Варвара, бросившись на колени и залившись слезами, — не разлучайте меня с моим горем, оставьте при мне мое вдовство!

— Встань, милая, — молвила Екатерина, приподнимая лежавшую у ее ног. — Успокойся! Оботри слезы! Мне душевно тебя жаль! Я постараюсь сделать, что могу, хотя не ручаюсь за успех. Впрочем, господь милостив, молись ему! Он тебя не оставит.

Кто из вас, петербургские мои читательницы, чтоб людей посмотреть и себя показать, с наступлением весны не кружил около полудни по тенистым дорожкам Летнего сада? Кто из вас, провинциальные мои читатели, не знает Летнего сада по слуху? Но ныне Летний сад не тот, что бывал в старину. На месте настоящей, великолепной решетки на Неву возвышались три деревянные галереи, к которым приставали приезжавшие в сад, а правом сим пользовались люди всех званий, порядочно одетые. Мостов на Неве в царствование Петра не существовало. Хозяевам домов повелено было, по достатку, иметь известное число лодок. Привязав суда к кольям, коими усажен был берег, посетители сада пробирались по деревянному наместу в галереи, где в дни гуляний встречали их рюмка водки, подносимая с поклоном государыней или великими княжнами, как хозяйками сада, и стол с закусками. Из галерей были выходы в аллеи, прорезывающие сад в длину. На площадках средней, главной аллеи, и в то время украшенной теми же статуями и бюстами, что ныне, с разницею, что они тогда еще сохраняли в целости носы, пальцы у рук, ног и пр., шумели фонтаны. Площадки сии, по званиям лиц, кои собирались на них в праздники, назывались дамскою, архиерейскою и шхиперскою; боковые аллеи уставлены были изображениями окрашенной жести из Эзоповых и Федровых басен: ворон, заслушавшись лису, выпускал изо рта сыр; волк пил из одного ручья с ягненокм; цапля вынимала кость из пасти волчьей; а под изображениями, в науку добрым людям, заключались в четырех или шести стихах содержание и нравоучение басни. Пруд Летнего сада отдан был во владение царского карлы, который разъезжал по нему на раззолоченном челноке в четыре фута длиной. Посреди пруда находился островок, занятый беседкой, в коей за столом умещалось шесть человек. О воскресных днях, когда в саду собрания бывали, отправлялись туда самые отважные весельчаки по плавучему мосту, который вслед за тем снимался. Когда, по осушении покрывавших стол бутылок, в беседке становилось тесно, пирующие — заметьте, по большей части люди высокого сана, первые государственные чиновники — в забаву себе и взиравшей на то публике выталкивали один другого в воду. Вправо от пруда находился грот, выложенный разного рода поростами, мхами

и раковинами, с подробным описанием, где и как они добываются. Сей-то сад служил Петру I местом прогулок забав и отдыха; здесь, отложив величие царского сана, отцом среди многолюдного семейства, гражданином среды сограждан, собеседником между пирующих, государь вместе с ликовавшим народом праздновал победы сынов России, им пересозданной, им вознесенной.

Между высокими качествами Петра особенно замечательна необычная деятельность: ум его не ведал отдыха. Проникнутый святостию великой своей обязанности, царь днем и ночью, в трудах и забавах, в дороге и на месте, в беседах, на пирах изобретал, сочинял, обдумывал способы к возвеличению России. Когда ложился, дежурные денщики клали на стол у изголовья аспидную доску с грифелем; когда выезжал, брали с собой десть бумаги и чернильницу; в токарной, в кабинете редкостей, где ежедневно проводил по несколько часов, приготовлены были очиненные перья и бумаги; даже не раз в прогулки по Петербургу останавливал прохожих и писал, опершись на их спины. Так дорожил он минутами вдохновения, гениальными мыслями своего творческого ума. Неподалеку от Летнего дворца, под дубом, который посадил сам государь, находился стол с аспидною доской и чернильницей, на сей же предмет вделанными в крышке, и ящиком внутри с бумагой; подле кресла и особенный часовой для отклонения нескромного любопытства. Одним утром, недолго спустя по издании указа об учреждении двенадцати коллегий, Петр, ухोдивший из Сената в одиннадцать часов и проводивший дообеденное время в прогулке по саду, сидя за столом, излагал на бумагу предначертания об образовании областных судов. Когда кончил, восторженный мыслью о пользе сего нового постановления, полный благоговения ко всевышнему за видимую благодать его предприятий, положил перо и, вознеся к небу признательные очи, громким голосом произнес следующую молитву:

«Благодарю тя, Господи, что сподобил меня пожать плоды моих усилий! Сердцеведец! Ты зрел чистоту моих помыслов и благословил мои начинания. Свет наук начинает озарять тобою вверенное мне царство. Трудолюбие и довольство проявляются в хижине земледельца. Суд и расправа заменяют произвол. Боже, сыплющий щедрою рукою блага по земли, осени мя твоею мудростию на предлежащем мне пути, укрепи мышцы мои на труд, мне предназначенный, вознеси, возвеличь Россию! Да спеет народ мой

на стезе просвещения, во славу пресвятого имени твоего! Да восторжествует истина, воссядет правда на суде!..»

— Молвишь о правде, а сам не творишь правды,— раздалось в ушах государя¹.

Гром, разразившийся над головою, не столько изумил бы Петра. Озирается, никого не видит, только часовой стоит неподвижно у ружья. Не веря своим ушам, спрашивает: «Что такое?»

— Молвишь о правде, а сам правды не творишь,— повторил часовой.

Изумление государя возросло еще более: «В своем ли ты уме? Помыслил ли о своей голове? На часах под ружьем, а говоришь дерзости неслыханные, и кому — мне, моему государю?»

— Пугай тех, кому есть чего бояться! — отвечал ратник. — Ты отнял у меня достояние, честь, имя, все, что привлекает к жизни... Что мне после того твои угрозы?

— Кто ты таков? Как тебя зовут? — спросил царь, весь пылая гневом.

— Звали меня Андрей Горбунов, ныне я Андрей Безыменный.

— Горбунов? Знаю. Твое дело недавно решено в Сенате. В чем же ты винишь меня? Осудил тебя не я, а закон.

— Закон,— с горькою улыбкою сказал Безыменный,— узда для слабых, а для сильных поощрение к беззаконию! Держись ты закона, приговор мой не был бы подписан.

— Послушай, Горбунов! — молвил царь после некоторого молчания, — мне жаль тебя! Ты малый не глупый и, как я слышал, обучен наукам, а мне таких людей надобно. Доселе никто не слышал твоих дерзостей, кроме меня. Верю, что тебе горько, но не потерплю, чтоб ты продолжал поносить меня и господ Сенат, облеченных моею доверенностью. Говорю тебе, я рассматривал твое дело, и оно решено справедливо. По закону ты уже заслужил смертную казнь, но перестань презорствовать, а я забуду слышанное.

— Велика милость твоя, государь, но я был бы ее недостоин, если б тебя послушался. Мне перестать жаловаться? Отказаться от собственной кровли, отречься от рода, опозорить предков, согласившись, чтоб их потомок прослыл холопским сыном? Робкая голубица боронит гнездо от насилия и бьет крыльями, которые господь дал ей для бегания

¹ Обстоятельство о молитве и слова, вложенные в уста ратника, не вымышлены; любопытные могут в том удостовериться в «Анекдотах о Петре I» Голикова.

от людей, а ты хочешь, чтоб молчал человек? Нет, государь! Урежь мне язык, поставь на дыбу, мучь, рви, терзай, а я до последнего издыхания не перестану твердить, что, осудив меня, ты сотворил неправду.

— Но чем же ты докажешь истину своих слов? — вскричал вспыхнувший снова Петр.

— Доказать не могу, потому что враг сильный отнял у меня все способы, но я указал тебе, государь, путь к истине, а ты им пренебрег, возвратил мне челобитную с надписью, что дело решено.

— Какую челобитную? Я ни о какой челобитной не ведаю.

— Вот она! — отвечивал Безыменный, вынул ее из бокового кармана.

Петр внимательно прочел поданную бумагу раз, другой и, обратившись к часовому, молвил: «Есть тут обстоятельства, которых я не знал, но все одни догадки, ничего положительного. Ты винишь государственного сановника, мужа мне близкого, в злодейском умысле, и, не подтвердись твоё обвинение, подвергаешься за это одно смертной казни. Впрочем, я еще раз рассмотрю дело с господами Сенатом, и если твой извет несправедлив, не прогневайся! Я тебя предостерег. Миша! — закричал он карле, который в это время находился у своего пруда, — пошли мне караульного офицера».

— Г. поручик, — продолжал государь, когда офицер предстал перед него, — этого часового сменить и содержать на гауптвахте до моего повеления! А завтра, при суточном рапорте, напомните мне о деле Горбунова и накажите то же самое офицеру, которому сдадите караул.

При сих словах Петр отправился во дворец, а нашего Андрея отвели под стражу.

ГЛАВА XIV

— Орлов! — молвил государь на другой день одевавшему его денщику. — После моего ухода отправься к князю Александру Даниловичу. Скажи ему от меня, чтоб он не ездил нынче в Сенат, а занялся делами в Адмиралтейств-коллегии. Сам же я туда сегодня не буду. — Засим Петр, сев на ялик, пустился грести к Смольному двору. Пробыв несколько времени в своем анатомическом кабинете, на обратном пути въехал в Фонтанку для обозрения воздвигавшихся на берегах ее зданий, осмотрел строившиеся в

Новой Голландии суда, посетил крепостные работы и, наконец, пристал в виду Царской австерии, почти у нынешнего Троицкого моста. Подкрепив себя, по обычаю, рюмкой водки и куском ржаного хлеба с солью, отправился в канцелярию Сената.

Тогдашняя канцелярия Сената, каменное здание в два жилья, находилась между домиком государевым, что на Петербургской стороне, и собором св. Троицы. Нижнее жилье занимали служители и мелкие чиновники, в верхнем находились архив, арестантская, куда приводили преступников до выслушивания приговора, три небольших покоя для канцелярской и, наконец, судейская. Тут голые стены, всего убранства — портрет государев во весь рост, в раме простого дерева, под стеклом статья из высочайшего указа, что сенаторам, в силу данной присяги, «творить суд и расправу честно, без лицепрятия, совестью и правдой», наконец, длинный, под красным сукном стол, за коим сидели сотрудники Петра в деле правления. На первом месте, в шитом французском кафтане и длинном напудренном парике, старший сенатор, восьмидесятилетний граф И. С. Пушкин, живая летопись трех царств, сороковой год бессменный в Верховной Государственной думе; против, в чекмене зеленого сукна, князь Ив. Фед. Ромодановский, наследовавший от отца титул кесаря, прямодушие, суровость и любовь к старине; подле них в генерал-кригс-комиссарском мундире, уже тогда маститый старец, князь Як. Фед. Долгорукий, прямой слуга и советник царский, коего имя соделалось у потомков знамением бесстрашия и правоты, и вице-канцлер барон П. П. Шафиров, обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух; далее появлялись граф Б. П. Шереметев и граф Ф. М. Апраксин, сподвижники царя на поле ратном и по миновании войны служившие ему советом, граф П. А. Толстой, славный посольством в Константинополь, умный и честолубивый князь Д. М. Голицын и, наконец, обер-прокурор П. Я. Ягужинский, которому Петр дал почетное имя друга правды.

Едва пробило девять часов, вошел государь, и, чтоб не развлечь внимания присутствовавших, тихо вдоль стены пробравшись к президентским креслам, занялся рассматриванием лежавшего перед ним протокола. Когда прочтенное обер-секретарем дело было выслушано и по произнесении приговора готовились перейти к другому:

«Господа Сенат! — сказал Петр. — Недели за три перед сем, по указу нашему, основываясь на извете подъячего Терентьева, при коем он представил показание, учиненное перед смертию мещанкой Палагеей Тихоновой тихвинскому попу отцу Петру, в присутствии его, подъячего Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова, вы решили и приговорили недоросля, называвшего себя Андреем Горбуновым, признать сыном ее, мещанки Тихоновой, а оставшееся после мнимого дяди его, окольного Ивана Горбунова-Бердыша, имение, село Воздвиженское с деревнями, отобрать у него, как вымороченное, в нашу государеву казну. Ныне Андрей Горбунов бьет мне челом, что поверенный князя Меншикова, Белозубов, за два дня до подания извета предлагал ему продать означенное имение, на каковую продажу Горбунов не изъявил согласия, и что в извете участвует посадский человек Ефим Фролов, который-де клеветет Белозубова, из чего он, Горбунов, и выводит следствие о подлоге извета. Я рассматривал внимательно все обстоятельства дела и, признаюсь, нахожусь в большом затруднении. Отца Петра, перед коим Тихонова учинила сознание, нет в живых; сама она скончалась вскоре после показания; Николай Федоров, дядька Андрея Горбунова, на которого сей ссылался в челобитной к воеводе, убит на пути».

Вдруг прервал слова государевы необыкновенный стук и визг в канцелярской: «Пустите, пустите, я хочу их видеть; сам господь прислал меня к ним, я должна их видеть». Распахнулись двери судейской: предстала пред очи изумленных сенаторов старуха, бледная, как привидение, покрытая рубищем и морщинами, едва влачившая ноги, опираясь на толстого мужчину, больного лицом, по-видимому, едва оправившегося от недуга. «Что это за люди?» — вскричал Петр в негодовании на дерзость. Старуха с усилием произнесла: «Мещанка Палагея Тихонова», — и повалилась на землю. Подбежавшие подняли безжизненный труп.

Еще при жизни Бердыша, за два года перед сим, Терентьич продал себя его противникам. Ведая желание князя Александра Даниловича иметь в своем владении село Воздвиженское с деревнями и убежденный, что Горбуновы не соизволят на продажу имения, внушил Белозубову мысль о подлоге и предложил употребить для сего мамку Андрея. Белозубов подослал к Палагее Тихоновой клеветра своего Ефима Фролова, который под

именем посадского вкрался к ней в дом и, женившись на дочери, обещанием большой награды и возвышением дочери в дворянки преклонил тещу к лжесвидетельству. Тихонова, притворившись больной, в присутствии Терентьича и Ефима Фролова показала священнику церкви Спасова Преображенья, отцу Петру, что она мать Андрею. Но цель заговора еще не была достигнута: надлежало скрыть существование дочери и отклонить последствия от возможного раскаяния матери. Для сего Фролов, заранее приняв меры к спасению имущества, поджег в одну ночь ее дом и перевез старуху с женой за тридцать верст от Тихвина, в захоlustье, где мы их видели. Тихонова, грызмая совестью, приписывая самый пожар каре господней, впала в болезнь, лишилась употребления рук, ног, языка, но сохранила память, слух и сознание в преступлении. Между тем Бердыш скончался. Белозубов, после тщетных усилий склонить Андрея обещаниями и угрозой к продаже имения, решил пустить в ход дело. Но, по сродному злодеям беспокойству, опасаясь, что, невзирая на все предосторожности, Андрей с помощью Николая Федорова, знавшего семейственные обстоятельства, успеет доискаться истины, поручил Фролову, подобрав двух негодяев, напасть на них в тихвинском лесу. Тихонова слышала, как Терентьич и ее зять, которого не беспокоило присутствие расслабленной, переговаривались о гибели Андрея, и когда он прибыл в следующую ночь в избу, влекомая каким-то любопытством, которого сама себе объяснить не умела, сделала усилие и, к удивлению своему, впервые почувствовала возможность встать и двигать языком. Сходство Андрея с матерью, коей образ она увидела в юноше, и немногие произнесенные им слова открыли, что то был ее вскормленник. Тогда решила во что бы то ни стало обнаружить свое преступление. «Господь дал мне почувствовать раскаяние, дает силы явить его и на деле». С сей верой, воспользовавшись несколькодневным отсутствием зятя, вышла из дома и, слышав, что дело Горбунова производится в Петербурге, потянулась пешком в столицу. Прибыв туда, встретила на постоялом дворе больного Николая Федорова, которого подняли за мертво ехавшие в Петербург с припасами крестьяне и по его желанию повезли с собою. Николай Федоров, зная, что Горбунов перенес дело в Сенат, привел туда Тихонову.

Государь Петр I в предположении пересоздать Россию, связав нас с народами Западной Европы просвещением, торговлей, мыслил, что не вполне достигнет цели, если совершенно не изменит существовавших между двумя полами отношений. До царя Алексея женщины вели у нас затворническую жизнь. При нем, и особенно в правлении Софии, оне получили более свободы, но сия свобода была еще весьма ограничена. Стоило девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб навсегда потерять доброе имя. Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра. Узрев в посещении заграничных купцов в Москве, какую прелесть уважение к прекрасному полу разливает на всю жизнь, как много оно способствует к очищению нравов, царь примером, увещаниями, угрозой старался доставить женщинам право гражданства в наших обществах. Наконец, для большего развития светской жизни и вместе для сближения сословий, с переездом двора в Петербург, когда низложение врага сильного позволило ему вполне предаться занятиям мира, особнным указом (1714), постановил еженедельные собрания мужчин и женщин, известные под именем ассамблей, и для поддержания сего нововведения сам принимал в них деятельное участие. Двадцати четырем государственным сановникам предписано было иметь у себя раз в зиму ассамблею, то есть осветить и отопить по крайней мере три комнаты, накормить и напоить гостей, иметь музыку для танцев и отдельный покой для слуг. Ассамблеи начинались с наступлением осени, оканчивались великим постом. Посещали их дворяне обоего пола по указу, купцы и ремесленники по произволу, под одним условием — быть порядочно одетыми; духовенство появлялось в ассамблеях в качестве зрителей, с правом не участвовать в забавах.

В один из первых дней сентября возведено было жителям Петербурга барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями, что будет ассамблея у генерал-фельдмаршала князя Меншикова, которого собраниями начинались и оканчивались зимние увеселения столицы. Безыменный, освобожденный из-под ареста, получил от государя, вместе с правом воспрять снова имя Горбунова, повеление явиться того вечера у князя. В шесть часов сел на ялик с Желтовым, оба без шпаг (для предупреждения

дурных последствий от прилежного осушения бутылок строго было запрещено являться в ассамблеи при шпагах), и пустился к дворцу Петрова любимца. Великолепно освещенная пристань, горевшие у крыльца смоляные бочки и яркие огни в окнах уже издали возвещали, что у князя собрание. Пажи у пристани, камер-юнкеры у крыльца, скороходы на ступеньках лестницы, камергеры наверху, в синих ливреях, улитых серебром, стояли для встречи царицы. У дверей находились два гайдука, великаны вершков в тринадцать, которым приказано было принимать всех и никого не выпускать прежде девяти часов. В приемной приехавшие друзья поспешили объявить имена свои полицейскому офицеру для избежания пени, коей подвергались пропускавшие ассамблею, если не оправдывали отсутствия достаточными причинами.

При входе в гостинные комнаты изумила Горбунова пышность, какой еще не встречал. Государь и весь двор жили чрезвычайно просто. Дворяне русские щеголяли столом, винами, лошадьми, псами. Князь же Александр Данилович стоял на том, чтоб во всем образе жизни сравняться с владетельными особами. Восемь больших покоев открыты были для посетителей. Везде штучные полы, гобеленовые или штофные обои, хрустальные люстры, бронза, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, мебель, выписная из-за границы. Комнаты были набиты людьми, но ни князь, ни княгиня не появлялись. Хозяева не заботились о гостях, гости о хозяевах. И те и другие заняты были своим делом. Хозяин угощал, потому что ему было повелено, и расточал великолепии в угодность государю и собственному тщеславию. Гости же, которым также приказано было веселиться, исполняли приказ с верно-подданническим усердием и уж точно веселились от души. Основной закон ассамблеи — совершенная непринужденность. У каждой двери повешено было напоминание посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же под крышкой находился на мраморном пьедестале.

Горбунов изъявил желание обойти комнаты. Рука об руку два друга вошли в покой, назначенный для разговоров. Тут заметили Стефана Яворского, представителя Синода, первую духовную особу в России, являвшего в частной жизни строгое воздержание инок, фельдмаршалов Шереметева и Голицына, равно высоких доблестями

воинскими и гражданскими, кои одни в этот пьющий век, когда не только у нас, но и при всех европейских дворах излишество в вине считалось если не добродетелью, по крайней мере не пороком, когда, по свидетельству современников¹, в Берлине, Лондоне, Париже, Варшаве королевские обеды не раз кончались вытаскиванием собеседников из-под столов, одни, говорю, из обыкновенных посетителей бесед имели право отказываться от участия в попойках и освобождены были от наказания Большого Орла, которому подвергались сам царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с тою разницею, что женский кубок был вдвое менее против мужского: так справедливо, что истинное достоинство везде и всегда приобретает уважение! Далее являлись братья Долгорукие, князь Яков и Григорий, изумлявший парижан любезностью и образованием, Толстой и Шафиров, славные переговорами с Оттоманскою Портою, и, наконец, соперник последнего, засыпанный табаком, Анд. Ив. Остерман, обессмертивший себя договорами Нейштатским и Белградским, тогда еще мелкий чиновник, но уже уважаемый за тонкий ум и многостороннее образование. Все, за исключением последнего, были предметом ненависти для хозяина, который ни в чем не терпел соперников, но ненависти тайной, потому что явная не смела обнаружиться при Петре. Перед ними стояли группами молодые люди, с благоговением слушая, с жадностью ловя из уст сих мужей доблестных уроки мудрости, которой живые примеры видели в их жизни, — обстоятельство, достойное замечания при малообразованности тогдашнего поколения.

Перешед в следующую комнату, друзья очутились будто в другом мире: шум, говор, крик, чоканье стаканов, где обнимаются, целуются, где спорят и мирятся за кубками. Совершенное равенство. Иные, кои до вступления в залы ассамблеи не смели взглянуть на соседей, тут словно свои; в рясах, в мундирах, в кафтанах; без различия чинов, званий, лет, без порядка, кто сидя выше, кто ниже, как кровные, как братья, с румяными от вина и веселости лицами — все пьют из одной круговой чаши. Полная свобода! Пир горой! Вино льется! Одно преступление — отставать от соседей. Тут Желтов указал Горбунову товарищей Петра в совете и веселии: знаменитого архиепископа

¹ См. журнал Берхгольца, *Memoires de la P-sse Sophie le Prusse, Mémoires sur la Régence* и пр.

новгородского Феофана, красноречивого оратора, глубокомысленного политика, историка и столь же усердного собеседника, затем Ягужинского, равно бесстрашного в Сенате и за чашей, далее князя-кесаря Ромодановского, в одном изменявшего старине, что предпочитал медам заморские вина, адмирала Апраксина, который со слезами радости осушал кубки, Ив. Ив. Бутурлина, получившего титул князя-папы за подвиги на пирах, и разгульных членов его общества.

Разительную противоположность представляла третья комната. На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники также пьют, но молча и отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым. «Здесь, брат! — сказал Желтов Горбунову, — муха пролетит, услышишь, а если кто и обмолвится, то верно не по-нашему». Действительно, пировавшие тут были исключительно иностранцы: офицеры, служившие в нашей армии и флоте, шхипера, оставшиеся на зиму в Петербурге, иноземные купцы. Андрей заметил меж ними герцога Голштейн-Готторского, перешептававшегося с вице-адмиралом Крюйсом и не уступавшего в беседах ни одному из самых отчаянных наших весельчаков, так что, по словам его камер-юнкера Берхгольца, никогда не выходил из беседы своими ногами.

Обозрев четвертую комнату, где в разных концах посетители то стучали шашками, то двигали безмолвно шахматами, и заметив тут особенный стол и поставленные подле с раззолоченным на спинке орлом кресла для государя, обыкновенно игравшего в шахматы с графиней Пушкиной, Горбунов перешел на половину дамскую. Вдоль по стене сидели длинным рядом матушки, напудренные, в кирасах и широких робронах, глядя на дочек и повторяя про себя последние два стиха молитвы господней: и не введи их во искушение, но избави от лукавого; впереди дочки стояли строем, расчесанные, разряженные, перетянутые; против — молодые мужчины, также в строю. О разговорах с женщинами, этом обмене ума и любезности, который ныне составляет главное наслаждение в обращении с прекрасным полом, в то время не было и помину. Да и говорить было не о чем. «Грамота не женское дело», — твердили старики. Иные девицы не только не читали, да и совсем не видали книг, разве в церкви, когда дьякон выносил из алтаря евангелие. Пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство

шить — лучшей похвалой. Притом умы находились тогда в каком-то ребячестве, которому ныне с трудом поверят. Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царица Екатерина Ивановна, сестра императрицы Анны, жившая в России после развода с мужем, женщина лет тридцати, нрава веселого, в пребывание двора в Москве в 1722 г. принимала у себя, в селе Измайлове, раз в неделю дам и девиц. Чем же, думаете, они весь вечер занимались? Ни дать ни взять, играли с кошками. И это чрезвычайно их забавляло. «Не поверишь, мой свет, — писала царица к графине Авд. Ив. Чернышевой, — как нам вчера было весело; кошки смешили нас до упаду». А потому и в ассамблеях, до начатия танцев, только и дело было что глазели: мужчины глядели во все глаза на девиц, девицы украдкой на мужчин, и если встречались взорами, опускали, краснея, очи или закрывали платками лицо. Горбунов и Желтов присоединились к толпе зрителей на сии живые картины, как вдруг внезапный блеск привлек их к окну. Великолепное представилось зрелище. Нева горела от разноцветных огней, коими освещены были буера, яхты, ялики, в стройном порядке двигавшиеся от противоположного берега к пристани: подъезжал царский двор. Вскоре раздались трубные звуки, и вошел в покои Петр, ведя под руку Екатерину, а за ними блистательный, многолюдный послед мужчин и женщин. Горбунов с удивлением взирал на величественную красоту русской царицы, ее высокий рост, казавшийся еще выше от длинных темно-русых волос, зачесанных, по тогдашнему обычаю, вверх, ее широкое чело, большие темно-голубые глаза, лицо чистое, покрытое румянцем стран полуденных, стройный стан и гордую поступь. Подле находились великие княжны. Елисавета, незадолго покинувшая крылышки¹, поразила его с первого взгляда: ее мягкие, как шелк, спускавшиеся до плеч локоны, большие голубые глаза, дышавшие негой, ослепительная белизна шеи и рук, полная грудь — останавливали самого равнодушного зрителя. Наружность Анны не имела ничего блестящего, отличного, но в чертах, во взорах, во всех движениях сияла душа чистая, нежная, исполненная любви ко всему окружающему. Желтов указал между прочим другу княжен Марию Александровну Меншикову и Екатерину Алексеевну Долгорукую, кои потом обе, жертвы

¹ Автор позволил несколько подвинуть эпоху совершеннолетия в. к. Елисаветы. Государь Петр обрезал ей крылышки в день торжества о заключении Нейштатского мира, 21 ноября 1721 г.

отцовского властолюбия, отторженные от женихов, чтоб одна за другой быть обрученными одному императору, кончили дни невестами-вдовами в заточении, графиню Нат. Бор. Шереметеву, последовавшую за женихом в ледяные дебри Сибири, гр. Матвееву, тогда невесту А. И. Румянцева, отца знаменитого фельдмаршала, и главных в то время любезностью графинь Головкиных и княжну Черкасскую.

Появление великих княжен оживило немую картину, какую являли покои, занимаемые прекрасным полом. Их снисходительное, милостивое обращение со всеми, без различия званий, и свобода с мужчинами служили образцом для фрейлин. Сии последние имели уже своих угодников: в числе роившихся кругом молодых людей проявлялись известные заслугами и саном в последующее время: Ив. Ив. Неплюев, славный посольством в Турцию и особенно управлением Оренбургского края, С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков и, тогда из первых красавцев А. Б. Бутурлин, предводительствовавшие в Семилетнюю войну нашими армиями; наконец, знаменитый Миних, в то время еще генерал-майор, который со всею германскою неловкостью был самым страстным воздыхателем женского пола и сохранил сию слабость до преклонной старости, так что по возвращении из Сибири, утружденный летами и недугом, писал еще любовные письма к молодым графиням С. и В., составлявшим украшение двора императрицы Екатерины II. Впрочем, и сия угодливость была совсем не то, что ныне. В движениях самый церемонный этикет, в словах все изысканные выражения осмеянных Мольером умников *de l'hôtel Rambouillet*, не подходили без многократных поклонов; в танцах едва прикасались к пальцам дамы: какая непринужденность между мужчинами, такое жеманство в обращении с женщинами.

Обыкновенно по прибытии государыни начинались танцы, но тут медлили, потому что не было души собрания, того, по мановению коего оно двигалось. Петр, имевший обычай со вступлением в ассамблею тотчас обойти всех посетителей, прошел прямо в кабинет, повелев следовать за собою хозяину, который, привыкнув читать на лице государевом происходившее в его душе, с трепетом ожидал последствий свидания.

— Данилыч! Долго ли ты будешь играть моим терпением! — строго спросил царь, садясь в кресла. — Что у тебя за дело с Горбуновым?

— Никакого, государь! — отвечал князь. — Я хотел купить у его дяди имение, но старик отказывался от продажи. По его смерти обратился к наследнику, и этот молокосос, невзирая на мои выгодные условия...

— И потому, — прервал Петр, — что этот молокосос, как ты его зовешь, не хотел удовлетворить твоей прихоти, ты решил злодейским умыслом лишить его собственности?

— Злодейским умыслом? — с изумлением возразил князь.

— Данилыч! — продолжал царь, не замечая восклицания. — Пока ты довольствовался похищением государственной казны, я, памятуя твои заслуги и, может быть, по слабости к тебе, чтоб не срамить тебя, разделялся с тобой по-домашнему и довольствовался наказанием тебя денежной пени, иногда же пополнял ущерб из своих доходов. Но если, издеваясь моим снисхождением, ты употребляешь свое могущество на угнетение беззащитных, если для достижения своих замыслов прибегаешь к подлогам, поджогам, убийству и прикрываешь сии преступные козни предлогом государственного интереса, Данилыч, — промолвил Петр, возвысив голос, — я, божий слуга, отмстить в гнев творящему злое, поставлен на то, чтоб карать преступление. Слезы невинно терпящих вопят на меня к богу, и тяжко мне придется отвечать за них, если не исполню долга; а ты лучше другого ведаешь, что я умею его выполнить.

— Государь! — отвечал князь. — Ваше величество изволите упоминать о подлоге, зажигательствах, убийстве, о коих я не имею понятия. Поверенный мой, Белозубов, писал ко мне, что бежавший из дома Горбуновых подьячий Терентьев открыл ему, будто наследник Бердыша подкидывал, а следовательно, владеет имением незаконно, и просил моего согласия повести о том дело у новгородского воеводы. Я соизволил, но что тут были злоумышление, козни — того не ведал и не ведаю.

Петр не спускал с князя очей. «Верю словам твоим, еще более лицу, — сказал он наконец, — но не менее стыда тебе иметь клеветов, способных на такие злодеяния. Не погневайся! Я повелел Белозубова, Терентьева и Фролова предать суду. И горе тебе, если окажется, что ты тут сколько-нибудь замешан». Потом, встав, промолвил, уходя: «Я приказал Горбунову быть сегодня здесь, хочу, чтоб ты перед ним извинился».

Едва лишь государь воротился в собрание, подали

знак к танцам. В ассамблеях перед начатием бала хозяин подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни господство принадлежит женщинам. Дама, принимающая затем название ц а р и ц ы б а л а, подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух пальцев к его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом. В сей вечер князь Меншиков подошел к Екатерине и на коленях поднес ей знаки власти над собранием. Когда хотел встать, государыня, остановив его, молвила: «Позвольте, князь! Я намерена избрать вас в маршалы и по праву господства моего над вами хочу, чтоб вы исполнили требование, которого, верно, не ожидаете».

— Ваше величество! — возразил князь. — Для сего не нужно мне маршальского жезла. Я раб ваш, и ваша воля была и будет мне всегда непреложным законом.

— К вам недавно поступила фрейлина, не помню, как ее зовут, спросите о том у княгини Марии Андреевны. Я принимаю ее под свое покровительство. Употребите свое влияние, дабы ее не выдавали замуж против желания.

— Государыня! — отвечивал князь. — В угодность вам я сделаю более: и если ваше величество повелите, постараюсь соединить ее с предметом ее любви. Дворянство бывшего ее жениха доказано, и ничто не мешает их союзу.

— Вы мне доставите этим удовольствие, — сказала царица.

Между тем как судьба таким образом без ведома Андрея готовилась вдруг вознаградить его за все напасти, сам он с любопытством смотрел на мелькавших перед ним танцовщиков. Восхитила его прелесть, с какою двигалась в менуэте великая княжна Елисавета, ловкость в контрдансе графинь Головкиных, первых танцовщиц после великой княжны, умилило снисхождение царя, который то участвовал в пляске, то, положив одну ногу на другую, с трубкою в зубах беседовал за одним столом с архиереями о богословии или с иноземными мореходами об опасностях их плаванья, то, наконец, вместе с пировавшими пил из круговой чаши. Но всего более поразил его танец, изобретенный Петром, трогательное доказательство благоду-

шая царева и его желания видеть на всех лицах веселость. Это был род нашего grosфатера. При игрании похоронного марша от шестидесяти до ста пар двигались погребальным шествием; вдруг, по движению маршальского жезла, музыка переходит в веселую, дамы покидают своих кавалеров и берут новых между нетанцующими, кавалеры ловят дам или ищут других, от этого кутерьма ужасная, толкотня, беготня, молодые танцовщицы хватают стариков, молодые мужчины тащат старух, те отказываются, отбиваются, шум, крик, все собрание, тысяча или полторы тысячи человек, поднято, словно играют в жмурки. И заметьте, Петр, Екатерина, вся царская фамилия тут же: за ними бегают, гонятся, сами они ловят, безо всякого от других отличия, словно в своем семействе. Наконец, новое движение жезла: все приходит опять в прежний порядок, и те, кои остаются без дам или кавалеров, осушают кубки Б о л ь ш о г о или М а л о г о О р л а, единственное наказание на все проступки в ассамблее.

Андрей едва оправился от суматохи, в которой волея-неволей принужден был принять участие, увидел перед собою того, кого почитал главным себе врагом. «Господин Горбунов! — молвил князь Александр Данилович. — Мне весьма больно было узнать о неприятном деле, какое навязали вам, и еще более, что при этом употребили во зло мое имя. Уверяю вас честью, что все против вас злоухитрения и козни, на какие дерзнул поверенный мой Белозубов, чинились без моего ведома и воли. Чтоб доказать, что не питаю к вам неприязни, предлагаю вам свою дружбу (тут князь протянул руку) и постараюсь явить ее на деле. Не угодно ли вам перейти со мною в боковую комнату?» Андрей в изумлении последовал за князем. Вдруг раздалось: «Андрюша! мой Андрюша!» — и Варвара очутилась в его объятиях.

ПРИПИСКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ

Два месяца спустя после сей неожиданной и счастливой встречи обрученных, в два часа пополудни, несколько дрог четвернями, нагруженных сундуками, заказною в Петербурге мебелью орехового дерева, всем, что новобрачная приносит в дом супруга, покрытых богатыми персидскими коврами, медленно потянулись из села Евсеевского в село Воздвиженское. Впереди в карете веером, расписанной

золотыми и серебряными городками в виде шахматной доски, покидавшей сарай только при торжественных случаях, гордая как пава, пышная как маков цвет, Ивановна в высоком чепчике, который принуждена была надеть со вступлением в дом князя Александра Даниловича и потом уже не снимала, и богатой штофной телогрее, открывала шествие цугом убранных перьями коней. Рослые слуги позади и вершники по сторонам умножали пышность поезда. Едва он показался в виду ярко освещенного дома Горбуновых, Андрей, испросивший дозволения уехать из Петербурга для женитьбы вместе с Желтовым, который также взял отпуск, чтоб быть шафером у своего приятеля, вышли на крыльцо встретить дорогую гостью. После первых приветствий, когда няня Ивановна заняла половину дома, назначенную для будущей владычицы села Воздвиженского с деревнями, и жених вместе с другом отправились к нареченному тестю благодарить за приданое, Николай Федоров, род первого министра у молодого барина, дворецкий Илья Иванов, малорослый, дородный, плешивый мужчина, и ключница Анна Васильевна, которую в силу сего звания и потому, что по догадкам пользовалась особенным благоволением покойного Бердыша, прочие слуги честили Анной Васильевной, как некогда наших бояр — с «вичем», — все, с детства кормившиеся от подачек господского стола и составлявшие высшую аристократию в многолюдной дворне Горбуновых, следуя приказу барина, угостили роскошным ужином нового товарища. Когда блюда одно за другим были разнесены между собеседниками, и сладкое вино развязало языки:

— Слава тебе, господи! — воскликнула Ивановна, — наконец привел бог дождаться. Прошел бы завтрашний день благополучно, а там и дело с концом.

— Уж тут далеко ли? — молвила Анна Васильевна. — Жаль только, что отец Григорий изнемогает. Уж куда как ему хотелось обвести молодых кругом наложной. Да больно стар, сердечный! С постели, вишь, подняться не может.

— Я чай, Маланья Ивановна, Варвара-то Лукинишна рада, — промолвил дворецкий.

— И, батюшка! — отвечала няня. — От радости света божьего не взвидит. И здоровье, и веселье, все мигом прикатило! Глядит, как наливное яблочко! А то, бывало, не дай бог и ворогу, только и ведала, что горе, особенно в Санкт-Петербурхе, словно свечка, истаяла, иссохла, как лучинка. И день и ночь то и дело, что тоскует. Слез нет, а

только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи господь! Уж я, ах ты, владыка небесный, и молитвы над ней творила, и сама плакать, и ей-то говорю: «Полно тебе, свет мой, кручиниться, господь милостив, не оставит тебя горемычной, не убивай себя и нас». Нет! Что прикажешь делать? Все грустит. А пуще всего, коли заговоришь о Белозубове. Да и он, душегубец, прикинулся влюбленным и ну свататься! А ей это пуще, чем нож в сердце.

— Мало того, — подхватила Анна Васильевна, — Андрей Александрыч чуть со двора, а он во двор. Прикатил сюда, в Воздвиженское, да и распоряжается, словно своим добром.

— Далеко кулику до Петрова дня, — прервал дворецкий. — Каково-то им всем теперь распоряжаться на каторге в Рогвихе, что ли?

— Да и поделом им! — молвил Николай Федоров. — Слыханное ли дело, пуститься на такое беззаконие!

— Мне жаль дочки Тихоновой, — сказала тут няня. — Она, бают, ни про что не ведала. Ан теперь без мужа, чай, горемычная, по миру пойдет.

— Не тревожьтесь, Маланья Ивановна! — отвечал дядька. — У нашего барина душа христианская: приказал отвести ей двор и пожаловал месячную дачу.

— Куда какой добрый! — промолвила няня. — Дай бог ему много лет здравствовать!

Тут Илья Иванов велел подать из поставца большую заздравную чашу, наполнил ее и, громко произнеся: «Здравие и многолетие нашему боярину и барыне! Пошли им, господи, много чад и домочадцев! Да здравствуют на многие лета!» — осушил ее до дна.

Собеседники почли долгом, повторив тост, последовать примеру. Между тем пробило 8 часов. Николай Федоров, не без основания почитавший себя старшим и в постоянную бытность при господах получивший понятие о светскости, подал руку няне, для которой после дневных трудов и веселого ужина сия подпора не была лишней, и в сопровождении собеседников, доведши новую гостью до вверенной ее надзору половины, пожелал ей доброй ночи. «Покорно благодарим-с! — отвечала Ивановна. — Прощения просим-с, Николай Федорыч, Илья Иваныч, Анна Васильевна».

Прощенья просим, гг. читатели!



КОНСТАНТИН МАСАЛЬСКИЙ



РЕГЕНТСТВО БИРОНА

I

На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах домов петербургских погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собою промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесах разлитое сияние свечей беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату ходили торопливо люди. Это было 17 октября 1740 года.

В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитан Ханьков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием по временам глядели на дверь спальни.

Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.

— Все кончено! — сказал он прерывающимся голосом. — Императрица скончалась.

Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.

Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, тихо пронесли фрейлины через залу в ее комнаты. За нею следовал супруг ее.

Когда привели ее в чувство, она возвратилась в залу и, бросаясь в креслы, начала горько плакать. Напрасно принц,

стоя позади кресел и наклонясь к супруге своей, старался ее утешить и умерить ее горечь.

Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостию умершей царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подле него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке держал князь какую-то бумагу, другою рукою по временам отирал слезы, навертывавшиеся на глаза его.

— Кто в зале? — вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.

Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, приблизился опять к Бирону и назвал бывших в зале по именам.

— Пойдем к ним! — продолжал герцог, вставая. — Не теряя времени, объявим последнюю волю императрицы.

Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресел, в которых сидела его супруга.

Властолюбивому Бирону во время тяжелой и продолжительной болезни императрицы неотступными просьбами нетрудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.

Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:

— Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю ее величества?

Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл, однако ж, свои чувствования и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.

На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание двора его. Бирон, по воле которого сделаны

были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался полновластным правителем их, что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.

II

Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту (который можно назвать предком нынешнего) встретились два человека в темно-зеленых широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головою.

— Нет ли чего нового? — спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.

— Ничего важного не случилось, — отвечал на том же языке низкопоклонный. — Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме, в Красной улице, и что потом ее высочество цесаревна Елис...

— Тс! Тише!... Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну, а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?

— Он заодно с капитаном; в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится Феодосеевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.

— Право? Это недурно! А где он живет?

— Вон дом его.

Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского института.

— Притом узнал я, что отец поручика довольно богат.

— И это недурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его, что он держится раскола?

— Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.

— Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?

— Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писанными книгами.

— Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение

от Феодосеевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу в доказательство, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!

— Бесподобно вы вздумать изволили!

— То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его послушании герцогу и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.

— А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?

— Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны его имение? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг сжечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!

Довольный своею глупою острою, он засмеялся.

— Иллюминация! истинно иллюминация! — подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. — Однако ж я все не понимаю еще вашего намерения.

— Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и не русский.

— Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.

— Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рубликов.

— А! теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречение от ереси.

— Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему в пользу. Он, верно, и сам делается умнее и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то берегись!.. Я искусный охотник, а ты его собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.

Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.

— Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, — продолжал низкопоклонный, — то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.

— Нимало! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу об нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.

— Совершенная правда.

— О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом в Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромен и осторожен. Ты сам знаешь, как дело это важно.

Поговорив еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.

III

На берегу Фонтанки... но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу *Фонтанной речки*.

При ее истоке из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам ее, в некоторых местах укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Против Летнего дворца, от Невы до церкви св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась *партикулярная верфь*, где строили мелкие суда для *Невского флота*¹.

Подле этой верфи находилась (поныне существующая) каменная церковь св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования императрицы Анны Иоанновны вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.

Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четверо-

¹ При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командою Невского адмирала.

угольное строение, где хранились разные запасы, для двора приготовленные, почему оно и называлось *Запасным двором*.

Церковь св. Симеона и Анны тогда уже существовала. Ее построила императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Петр Великий в 1712 году, во имя ангела четырехлетней дочери его, цесаревны Анны Петровны.

Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощею, которая граничила с *Итальянским садом*, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе, близ Фонтанки.

У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенных при императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, *светлицы* Семеновского и Измайловского полков, и наконец, посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь св. Екатерины, устроенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.

Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому деревянному мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом *охотный ряд*, где продавали певчих и других птиц; войдем в слободу *Аничкову*, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к *ягд-гартену* (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гоньбы и стреляния оленей, кабанов и зайцев на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, его окружающие. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим *слоновъй двор*, устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.

Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.

На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власыч (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану; во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона; в-третьих, еще со времен Петра Великого сбрил бороду и одевался по-немецки; и в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.

Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьева, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом, на ассамблеях, ратовала в рядах невест и наводила *сильную кокетства батарею*¹ на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она не без основания считала главным виновником прекращения всех общественных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею? От горести и отчаяния Дарья Власьева перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?» — Дарья Власьева всегда притворялась крепкою на ухо или рассеянно и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды и в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, которой бока они украшали. Всякая знатная дама считала тогда обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелью о рангах, начиная от 1 до 14 класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручками, которые нередко по благоразумной,

¹ Стих Панкратия Сумарокова.

хозяйственной бережливости снимались с разошедшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить и обручи и пользовались только правом смотреть с удивлением на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтобы узнать внутреннюю сущность этих возвышенных.

Дарья Власьева по званию сестры придворного поставщика рыбы перешла неприметно от обручи к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составила средину между фижмами коллежских секретаршей и титулярных советниц. Не покладая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14 до 4 класса включительно, чтобы быть готовою тотчас одеться по чину ее будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и «штатской действительной советник» (как тогда говорили). Любимое препровождение времени Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, по очереди примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев наконец генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распутивший хвост, танцевала менуэт, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьева не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее склонялись то в ту, то в другую сторону и долго бы остались в движении, если б сваха не принесла наконец верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.

Дочь Мурашева Ольга была премилое существо. Умная,

добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам знавший плохо грамоту, передал ей все свои познания и через год после начатия курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупик самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русскою гражданскою печатью в Петербурге в 1725 году, под заглавием: *Приклады како пишутся комплименты разные*, и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения: *Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные*. Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елисавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб по крайней мере сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатану увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из «Советов премудрости» наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов женский гнев настрашнейший и прековарпейший в вымышлении изменательств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены, или способы ко избавлению и спасению себя от них бегом изысканы быть могут; но рассерчение взбесившейся жены неизбежно есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему отвечают».

— Сущая истина! — сказал Мурашев со вздохом. — Из всех гневов женский гнев есть настрашнейший! Да!..

Так, кажется сказано? Одно средство против него — упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.

Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признавается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаваемые ею тебя вещи имеют на ее языке крайне бедственные обаяния. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться, и о весьма скором времени твоего заплаkania извещаться».

— Ну уж книга! — воскликнула Дарья Власьевна. — Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.

— Полно, сестра! — возразил Мурашев. — Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина — ты этого на свой счет не бери, — а вообще, особа женского пола. Вот тут и пишется, что довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, то есть она — не успеешь мигнуть — даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что бойся обещаваемых ею тебе вещей и ее осязания, — помнится так — то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!

— Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!

— В печь? Да кто тебе даст? Советы премудрости хочет бросить в печь! Ах ты безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.

Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок и что в книге дается наставление остерегаться порока.

— Ну вот, вот! то и есть! — воскликнул с радостью Мурашев. — Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь то же толко-

вал! Что ж тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.

— Скажи: и батюшки! — сказала обиженная Дарья Власьевна. — Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.

Мурашев хотел возразить, но не нашелся, проворчал сквозь зубы: «Дура!» — и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».

«Сумасшедший! — сказала про себя Дарья Власьевна. — Совсем с ума спятил от своих премудростей!»

— Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? — спросила вдруг Ольга.

Этот вопрос имел силу громового отвода. Без него сбылось бы сказанное в Слове о полку Игоревом: «Быть грому великому!»

IV

В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашеву капитан Семеновского полка Ханыков с молодым поручиком Аргамаковым, который страстно влюблен был в Ольгу.

— Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? — говорил Мурашев, усаживая офицеров на кожаный диван.

— Не до того было! — отвечал Ханыков.

— Да, да, Павел Антонович! Истинно не до того! — продолжал хозяин шепотом. — С позволения вашего, я ссегодня с заутрени до вечерни все плакал да охал.

— Скоро и все заохаем! — заметил Аргамаков.

— Однако ж, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори, — сказал Ханыков. — Подслушают, так и впрямь заохаеть.

— Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домовой разве, с позволения вашего, нас подслушает!.. Однако ж не мешает за дверь заглянуть.

Удостоверясь, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:

— Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да все как-то не верится. Что за напасть такая!

— Уж нечего говорить! Времена! — сказал Ханыков.

— Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче — с позволения вашего — он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, как потащат на сковороду.

— Да еще молчи притом, как рыба! — прибавил Аргамаков.

— Щука нечестивая! Кит проклятый! — воскликнул Мурашев, ходя в волнении по комнате. — Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в раздолье, как белуга в Волге. А с тех пор, как завелся этот иноземец Бирон — чтоб ему, с позволения вашего, щучьёю костью подавиться! — все идет вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идет, — продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор. — Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.

Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашева.

При входе Ольги у Аргамакова сильно забилося сердце от радости, как будто он не видал ее уже несколько лет, а между тем они виделись не далее как накануне. Дарья Власьева, жеманно поклонясь гостям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.

— Ну что, сестра, много народу было в церкви? — спросил Мурашев.

— Не слишком много; все больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила; должна быть знатная: большие фижмы и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!

— Ну, дай бог ей здоровья! — сказал Мурашев, которому вседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели. — Шлейф! — продолжал он, усмехнувшись. — А что такое, с позволения вашего, шлейф и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:

Щука шла из Новгорода;
Она хвост волокла из Бела-озера.

Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной словно невод: так и хочется запустить его в воду!

Ханыков улыбнулся, а Аргамаков разговаривал в это время с Ольгою, и оба ничего не слышали.

— При выходе из церкви, — продолжала Дарья Влась-

евна, — попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала — это ужас!

— А что такое? — спросил Мурашев.

— Она слышала от верного человека, который служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то недолго усидит на своем месте.

— Вот тебе на! — воскликнул Мурашев, взглянув на Ханыкова. — Извольте прислушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, извольте видеть, не бывала еще в тайной канцелярии! Ей очень туда хочется.

— Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! — возразила, обидясь, Дарья Власьевна. — Я без тебя знаю, где и что сказать.

При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.

— Так! — прошептал Мурашев. — Только все-таки советую тебе быть поосторожнее.

— Что же вы слышали? — спросил Ханыков.

— Вообразите! Бирон хочет... нет! не могу выговорить!.. Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!

— Да что с тобой сделалось, сестра! — сказал Мурашев. — Ты из себя выходишь. Если бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их господами эти хвосты таскают.

— Шлейфы носят только за самыми знатными господами, а все прочие дамы, даже генеральши, заворачивают шлейф, как и я, на левую руку. Не об них и речь.

— Так о чем же? — продолжал Мурашев. — Уж не о фижмах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?

— Да, сударь, о фижмах, именно о фижмах, от которых никто еще с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!

— Я стал бы носить что угодно; от того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что...

— Ну!.. заговорил о своих премудростях, конца не будет!

— Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за

один совет премудрости я охотно отдал бы все фижмы на свете, да еще осетра средней величины в придачу!

— Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться, как наша кухарка, без фижм! Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?

— Этого быть не может, сударыня! — сказал Ханыков. — Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фижм!

— Так вы полагаете, что этот слух пустой?

— Кажется.

— Пустой или нет, все равно, — прервал Мурашев, — а поужинать во всяком случае не мешает. Уж девять часов.

В это время вошел в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамакова. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, которой душа погружена была в фижмы, почувствовали, более или менее, от слов дворника неопределенный испуг. Мудрено сказать, произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от тогдашних времен, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.

Аргамаков вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханыкову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашев заметил это и, взяв его за руку, подвел к окну.

— Верно, недобрые вести? — спросил он шепотом.

— Не совсем хорошие! — отвечал также шепотом капитан. — Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичем ушел. Они идут уж сюда.

— Господи боже мой! Что ж мы станем делать?

— Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.

Мурашев большими шагами прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

— Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.

— Вы себя погубите вместе с нами!

— Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как и всегда то делаю. Пусть же допрашивают и пытаются моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. Притом, вероятно, этим господам и в голову не придет там вас отыскивать, а вы по крайней мере успеете обдумать, что вам делать? Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и с богом за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!

— На это нужны деньги, а со мной только два рублевика, — сказал Ханыков.

— У меня и того нет, — прибавил Валериан.

— Я вам дам взаймы. Червонцев пятьдесят будет довольно?

Ханыков пожал руку Мурашеву, и у Валериана вернулись на глазах слезы. Это пожатие и эти чуть заметные слезы выразили сильнее их благодарность, нежели все возможные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелек и тихонько передал Валериану.

Во все время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тетки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.

Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьевна, все еще углубленная в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:

— Итак, вы полагаете, что слух насчет фижм неоснователен?

— Я вижу, сестра, что в пустой фижме более мозгу, чем у тебя в голове! — проворчал в досаде Мурашев. — Пойдемте, господа!

Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: прости навсегда!

V

Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок вместе с денщиком и Мурашевым, за которым бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они по очереди подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.

— Цыц! Молчать! — закричал хозяин. — Это наши. Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел

офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, в полу сделанную, и указал им веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.

— У кормы, — сказал он, — найдете окошко, через которое легко будет в случае нужды перелезть в одну из лодок, привязанных к садку. Прощайте! Да сохранит вас господь!

Выйдя из каюты, он погладил каждую из собак. Они проводили его до перил, и когда он запер решетчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Еруслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мурашева руку, а Мохнатка и Полкан, положив передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.

Валериан и друг его вскоре отыскиали окно, о котором говорил Мурашев. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было из окна прямо спуститься в одну из лодок. Вскоре услышали они, как Мурашев захлопнул калитку.

Все потом замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашептывала садку донос на спрятавшихся офицеров.

Чрез несколько времени собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на громкий лай их, скрывшимся в садке слышно было, как кто-то стучался в калитку.

— Это, верно, посланные за нами! — воскликнул Аргамаков.

— Не воспользоваться ли временем, покада они будут дом обыскивать? Перелезем скорее в лодку и поплывем к Неве, потом пустимся прямо в Кронштадт, — сказал Ханыков.

— А если нас заметят?

— Да и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко сыщут. Решимся! Что будет, то будет!

Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился.

— Все готово, барин! — сказал денщик, всунув в окно голову.

Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.

— Думали ли мы, Валериан, сегодня, — сказал Ханы-

ков,— что проведем ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под эту рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас еще остается надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.

— Удивляюсь, как ты можешь теперь шутить! — сказал Валериан.

— А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? — возразил Ханыков.— Я давно уверился, что мое хладнокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, каждый почти день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый взгляд ее, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лежа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ж я нового и особенного ничего не вижу, потому что вечер претемный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака: нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! далеко ли еще до Невы?

— Уж недалеко, ваше благородие.

— Гребь сильнее! — сказал Аргамаков.

Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых годах фореитором в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога курляндского Иакова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилося сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему. «Усь! Чужие!» — шепнул Мурашев, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчиненных, что все они, струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:

— Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.

— Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня

загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.

— Ты еще рассуждать смеешь! — закричал Гейер, топнув. — Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества.

— Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: «Мертвии бо срама не имут», то есть ни за что не отвечают.

— Свяжите его и ведите за мной! — закричал Гейер. — Завтра же донесу о тебе его высочеству, как о бунтовщике и ослушнике.

Мурашева связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг при свете месяца увидел несколько человек, которые к нему приближались.

— Ба! Это, кажется, наши! — сказал он. — Они ведут трех связанных. Bravo! гуси пойманы.

Валериана, друга его и денщика вели шести лазутчиков, одетых в платье гребцов. Мурашев побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выражалось глубокое сострадание.

— Где вы нашли их? — спросил Гейер.

— По приказанию вашему, — отвечал один из лазутчиков, — мы дожидались вас на катере у невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дна лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин, — продолжал он, указывая на поручика, — схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.

— Отдайте ваши шпаги! — сказал Гейер.

— Возьмите сами, — отвечал Ханыков. — У меня руки связаны, как видите.

— Я никому своей шпаги не отдам, кроме командира! — вскричал Валериан.

— Полно, братец, понапрасну горячиться! — шепнул друг его. — Чем более будешь оказывать сопротивление, тем будет для нас хуже.

Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.

— Обыщи карманы их! — продолжал Гейер, — не спрятано ли там оружие?

У Ханыкова нашлись два рублевика, у Валериана кошелек с пятьюдесятью червонцами.

— Подай сюда! — сказал Гейер, жадно смотря на золото. — Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? — продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком. — Ба! я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.

— Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно, — заметил Ханыков. — Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.

— Это все будет исследовано. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочери и сестры этого старого плута. Их также надобно будет завтра допросить.

Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу.

— Он очень занят и никого не велел принимать, — сказал камердинер герцога.

— Скажи его высочеству, что весьма важное дело.

Через несколько минут Гейер позван был во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и с братом своим, генералом Карлом Бироном, сидел за столом и играл в бостон.

— Господин секретарь! — сказал герцог, тасуя карты. — Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.

Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановясь у дверей.

— Это единственное мое развлечение после дневных тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?.. В сюрках шесть! Что у тебя за дело?

— Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказание, взяты.

— Где они теперь?.. Ну, брат, умел сходить! Разве не видал ты, что два короля и две дамы уже сошли?

— Они теперь у крыльца стоят, связанные.

— Кто? Два короля и две дамы? — заметил Бирон, улынувшись. — Дурак ты, Гейер!

— Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высокочеству, — сказал секретарь с подобострастной ужимкой.

— Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи... Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.

— С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и денщик их, потому что...

— Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!.. Гран-мизерверт!

Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у них были завязаны.

— Можно ли нам говорить между собою, господин секретарь? — спросил Ханыков.

— Позволяется, — отвечал важно Гейер, довольный покорностию капитана. Он подумал притом, что из разговоров своих арестантов узнает несколько их характеры и что это ему поможет успешнее произвести допросы.

— Валериан! Валериан! Ты здесь? — продолжал Ханыков.

— Здесь.

— Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Все пройдет.

— Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.

— В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! — сказал шепотом Мурашев. — У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости»; в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тружением и грущением. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением и с ним решение чини, не торопясь и не грустяся». Ба! мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся на какой-то мостик. Как доски-то гнутся под нами! Чтобы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь — бог весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?

— Перестань! — закричал Гейер. — Говори да не заговаривайся!

— Извините меня, глупого, господин секретарь! С

горя мало ли что сболтнется. И в некоторой мудрейшей книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно надлежит его отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». А впрочем, как прикажете.

— Теперь я ничего не приказываю,— сказал Гейер.— Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоём рте замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.

Через несколько времени арестантов высадили на берег и повели далее. Потом они заметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними, и щелкнул ключ два раза.

— Развяжите им глаза и руки,— продолжал Гейер.

— Боже мой! Где мы? — воскликнул Валериан. Ханыков мрачно посмотрел вокруг себя, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, охая, начали креститься.

Висевший под сводом фонарь освещал довольно обширную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленые кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом освещении фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены были разные орудия и машины странного вида. Против стола, на стене, висели большие часы.

Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:

— По приказанию его высочества регента должен я вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством, регентом целой России и моим все милостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он подымлет ко благу общему и вашему, если б вы, вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии, вздумали оказы-

вать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда наша Россия... что я говорю!.. когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытаться, не сказав вам ни слова; но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой все милостивейший патрон, в Германии почерпнувший свое глубокое просвещение, пересадил, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благотворительными учреждениями он отменил унижительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввел порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества цесаревны Елисаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры; что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте; что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещании покойной императрицы Екатерины I, по 8-й статье которого цесаревна Елисавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра II будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет, неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что все мною прочитанное не подлежит уже ни малейшему сомнению, что ваше преступление доказано и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали раскаяние, открыли всех сообщников ваших, объявили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!

— Я точно был несколько раз у ее высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.

— Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас... но делать нечего. Господин

поручик! Вы обвиняетесь, как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдываетесь вы? Сверх того вы должны подробно объяснить: когда и как отец ваш старался вас увлечь в феоdosеевскую ересь?

— В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: все это самая низкая клевета!

— Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоприятно, любезный поручик. Ну, а вы что скажете? — продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву и денщику. — Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, вероятно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также все сказать, что знаешь. Отвечайте!

— С позволения вашего, — сказал Мурашев дрожащим голосом, — осмелюсь доложить, что я нисколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слышал и сказать не могу.

— Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! — продолжал скороговоркою денщик, выткнувшись. — Мое дело исполнять, что приказывают.

— Итак, вы все, как вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterriton. Я, может быть, неблагоприятно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий; но это по крайней мере удостоверит вас, что его высочество регент и мой все милостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей.

Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:

— Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам по моей обязанности.

Подробно описав все орудия пытки¹, Гейер в заключе-

¹ При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещеннейшие государства Европы и что Екатериной Великою уничтожена была пытка тогда еще, когда в Европе считали ее необходимою принадлежностью судопроизводства.

ние объявил арестантам, что для избежания истязаний остается им один способ — полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.

— Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому *Realterrition*. Господин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину. Эй, вы! — продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным. — Покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!

— Нет, я не могу в том признаться, в чем не виноват.

— И *Realterrition*, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!

Ханыков стиснул зубы и побледнел.

— Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?

— Я невинен; говорю вам, что невинен!

— Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть еще раз винт, — и тогда не ручаюсь за целостность костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать минут сроку.

— Замучьте меня до смерти, но я все буду говорить одно и то же! — сказал твердо Ханыков.

Посреди последовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханыков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решился признанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе.

В это время раздался стук в двери.

— Кто там? — спросил сердито Гейер.

— Отопри! — раздался повелительный голос.

Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачно, брови нахмурены.

— Покажи мне признание преступников, — сказал он Гейеру.

— Ваше высочество! Я еще не успел...

— Не успел? — закричал герцог, топнув. — А что я тебе приказывал сегодня утром? Я не велел терять ни минуты. Научу я тебя не медлить исполнением повелений регента!

— Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра...

— Ты еще осмеливаешься мне возражать! Молчи, бездельник. Завтра!.. Я велю обути тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постарайся сегодня же все узнать и меня успокоить; но тебе, я вижу, все равно, спокойно ли сплю я ночь или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.

Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины переменялась в ненависть, решился прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал, заикаясь:

— Я всех арестантов пытал по порядку *мекленбургским инструментом*. Никто ни в чем не признался.

— А испанские сапоги? Все мне надобно тебе указывать!

— Я решился прежде испытать действие этой стальной машины.

— В который раз винт повернут?

— Во втор... в третий, ваше высочество.

Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.

— В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?

— Ни одной строчки подозрительной.

Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханыкова, он спросил:

— Это кто?

— Капитан Ханыков, главный из обвиняемых, — отвечал Гейер.

— Итак, ты не хочешь ни в чем признаваться? — сказал герцог, устремив на него грозный взор.

— Я невинен, ваше высочество!

— И ты мне это смеешь говорить! — закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула. — Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать — пусть он, закладенный в стене, умрет с голоду!

Все содрогнулись. Ханыков, призвав на помощь все свое хладнокровие, твердо сказал герцогу:

— Я готов на казнь, какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам — казните!

— Зачем был ты в доме ее высочества?

— Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление.

— Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?

— В бумагах моих, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.

Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил Ханыков. В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему цесаревною Елисаветою, питать к ней во всю жизнь благодарность.

Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.

— Это письмо ничего не доказывает... В чем обвиняются все прочие преступники? — спросил он Гейера.

— Они обвиняются только как сообщники капитана.

— Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, — продолжал Бирон, — но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако ж предворяю вас, что если после этого вы в чем-нибудь окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.

Ханыкову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре почувствовали они себя на свежем воздухе. Потом посадили их в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.

Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву.

— Имеем честь поздравить! — сказал один из них.

— С чем? — спросил Ханыков.

— С милостию герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! — продолжал прислужник, почесывая за ухом. — Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!

Мурашев, пожав плечами, дал ему рублик, и при-

служники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.

— Где мы теперь? — сказал Ханыков, осматриваясь.

Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдали освещенные месяцем здания.

— Мы, кажется, посередине Царицына луга, — сказал Мурашев. — Вон, справа, чернеется Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! Не в аду ли мы были?.. Куда же пойдем теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.

VI

Все пошли к дому Мурашева. Приблизясь к воротам, начали стучать в калитку.

— Кто там? — закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.

— Я хозяин этого дома. Пустите!

— Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.

— Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог...

Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну.

— Что станешь делать? — воскликнул Мурашев. — Придется ночевать на улице, у ворот своего дома.

— Пойдемте к моему батюшке! — сказал Аргамаков. — Вон дом его отсюда виден.

— Это дело! — подхватил Мурашев. — Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынник!

Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила феодосеевщины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщил в тот день с никонианами¹. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то все бы досчитал он прежде положенное число

¹ Так называли они всех не отделившихся от православной церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.

поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына¹.

Даже хладнокровный Ханыков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка и шарообразно обстриженная голова с седой бородой высунулась оттуда².

— Кто там?

— Это я, батюшка!

— Да ты не один?

— Это два мои приятеля и мой денщик. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.

— В беде? Что мудреного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадает. Нынче и днем-то ходи да оглядывайся.

— Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.

— Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас открою ворота.

Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.

На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пище и питье не сообщиться с никонианами.

— Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! — сказал Мурашев. — А близко друг от друга живем!

— Что делать, Федор Власыч! Не одного мы стада овцы.

— С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься в феодосеевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.

¹ В 1751 году 1 октября были сочинены раскольниками феодосийского толка сорок шесть правил Феодосеевского собора. За нарушение их положены в наказание большею частию поклоны, которых в сложности определено 13 600. Раскол этот основан в 1706 году дячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по перекрещении в раскол, назвался Дниоисием.

² По правилам феодосийан, наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло, и даже отлучались от их общества.

— В феодосеевскую? Что за феодосеевская! Скажи — в истинную, Федор Власыч.

— С позволения вашего, я спорить с вами не стану. У меня есть книжица небольшая, именуемая «Советы премудрости», в ней сказано: «Неоднократно во всяком веке случается, что маленький философ хватается свидетельствовать веру или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверяй сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению».

— Федор Власыч! Пристало ли тебе в моем доме говорить мне укорительные слова?

— Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма, Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким-то философом назвать нельзя: он был дьячок, да и только: а многих, однако ж, приманил на свою уду и поймал.

— Федор Власыч! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.

— Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу; но, с позволения вашего, никогда бы не поверил я дьячку.

— Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!

— Да чем доказать можно, что оно истинно?

— Чем!.. чем!.. Давай, например, мне самого злого зелья: я выпью — и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянись все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянись! Я сейчас готов испить чашу с зелием для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь меня: я готов принять венец мученический; не устрашусь угроз твоих.

— Разве Бирон угрожал вам, батюшка? — спросил молодой Аргаматов, которого привели в беспокойство последние слова отца.

— Да, любезный сын. На меня кто-то донес ему;

секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.

— Боже мой! — воскликнул сын, вскочив со стула. — Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?

Он любил искренне старого отца своего, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его за усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика; зато и старик, горячо любя сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят наконец сына принять учение, которое считал старик истинным.

Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении фео-досеевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.

— Вот до чего дожил я! — воскликнул старик, подняв глаза к небу. — Сын искушает меня и хочет ввергнуть душу мою в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искушитель! Не совратить тебе меня с пути истинного; не лишишь ты меня венца мученического. Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты...

Старик закрыл лицо руками и заплакал.

— Бог свидетель, — воскликнул с жаром сын, — что я не о себе теперь думаю, батюшка; одна любовь к вам заставила меня говорить.

— Чрез день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром; временный огонь спасает меня от вечного.

Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелек, наполненный золотом.

— Любезный сын! вот все, что накопил я честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе... Не забывай бедных... Если ты уже не можешь быть счастливым в этой жизни без брака, даю тебе мое благословение... Прости, господи, слабость мою!.. Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоцененное сокровище целомудрия, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей и молись за грешного отца твоего.

— Нет, любезный батюшка! вы не умрете: я спасу вас во что бы то ни стало.

Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, растрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на глазах его. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твердой решимости и сожаление о его заблуждении сливались странным образом.

Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому, придумывая средство к спасению отца молодого приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разобрал и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбравив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашев поздно вечером принужден был опять возвратиться для ночлега к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханыков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.

Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завернутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту.

— А! — сказал он. — Да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.

Все повиновались.

— Ну, почтенный! — продолжал он, обратясь к старику Аргамакову. — Я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решился отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я представлю ее герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф да за тобой приставят надзор.

— Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь то же повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться господу поклонением истинным.

— Ого, любезный! да ты, я вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.

— Делайте со мною что хотите: на все готов за веру истинную.

— Хорошо! Прекрасно!.. Стереги его и никуда не выпускай! — сказал Гейер своему прислужнику. — Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!.. До свидания!

Гейер удалился, а Валериан и Ханыков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханыков пожал плечами и вздохнул, а Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:

— Ах, господи боже мой! Что за напасть!

Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.

— Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты? Я авось уломаю старика: он подпишет отречение и штраф заплатит.

— Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! — отвечал прислужник.

— Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.

Федор Власыч после того куда-то отправился и вскоре возвратился, неся в стклянке какую-то жидкость.

— Ты обещал нам, Илья Прохорыч, — сказал он старику Аргамакову, — показать чудо для обращения нас к вере истинной и спрашивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.

— Поклянись в этом! — воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.

— Изволь, клянусь! Только...

— Что у тебя в стклянке?

— Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!

— Давай сюда! Помни же свою клятву! Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить еще одного ближнего на путь истины.

— Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Власьич, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.

— Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда стклянку, Федор Власьич!

— Не давай, не смей давать! — закричали Валериан и друг его, бросаясь к Мурашеву.

— Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду и поступлю осторожно: не бойтесь!

Офицеры, хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не сделает.

Взяв стакан, Мурашев вылил в него из стклянки половину жидкости.

— По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! — сказал прислужник.

— И! почтенный! — возразил Мурашев. — Будь спокоен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!

Старик Аргамаков между тем неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали, что делать, и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашева, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.

К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одного Мурашева это не удивило; он для спасения своего соседа от костра придумал дать ему под видом яда голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.

— Веруешь ли теперь? — спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом. — Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зе-

лие мне не повредило. Поклонись же нашему богу и отрекись от вашего¹. Помнишь ли свою клятву?

— Удивительное дело! — прошептал Мурашев с притворным смущением. — Может быть, я достал яду не такого сильного? Притом ты выпил менее половины сткланки.

— Давай еще, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не делается.

— Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.

— Наливай, не сомневаясь! Узришь еще большее чудо, и тогда отречешься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, еще третий стакан, если двух мало, для обращения твоего к нашей вере истинной.

— Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.

Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосеевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее половодье речка через ветхую плотину.

— Ну что, любезный Федор Власыч, — сказал он, бодро расхаживая по комнате, — ты теперь уже наш?

— Нет еще, Илья Прохорыч.

— Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так что-то на душе легко.

— Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная, тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш.

— Изволь, любезный Федор Власыч, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол и не сверну ни направо, ни налево.

Мурашев усадил старика на софу и, когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков,

¹ Феодосiane утверждали, что у них один бог, а у не принадлежащих к их расколу — другой.

встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол.

— Видишь, Федор Власыч,— сказал он, остановясь посредине комнаты,— сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоём неверии?

— Да ведь ты ещё не дошел до другого угла, Илья Прохорыч.

— За этим дело не станет, вот, смотри!

— Эй, эй! К югу заворачиваешь; или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя невидимая сила несет прямо к северу.

— Неправда; летом прямехонько против этого окошка солнце восходит: именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!

В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феоdosеевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.

— Горе мне, грешнику! — воскликнул он, сплеснув руками.

— Теперь уж видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрел в такую сторону, где солнце никогда не восходит.

— Горе мне, грешнику! Что я сделал? Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.

— А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.

— Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! — воскликнул старик, вскочив с софы.

— И, верно, не захочешь быть клятвopеступником?

— Клятвopеступником? Чтоб я сделался клятвopеступником! Нет, не будет этого! Не только клятву, но и простое слово всегда я свято исполнял... Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддержу. Сам ты виноват; вперед своих не выдавай.

— Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко другие поддерживали, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.

— Не говори хулы! — сказал старик с глубоким вздохом. — Может быть, я недостоин его помощи, и он от меня отступился.

— Ну так ты отступись от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. При том клятва твоя...

— Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Потопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!..

— И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?

— Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву,— сказал Ханыков.— Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвопреступником перед вашим наставником в вере и не можете после того ожидать от него ничего доброго.

— Правда, правда! — сказал старик.— Господи! покажи мне путь истинный!

— Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! — продолжал Мурашев, подавая ему бумагу, оставленную Гейером.— Вот тебе и перо.

Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сомнением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.

Сын бросился обнимать его. Мурашев, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханыков подошел к нему и крепко пожал ему руку.

— Теперь остается заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества — и дело будет кончено! — заметил прислужник Гейера.— Только советую вам не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.

— За штрафом остановки не будет,— сказал Мурашев.— Молчать также мы умеем, а теперь не мешало бы и пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.

Старик Аргаматов послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный по тогдашнему времени обед.

Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргаматова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые он потребовал, и секретарь с прислужником удалились, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобнови-

лось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.

Все сели потом за стол. Старик Аргаматов сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав, по привычке, упрек совести за сообщение в пищу с никонианами.

После стола Мурашев, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уж его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьевна оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету.

— Что за вздор! — воскликнул удивленный Мурашев. — Верно, сестра вздумала против воли увезти ее куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? — спросил он дворника. — Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.

— Не знаю, хозяин; кажись, генерал приезжал; а и то сказать, наверное не ведаю. Может статься, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я только, что у него на кафтане многое множество золотых вычур.

— Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Ивановичу. Выбрала же время, сумасшедшая!

Успокоясь этою догадкою, Мурашев пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргаматову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза книги его: *Приклады, како пишутся комплименты разные*. Он приискал форму благодарного писания за доброе угощение и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргаматов получил следующее письмо:

«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!

Моя должность и повеление от всея компании, которая честь имела от вас тако изрядно удовольствована быти, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю

за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особо обнадежить, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность чрез возможное воздаяние в самом деле пако воздать. Дорога в город назад нам зело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здоровье прекрасных испрожнять, тако что господин имярек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имярек штраф или пеню наложила, что он принужден последующего утра коляцию (или вечеринку с конфектами) учинить, при которой и о вас, высокопочтенном господине, не однажды напоминали, и правда общее желание к тому было, чтоб мы могли вскоре честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам чрез возможное услужение нашу преданность и склонное благоволение показать, егда б вы, мой высокопочтенный господин, нам здесь то великое счастье вкратце изволил подать, то б вы чрез то многих вяще облиговал: между которыми я особливо себя вам высоко обязанна быти признаваю и того ради в ревностном прилежании пребываю моего высокопочтенного господина и знатного патрона ко услугам готовый

Федор Мурашев».

Наступил вечер. Мурашев послал дворника к своему знакомому камер-лакею Ивану Ивановичу, чтоб звать сестру и дочь скорее домой; но дворник возвратился с ответом, что они во весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.

— Побери его нелегкая со всеми его штанами! — воскликнул Мурашев. — Не знаю, что и делать! Куда это, господи, девалась моя Ольга?

Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Ханыковым.

— А! дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин сесть хотели, — сказал старик Аргамаков. — Да скажи ради бога, что за письмо ты ко мне прислал?

— Мы трое его разбирали, но не все поняли, — прибавил Ханыков.

— Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уж так водится между всеми хорошими людьми.

— Благодарствую, Федор Власыч! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе трудна была? Ведь и я живу не за городом, по сю сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!

Мурашев, у которого вместе с парами наливов вылетело из головы содержание писанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.

— Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здоровье прекрасных. В наши ли лета, Федор Власыч, пить за их здоровье? Я подумал, что ты надо мной смеешься. Ты ведь один давеча от меня домой пошел?

— Один-одинехонек. С кем же мне было идти?

— А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение и какая-то девица на него пеню наложила, а именно: вечеринку с конфетами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел, да не знаю, к кому и куда.

— Неужто это у меня в письме написано? — сказал Мурашев, смутясь.

— Вот письмо твое: посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? — продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашеву.

— Экой ты, Илья Прохорыч! Да ведь все это так только пишется; это называется комплимент; а ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь: у меня дома неблагополучно.

— Что такое? — спросили все в один голос.

— Сестра и дочь пропали.

— Как пропали! — воскликнул Валериан, бледнея.

— Дворник мой говорит, что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать.

По общем совете решили: если Дарья Власьевна и Ольга не возвратятся к ночи домой, на другой день на рассвете разведывать об них по всему городу.

VII

Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.

В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неогра-

нической гордостью), назначена была, по ее требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решетки Летнего сада тогда еще не было. На ее месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не обделанному еще гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 году императрицею Анной Иоанновною; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в виде грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ныне Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведен был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, на берегу последнего канала находившийся, назывался Красною улицей. Примечательнейшее из этих зданий было собственный дворец императрицы Елисаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.

Наступил вечер, по счастью сухой и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу, между дерев, зажглись изредка площадки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами березы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромная качель и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на веревках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой — мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные оседланные лошади, а между ними столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханыков и Мурашев печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.

— Авось сегодня загадка разгадается! — говорил Мурашев со вздохом. — Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или по крайней мере глупую мою сестру.

— Я все думаю,— заметил Ханыков,— не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гулянье.

— Да от чего ж бы моя сестра парядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащит к себе, тому не до нарядов.

Долго бродили они по саду и наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окруженной деревьями площадке, где стояла карусель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина с копиями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,

Как будто тронулся обоз,

В котором тысяча немазаных колес.

При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание: «Браво!»

— Что за дьявольщина! — проворчал Мурашев, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину. — Это, кажется, моя сестрица изволит отличаться?

— Быть не может! — возразил Ханыков.

— Это именно она! — воскликнул Валериан.

— Что за диковина! — продолжал Мурашев. — Подойдем поближе.

Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в черной бархатной шапочке с красным страусовым пером, в генеральских фижмах, в длинной мантилье ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьева на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьём развешанные кольца. На лице ее сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив па копьё кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясало ее сердце, нежели клик «ура!» потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с нею разговаривал и смеялся, вероятно, стараясь ее развеселить. Судя по ее потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.

Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоять шпаги, он верно бы бросился к генералу, если б Ханыков не остановил его, крепко схватив за руку своего друга.

— Ради бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?

— Пусти меня! — кричал Валериан, вырываясь. — Пусти меня к этому бездельнику!

— Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!

По счастью, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близстоявших зрителей не мог расслышать слов его.

Между тем Мурашев с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такою досадой, что у него в горле дух перехватывало.

Случайно увидела она его в толпе. Мурашев, выйдя из себя, погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головою, прищурила один глаз, улыбнувшись, в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.

— Недаром сказано в «Советах премудрости», — ворчал сквозь зубы Мурашев, желая чем-нибудь себя успокоить. — «Приключилась в нашей натуре порча, коя производит беспутные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слезы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своеобразием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим».

Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посреди круга у столба секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:

— Девица фон Мурашева осталась победительницею!

— Браво! — закричали все участвовавшие в игре и захолопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она начала раскланиваться и приседать, повертываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с нею из саней, адъютант его взял под руку Дарью Власьевну, и все общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.

Генерал, шедший с Ольгой, был старший брат Бирона,

Карл. Сначала служил он в России, попался в плен к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешел в русскую службу и по милости брата в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если б они были получены им на сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.

На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угодить и был ревностный исполнитель его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навел генерала на добычу. В то время как Дарья Власьева и Ольга сидели под караулом в доме Мурашева, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюбленным в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же пересхать к нему на несколько дней с его невестой в загородный дом. Дарья Власьева совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось, что Ольга должна считать себя счастливейшею из смертных, выйдя замуж за брата регента; что отец Ольги будет тех же мыслей; что не исполнить требования брата герцога — значит погубить и Ольгу и всех родных ее. Все это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все ее опасения, почти насильно ее одела в лучшее ее платье и вынудила ее согласие отправиться в карете с генералом.

— Чего ты, дурочка, боишься? — говорила она, одевая Ольгу. — Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно должно исполнить просьбу генерала; не то попадем все в большую беду. Будет еще время, после подумаем и с отцом посоветуемся. Вообрази — ты будешь родня его высочеству герцогу! Шутка ли это!

Карл Бирон, со своей стороны, старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не нравится, то принуждать ее не станет выйти за него замуж. «Впрочем, — прибавил он, — мудрено не полюбить меня, узнав покороче».

Дарья Власьева, одев Ольгу, вывела ее к генералу и с трепетом сердца сказала:

— Так как и я удостоена счастья быть приглашенною к вашему превосходительству, то не позволю ли мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в блистательном доме вашем?

— Да, да! — отвечал Карл Бирон, удерживаясь от смеха. — Это необходимо; я этого требую.

Дарья Власьевна тотчас облеклась в *генеральские* фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала еще несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой теткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там всеми мерами старался он веселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как Дарья Власьевна, не подозревая истинных намерений генерала, блаженствовала в его доме, обходила с ним как родственница, величалась своими широкими фижмами и любовалась перед зеркалами своим длинным шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила возвратить ее в дом отца. Бирон говорил, что он жить без нее не может, и упрашивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности когда-нибудь ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению преступной цели своей, медлил и в этом медлении находил наслаждение. Так сытая кошка, поймавшая молодую птичку, которая еще не может летать, любит свою жертву, играет с нею и не вдруг ее съедает.

Утром того самого дня, когда праздновали рождение герцогини, Карл Бирон неожиданно вошел в комнату, которую он отвел в своем загородном доме для Ольги и ее тетки. Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла еще перед зеркалом и оканчивала свой туалет. Волосы ее еще не были причесаны; она только что приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила из рук другую фижму на пол, схватила платье со шлейфом и надела его на себя почти так же быстро, как переменяют платье на актерах, когда они превращаются в волшебных операх и балетах. Ольга помогла ей кое-как застегнуть крючки лифа.

— Извините! — сказал, войдя, Бирон. — Я, кажется, перепугал вас. У меня просьба до вас, Дарья Власьевна: сходите поскорее в гостинный двор и купите две мантильи

для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером назначено в Летнем саду гулянье. Вот вам деньги.

— Мне, право, так совестно! — сказала жеманно Дарья Власьева, поправляя волосы и прикрывая рукою бок, на котором не было еще фижмы. — Я еще не кончила своего туалета; я никак не ожидала так рано вашего посещения...

— Ничего, не беспокойтесь! Между родственниками что за церемонии. Сходите же скорее в гостиный двор.

— С величайшим удовольствием. Позвольте только кончить туалет. Осмелюсь вас попросить на минуту выйти из комнаты.

— Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь, чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, подите скорее. Вот вам мантилья ваша.

Делать было нечего, Дарья Власьева надела мантилью, закрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одною фижмою. «Подумают, что я или кривобока, или с ума сошла, — размышляла она дорогой, браня вполголоса Карла Бирона. — Ай батюшки, срам! Я со стыда сгорю! Этак целый гостиный двор насмешишь».

— Мы остались одни, Ольга! — сказал Бирон, взяв ее за руку. — Давно хотел я поговорить наедине с тобою. Реши судьбу мою, скажи: любишь ли ты меня?

— Оставьте меня, генерал, ради бога! — сказала умоляющим голосом Ольга, вырывая руку свою из руки Бирона.

— Ты боишься меня? — продолжал он. — Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! я без тебя жить не могу. Сядь сюда, сядь на эту софу, моя милая. Успокойся. Поговори со мною. Неужели ты захочешь погубить меня? Если ты не согласишься быть моею женою, я застрелюсь, я в воду брошусь, я...

Он с силой посадил трепещущую Ольгу на софу и обнял стан ее одною рукою.

— Помогите! Помогите! — закричала девушка.

— Ты напрасно будешь кричать: во всем доме никого нет, я разослал всех людей моих; мы только двое в этом доме. Ольга, обними меня, назови женихом своим. Ты будешь счастлива; все будут тебе завидовать. Не забудь, что я родной брат герцога.

— Вы забыли это, генерал, — отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, — вы поступаете как разбойник!

— Разбойник! — вскричал Бирон. — О! за эту дерзость

надобно наказать тебя. Перестань же упрямиться, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, как я люблю тебя: кто бы, кроме тебя, назвал меня безнаказанно разбойником? Невесте моей я все прощаю. Перестань же дичиться, я жених твой, да! Я или никто!

С отчаянным усилием Ольга вырвалась из объятий Бирона, подбежала к столу, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив ножик, приставила его к своему сердцу.

— Ольга! Ольга! Что ты делаешь! — закричал Бирон, вскочив с софы.

— Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг — и на твоей душе будет смерть моя!

— Брось, брось ножик! Я не подойду, не трону тебя, я выпущу тебя сейчас же из моего дома.

— Поклянись в том твоею честью, если она в тебе есть. Но как поверить тебе? Ты обманешь меня. Нет, смерть, одна смерть спасет меня. Отошли меня теперь же к батюшке, чтобы он похоронил меня. Не хочу и мертвая быть в твоей власти. Боже мой!

Она занесла руку, метя острием ножа в сердце.

— Остановись! — вскричал в ужасе Бирон, бросаясь на колени. — Клянусь честью, что отпущу тебя в дом отца твоего, клянусь честью! Я никогда не изменял своему честному слову.

— И ты правду говоришь?

— Никто меня до сих пор не смел об этом спрашивать, — сказал гордо Бирон, вставая. — Успокойся, Ольга, я тебя уважаю. Брось ножик и дай мне руку. Мир, мир! Забудь нашу ссору и мое безумство. Я потерял рассудок от любви к тебе.

Ольга положила ножик на стол.

— Я верю твоему честному слову.

В самом деле Бирон оставил ее в покое и повторил обещание отпустить ее тотчас же в дом отца, как скоро возвратится Дарья Власьевна. Между тем эта однофижменная особа, ни жива ни мертва, ходила по гостиному двору. Ей мерещилось, что все на нее указывают пальцами, хохочут и спрашивают: где ее другая фижма? Уперши одну руку в бок, она оттопыривала локтем свою мантилью, чтобы скрыть ужасный дефицит своего наряда, и оттого принуждена была вынимать деньги из кошелька, получать сдачу и брать покупку все одною рукою: другая была на бессменной страже при бесфижменном боку во

всю дорогу до гостиного двора и обратно, до загородного дома Карла Бирона.

С помощью тетки Бирон успел упросить Ольгу остаться у него до завтрашнего дня и вечером поехал вместе с ними в Летний сад на гулянье, нимало не опасаясь встретиться с отцом Ольги, в уверенности, что он легко одурачит рыбного поставщика так же, как и сестру его; а в случае нужды прикажет Гейеру унять его, если б этот купец из нижних и подлых людей (так в те времена говорили и писали не только о черни, но и о среднем классе народа) осмелился что-нибудь пикнуть против человека из знатных. Он не терял еще тайной надежды заслужить любовь Ольги и придумывал к тому средства.

— Здравствуй, сестра! — сказал робко Мурашев, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно смотрела на качавшегося льва.

— А, братец! Давно уж мы не видались.

— Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь! — продолжал Мурашев вполголоса, опасаясь, чтоб его не услышал генеральс-адъютант, который стоял подле Дарьи Власьевны в звании ее кавалера.

— Не всякому удастся на таких конях поездить, братец! — возразила Мурашева. — Карусель сделана только для знатных.

— Вот что, изволишь видеть! — сказал с досадой брат, которого забирала непреодолимая охота вцепиться в волосы умной сестрице. — А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом?

— Она его невеста. Я тебе все после растолкую, братец!

— Невеста! Не спросясь отца, она замуж выходит! Да я ее проклянущу и тебя с нею вместе.

Адъютант взглянул в это время на Мурашева, и он, понизив голос, продолжал:

— Не ты ли дочь мою сосватала?

— Его превосходительство сам изволил к ней присвататься.

Мурашев знал поведение Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душою. Перед его глазами была гибель дочери; но где, в ком искать правосудия и защиты против брата регента? В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и бросилась со слезами

отцу на шею. Безмолвно прижал он несчастную дочь к груди своей.

— Это не отец ли моей невесты? — спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо приблизясь к ней.

— Точно так, ваше превосходительство.

— Рекомендуй меня ему, пожалуйста, мы еще с ним незнакомы. Господа! извольте отойти подальше отсюда! — закричал он толпившемуся народу. — Для гулянья довольно здесь места и кроме этого.

Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому о случившемся происшествии, опасаясь, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о брате герцога, не закричал: «Слово и дело!»

— Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, — сказал Бирон ласково Мурашеву. — Ты, вероятно, знаешь уже мое намерение и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься от чести быть тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.

Он вынул из кармана кошелек с золотом и подал Мурашеву.

— Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! — отвечал Мурашев, едва держась на ногах. Кровь кипела в нем, в глазах у него темнело; он задышался. — От подарка позвольте отказаться!.. Если смею сказать, мне кажется, что дочь рыбного поставщика не годится в невесты вашему превосходительству.

— И! какой вздор! Почему ж не годится? Мое дело выбирать себе жену. Да что ты так бледен? Верно, нездоров? Мы с тобой еще поговорим об этом, я к тебе приеду. Гейер! Возьми под руку этого почтенного человека и отвези домой в моей карете. Я советую тебе, любезный, тотчас же лечь в постель, ты очень нездоров.

Гейер взял под руку Мурашева и повел к карете.

Ольга хотела броситься вслед за отцом, но Бирон, взяв ее за руку, сказал ей:

— Я тебя сам домой отвезу, а теперь еще не лишай меня удовольствия погулять с тобою. Я приказываю! — прибавил он повелительно, и Ольга, оробев, почти в беспомоществе, подала ему руку.

Между тем Валериан, вырвавшись из рук Ханыкова, с чрезвычайным усилием увлекшего его в толпу, побежал прямо к Бирону.

— Генерал! — сказал он прерывающимся голосом. — По какому праву отнимаете вы у меня невесту?

Бирон, приметив, что Ольга лишается чувств, посадил ее на качель и оборотился к Валериану, поддерживая Ольгу одною рукою.

— Это что значит? — воскликнул он гордо. — Вы, сударь, забыли субординацию — мне и чести не отдаете! Я вас велю арестовать.

— Не говорите о чести, у вас нет ее. Вы недостойны произносить это слово! Пусть отрубят мне голову, но я говорю и до казни буду повторять, что вы низкий и подлый человек! Велите же схватить меня; я ведь знаю, что вместо вас палач разделается со мною.

— Дерзкий мальчишка! — вскричал в бешенстве Бирон, отскочив от Ольги, которую поддерживала с другой стороны Дарья Власьевна. — Я тебе обрублю уши в доказательство, что я никогда не отказываюсь от дуэли и понимаю законы чести; потом уже тебя расстреляют за дерзость.

— Скажите лучше, расстреляют прежде, а потом уши обрубят. Вам стоит, по законам чести, принять мой вызов и потом попросить только к вам в секунданты вашего брата.

— Замолчи, безумец, или разрублю тебе голову!

— Тогда и поединка опасаться нечего. Что ж вы медлите? Рубите, вот моя голова!

Валериан снял шляпу. Лицо его пылало, как у больного горячкою. Бирон скрежетал зубами.

— Выбирай оружие! — сказал он, задыхаясь от бешенства.

— На саблях!

— Хорошо! Драться будем без секундантов!

— На все согласен!

— Завтра явись в пять часов утра в Екатерингоф. Я не заставлю ждать себя.

— Итак, до свидания! — сказал Валериан и медленно пошел от качели, ничего не видя перед собою.

— Возьмите этого молодца! — раздался голос. — Он, видно, забыл, что регенту должно честь отдавать. Я тебя проучу, негодный!

Валериан опомнился и увидел близ себя герцога Бирона, который с женою своею и многочисленною блестящею свитой шел к карусели.

Два человека в плащах, гулявшие вместе с другими, выскочили вдруг из толпы и схватили Валериана.

— Ведите его, куда должно! — продолжал герцог. — Странно для меня, фельдмаршал, что ваши подчиненные

отваживаются при ваших глазах на такие беспорядки.

Граф Миних, к которому были обращены эти слова, в самых почтительных выражениях извинился перед герцогом.

Приблизясь к карусели, герцог остановился перед одною из деревянных лошадей и начал внимательно ее рассматривать.

— Скажите мне, принц! — сказал герцог принцу Брауншвейгскому, — какие недостатки находите вы в этой лошади?

— Главный недостаток тот, что на ней далеко не уедешь. Все надобно кружиться около столба.

— Гм! А вы не пробовали на ней ездить?

— Нет, я вообще не большой охотник до лошадей. Страсть к ним не слишком прилична для принцев!

— Это сказано на мой счет, принц! Но я не стыжусь своей страсти к этому благородному животному. Я не сержусь: однако ж за насмешку попрошу поездить на деревянной лошади.

— Охотно согласен! Не слишком будет странно видеть живого человека на деревянной лошади; гораздо страннее видеть на живой лошади деревянного всадника. Мне случилось это видеть... когда диких лошадей объезжают.

— Но всадник, на которого вы намекаете, умеет управлять не только всякою бешеною лошадыю, но и людьми, не исключая даже принцев. Не угодно ли сесть на коня. Советую вам быть осторожнее: иногда и с деревянной лошади можно упасть неожиданно и гораздо скорее деревянного всадника.

— Они опять поссорятся! — шепнула Миниху супруга принца Анна Леопольдовна. — Постарайся, фельдмаршал, предупредить ссору.

— Попробую я этого буцефала! — сказал Миних, вскочив на лошадь и взяв копые для снятия колец. — Не угодно ли будет вашему высочеству последовать моему примеру? Пусть этот круг покружит принца и фельдмаршала точно так, как колесо счастья кружит на свете всеми смертными.

— Иногда с колеса счастья можно попасть на другое колесо, — сказал сквозь зубы герцог, видя, что Миних берет сторону принца.

— Подождите, фельдмаршал, — вскричала супруга Бирона, — я сяду в сани, и начнем игру. Посмотрим, не удастся ли мне пристыдить фельдмаршала и остаться победительницей.

— Пред всеми дамами я без сражения кладу оружие; но если вашему высочеству угодно, я готов сражаться с вами. Это от вашей воли зависит.

Начали вертеть круг, и вскоре Миних снял почти все кольца на копье; принц нехотя снял три кольца; герцогиня ни одного.

— Какой грубиян! — сказала она вполголоса. — Мой муж должен заступиться за честь мою. Я прошу тебя, мое сердце.

Герцог, нахмутив брови, сел на лошадь и взял копье. Не терпя чужого торжества над собою даже в игре, он начал со всевозможным старанием снимать кольца, но Миних опять остался победителем.

— Довольно! — сказал с досадой герцог. — Теперь пусть фельдмаршал покажет свое искусство на качели. Это будет едва ли не первый в свете случай, что фельдмаршал покачается на веревке. Впрочем, чего не может случиться в свете!

— Чтоб сделать угодное вашему высочеству, я сяду верхом на этого льва и размаху его на славу. Пусть все скажут, что я умею взнуздать даже неукротимого повелителя зверей и ездить на нем верхом, как на самой смиренной кляче.

Между тем как Миних при общем смехе качался на деревянном льве, по наружности предаваясь веселости, а в глубине сердца скрывая негодование на самовластного Бирона, несчастного Валериана вели два лазутчика к берегу Невы. Его убивала мысль, что брат Бирона, являсь на другой день на место поединка, не найдет его там и что Ольга лишится в нем последней защиты. Неожиданно увидел он высокого и широкоплечего солдата, находившегося у него под командой, который с женою своею, присев под дерево, наслаждался также гуляньем и щелкал с нею взапуски каленые орехи.

— Служивый! — закричал Валериан.

— Что прикажете, ваше благородие? — отвечал солдат, мигом пересыпав орехи из полы своей шинели в передник жены и подбежал к своему офицеру.

— Освободи меня из рук этих бездельников.

— Сунься-ка, смей нас тронуть! — проворчал один из лазутчиков. — Мы ведем его по приказанию его высочества. Убирайся прочь и не в свое дело не мешайся.

— Ах ты барабанная палка! — крикнул солдат. — Да как ты смеешь мне приказы давать! Завернулся в

суконный балахон, да уж и думает, что ему черт не брат! Неужто я этакого, как ты, балахонника скорее послушаюсь, чем моего законного командира? Пустите тотчас же его благородие, не то худо будет! Прикажете, ваше благородие? — продолжал солдат, сжав преогромный кулак и становясь в наступательное положение.

Валериан подал знак солдату, и тот наскочил, как лев, на одного лазутчика, отвесил ему такого разза по шее, что сразу сшиб его с ног; потом кинулся на другого, схватил за воротник, приподнял и бросил на землю.

— Молодец! Спасибо! — подумали стоявшие вокруг люди, но никто не смел и знаком показать, что он одобряет поступок солдата.

— Беги со мной, — сказал Валериан, — чтобы бездельники к тебе не привязались. Проводи меня до дому. Махни жене твоей, чтоб она от нас не отстала.

Валериан приближался уже к своему дому, когда попался ему навстречу бывший его товарищ, отставной капитан Лельский. Дав солдату рубль за его услугу, он отпустил его домой; но солдат, убежденный в совести, что он поступил как должно, исполнив в точности приказание начальника, и что за это приказание, если б оно было неправильно, должен отвечать начальник, спокойно возвратился с женою на Царицын луг и прогулял благополучно все время, на которое был отпущен.

— Что ты так встревожен, Валериан? — спросил Лельский.

Тот рассказал ему подробно свое приключение.

— Все это должно же когда-нибудь кончиться! — воскликнул с негодованием Лельский. — Дай мне честное слово, что ты никому на свете не скажешь, что я тебе открою.

— Изволь! Клянусь честью!

Лельский, войдя в комнаты Валериана, имел с ним продолжительный тайный разговор.

Прощаясь с Лельским, Валериан подал ему руку и сказал:

— Тотчас после поединка, если жив останушь, явлюсь к тебе, и располагай мной. Я ваш!

Около одиннадцати часов вечера Ханыков возвратился домой. (Он жил в одном доме с Валерианом.) Несмотря на свое хладнокровие, Ханыков чуть не бросился с горя в Неву после происшествия с его другом. Он видел, как его повели два человека по приказанию герцога, и считал уже

Валериана невозвратно погибшим. Но как удивился он, когда, подходя к дому, увидел свет в окошках Валериана. Немедленно побежал он к нему в комнаты и застал, что друг его точит на оселке саблю.

— Что это значит? — спросил он, указывая на саблю.

— Завтра в пять часов утра назначено у нас свидание с братом герцога.

— Так ты только за этим вырвался у меня из рук, пылкая голова?

— Дело уже сделано; теперь советы и упреки не у места.

— Согласен; но за несколько часов советы мои были бы очень у места. Жаль, что я не вдвое сильнее тебя. Ни за что бы на свете ты у меня не вырвался.

— Позволь сказать, что было бы низко с твоей стороны меня удерживать. Кто бы мог на моем месте хладнокровно вытерпеть эту пытку: видеть бедную Ольгу в руках гнусного оболстителя? Кто бы это вытерпел, тот был бы не человек.

— Первый я был бы не человек на твоём месте. Конечно, я не бывал никогда порядком влюблен и не могу хорошенько судить об этой приятной горячке; однако ж мне кажется, что я бы никак не бросился браниться с Бироном. Я бы наперед посоветовался бы, например, с фельдмаршалом, попросил бы его защиты, и, верно, дело бы уладилось без дальних хлопот. А теперь что вышло от твоей запальчивости? Или он тебя убьет, или ты его, а не то кто-нибудь из вас другого ранит. Если он останется победителем, чего не дай бог, то он будет считать Ольгу своею неотъемлемой добычею, взятою с боя. Если ты его убьешь или ранишь, то герцог об этом непременно узнает — и ты пропал.

— К чему теперь все эти рассуждения? — сказал с досадою Валериан.

— А к тому, чтобы ты пошел к фельдмаршалу Миниху и просил его покровительства. Я уж рассказал ему твою историю. Он берется быть посредником между братом герцога и тобою, и, без сомнения, дело кончится выгодным для тебя миром. Его посредничество для тебя много значит.

— И Карл Бирон после этого будет везде называть меня подлым трусом. Нет, нет! Мы должны с ним драться. Пусть я лишусь Ольги, лишусь жизни, но я должен драться! Честь мне дороже жизни.

— А что такое честь?

— Странно, что капитан гвардии меня об этом спрашивает.

— Для меня было бы страннее, если б капитаны всего света и со мной вместе сделали точное и безошибочное определение чести. Оно не так легко, как кажется. По общему понятию о чести, она велит без страха идти на неприступную батарею и лить кровь за отечество; она же велит вступить за неосторожно сказанное слово, которым задето наше самолюбие, или за подобный вздор, и так же проливать кровь, как и за отечество. Воля твоя! Не клепят ли на честь, когда говорят, что она велит делать такие глупости? Кто украдет у другого рубль, все кричат: бездельник! А кто похитит на поединке жизнь, которой за сокровища целого света возратить нельзя, все твердят: он прав, ему честь это велела!

— По крайней мере мы не за вздор будем драться с Бироном.

— Согласен; но, как я сказал уже тебе, дело могло бы обойтись без драки и кончиться гораздо для обоих вас выгоднее. Послушайся дружеского совета: пойдем к фельд-маршалу.

— Ни за что на свете! Я вызвал врага и должен с ним драться. Теперь уже размышлять поздно.

— Зачем же ты поторопился его вызвать? Не лучше ли бы было размыслить не поздно, а пораньше?

— Не все одарены твоим рыбьим хладнокровием. Посмотрел бы я, что бы ты сделал, если б тебя кто-нибудь обидел.

— Я бы простил обидчика — и торжество осталось бы на моей стороне.

— А если б он не извинился?

— Тогда бы еще более было великодушия простить его.

— Но тебя все стали бы называть трусом.

— Кто? Молодые, ветреные мальчишки, которые еще порохового дыма не видали в сражении, воображают себя героями и кричат о чести, которой не понимают. Смешно было бы окуренному порохом капитану плясать под их дудку. Я бы сказал им: господа! что я не трус, то могут засвидетельствовать все мои сослуживцы, бывшие со мною в одиннадцати сражениях. Вы еще не были ни в одном и обо мне судить не можете. Я берегу кровь свою для отечества и не намерен тратить ее на поединках. Советую и вам вашу молодую кровь и будущую храбрость поберечь

до первой битвы. Там доказывается истинная храбрость. Но теперь некогда пускаться в рассуждения. Пойдем скорее к фельдмаршалу.

— Оставь меня! Напрасно слова теряешь; не убедишь меня ничем!

— Ты говоришь решительно?

— Решительно.

— А кто твой секундант?

— Никто.

— Как никто? Да тебе без секунданта снесут, пожалуй, голову с плеч прежде, нежели ты саблю вынуть из ножен успеешь.

— Мы так условились.

— Глупо сделали. Если ты, чего не дай бог, убьешь Бирона, то тебя просто казнят, как убийцу. Он уж не засвидетельствует, что ты его отправил на тот свет по всем правилам чести, а ты хоть и будешь божиться, да тебе не поверят.

— Что же делать?

— Я съезжу к Бирону и скажу, чтоб он выбрал секунданта.

— А мой кто будет?

— Да уж подумайся раз в жизни. Может быть, мне и помирить вас удастся.

— Напрасный будет труд! Я поссорюсь с тобой! Сделай милость, не мири нас.

— Ну, ну, хорошо! Не стану мирить; дерись, сколько душе будет угодно. Послушай, Валериан, посоветуйся, пожалуйста, с благоразумием в ожидании моего возвращения. Я теперь же еду к Бирону. До свидания!

Через несколько времени Ханыков возвратился с ответом, что Бирон на предложение о секундантах согласился.

— Ну, что тебе сказало благоразумие? — спросил Ханыков, глядя с участием на своего друга. — Ехать к фельдмаршалу?

— Нет, в Екатерингоф.

— Видно, и благоразумие иногда может давать преглупые советы. Делать нечего! Да полно уж тебе точить саблю. Я думаю, что ею можно теперь выбрать бороду Бирону за недостатком бритвы. Ложись скорее в постель. Проведя ночь без сна, ты ослабеешь. Желаю тебе на сегодня богатырского сна, на завтра богатырской силы да хладнокровия, которое везде полезно, даже на поединке. Доброй ночи, Валериан. Я не стану раздеваться и усну

здесь, на твоей софе. Ну вот, перестал точить, так принялся из угла в угол ходить по комнате! Ложись, говорят тебе, скорее. Что будет, то будет, а будет то, что бог даст.

VIII

В Екатерингоф, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятия им и Меншиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, Валериан явился в пять часов утра с своим другом, задолго до рассвета. Вскоре прибыл и Бирон с своим адъютантом. Удалясь с потаенным фонарем в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханыков и адъютант Бирона взяли по зажженному факелу и стали один с правой, другой с левой стороны поединщиков. Красное сияние отразилось на блестящих саблях.

— Начинай, храбрый мальчик! — сказал Бирон, желая смутить Валериана. — Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Карла Бирона! Не далее как сегодня вечером тебя понесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование.

— Еще неизвестно, к кому оно относится, — возразил спокойно Валериан. — Вам следует начать, генерал! Я вас вызвал.

— Но прежде должно условиться, — заметил Ханыков, — насмерть ли драться, или до первой раны?

— До тех пор, пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву! — отвечал Бирон.

— Говоря о моей голове, вы забыли о своей! — сказал Валериан. — Впрочем, я согласен драться насмерть.

— Я бы советовал — до первой раны, — продолжал Ханыков. — Генерал! Мой друг так молод...

— Прошу секунданта не мешаться не в свое дело. Условия от нас зависят.

— Начинайте же! — сказал Валериан. — Мы не разговаривать сюда пришли.

Бирон, взмахнув высоко саблю, повернул ее несколько раз над своею головою так быстро, что раздался свист, и отблеск сабли образовал круг, едва заметный по бледному и красноватому сиянию. Пристально смотря на ногу Валериана, как будто намереваясь нанести удар по ноге, Бирон вдруг выпал и, без сомнения, разрубил бы против-

нику голову, если бы Валериан, отстранясь, не отвел удара. Сабля, шипя, соскользнула по клинку и ушла до половины в землю.

Бирон, невольно пошатнулся всем телом вперед, едва устоял на ногах.

— Выньте скорее вашу саблю. Я не хочу пользоваться вашим положением.

Бирон с усилием выдернул из земли свое оружие и снова напал на Валериана. Быстро наносимы были удары и еще быстрее отражаемы. Гул глухо повторял вой дребезжащей стали. Как красные лучи молнии, вдали сквозь сгущенный воздух сверкающей, вились сабли, отражавшие блеск факелов; яркие искры вспыхивали над головой и у ног противников почти в один и тот же миг.

— Ай да Валериан! — думал про себя Ханыков. — Не забыл моего совета: хладнокровно дерется!.. Тьфу, как тот озлился!.. Ай, ай, чуть-чуть сабля не задела друга по голове!.. Ну, скверно! И он горячиться начинает!

Вдруг сабля Бирона вылетела у него из руки от искусного удара Валериана, который в тот же миг занес свою саблю над головою смутившегося противника.

— Вы должны теперь, генерал, признать себя побежденным. Дарю вам жизнь, но с тем условием, чтобы вы дали слово отступить от моей невесты и не мешать моему счастью.

— Руби! — вскричал Бирон в бешенстве, сложив гордо руки на груди и свирепо смотря на Валериана. — Карл Бирон никогда не страшился смерти!

— Согласны ли на мое предложение?

— Нет!.. Руби! Брат мой отомстит смерть мою. Тебя обвенчают на колесе с твоею невестой!

Сказав это, Бирон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта.

— Низкая душа! — воскликнул Валериан. — Я этого ожидал от тебя. К чему ж ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы на верное сохранение в подлые руки палача. Но это не спасет тебя. Умри!

Валериан, высоко взмахнув саблю, разрубил бы череп Бирону, если б Ханыков не удержал руки его.

В это время в некотором расстоянии, между деревьями, показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога Гейер с четырьмя вооруженными прислужниками стал между противниками.

— Свяжите их! — сказал он, указывая на Валериана и Ханыкова. — Хорошо, что мы еще вовремя отыскали вас.

— Не троньте их! — закричал Бирон.

— Я исполняю повеление его высочества герцога, — продолжал Гейер.

— Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения?

— Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже и то, что каждый думает. Вяжите их!

— Остановитесь! Я беру на себя всю ответственность в этом деле и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти, куда хотите. Карл Бирон знает законы чести!

— Это благородно, генерал! — сказал Ханыков. — Вы, верно, оправдаете моего друга пред его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью.

— Нимало! Ты удержал его руку: я ему ничем не обязан! Мы по-прежнему враги, враги непримиримые.

— Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли? — спросил Валериан презрительно.

— Дерзкий мальчишка! Поединок наш еще не кончен! Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою голову скорее, чем топор палача. Гейер! не смей их трогать волосом, пока я не объяснюсь с братом.

Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бироном и его адъютантом, а Валериан и Ханыков пошли в другую сторону.

— Ну что, Валериан? Не правду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему доброму тебя не приведет? Теперь судьба Ольги еще безнадежнее, чем прежде; а мы оба должны ожидать неминуемой гибели. Герцогу уже все известно; на ходатайство врага полагаться можно столько же, сколько на весенний лед, когда он кажется твердым, но стоит только ступить на него, чтобы провалиться. Я, впрочем, о себе не думаю! Умереть надобно же когда-нибудь! Мне тебя жаль, Валериан. Без сомнения, герцог...

— Недолго будет он!.. — воскликнул Валериан и вдруг прервал речь, вспомнив честное слово, данное им Лельскому.

— Что ты сказать хотел?

— Так, ничего!.. Мысли мои очень расстроены... Да, мой друг, положение наше ужасно!

— Ты что-то таишь от меня, Валериан? — продолжал Ханыков, глядя пристально в глаза другу. — Давно ли я лишился твоей доверенности?

Валериан почувствовал справедливость этого упрека; сердце его рвалось открыться другу, но честное слово, слишком скоро и необдуманно им данное, его связывало.

— Ты молчишь? — продолжал Ханыков. — Не боишься ли, что я донесу на тебя?

— Ах боже мой! Не обижай меня, друг. Если б ты мог видеть, что происходит здесь, — сказал Валериан, указав на сердце, — ты бы ужаснулся и пожалел меня.

— Я опять повторяю мой всегдашний совет: старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должно. Я бы тебе мог дать совет основательнее, если б ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал твоих мыслей и чувствований от друга; но ты уже не хочешь быть со мною откровенным!

— Я ничего от тебя не скрываю.

— И ты правду говоришь? — сказал Ханыков голосом, выразившим дружескую укоризну. — Ты не обманываешь своего друга? Почему ж ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тайный замысел. Дай бог, чтоб не пришло время, когда ты расквесишься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений? Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя к тебе всегда брала их отсюда! — Он положил руку на сердце.

— Друг! Не усиливай упреками моих мучений, — сказал с жаром Валериан. — Я связан честным словом и должен молчать.

— Ах, Валериан! Недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия чести. Обдумал ли ты хорошо твое честное слово? Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игрище страстям.

— Обдуманно ли я поступил — увидим это скоро, — отвечал Валериан, подавая Ханыкову руку.

В это время перешли они по узкому деревянному мосту из Калинкиной деревни на другой берег Фонтанки и вско-

ре поравнялись со слободами адмиралтейских и морских служителей¹. Молча дошли они по обросшему травой берегу Фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком Обуховым.

— Валериан! Это какое здание? — спросил Ханыков, взяв друга за руку и указывая на большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным частоколом.

— Это бывший загородный дом кабинет-министра Воынского.

— А теперь чей этот дом?

— Теперь живет в нем полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты, с придворными егерями и собаками.

— Почему?

— Станный вопрос! Разве ты не знаешь, что все имение Воынского конфисковано в казну после того, как отрубили ему голову? Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырех месяцев.

— А за что отрубили ему голову?

— Опять странный вопрос! Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Воынский осмелился против него действовать.

— Валериан! Тогда еще герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Воынского: что случилось с ним, то и с другим ныне гораздо легче случиться может; не правда ли?

Валериан невольно содрогнулся и ничего не ответил.

Миновав Аничков мост, они приблизились к дому старика Аргамакова.

— Куда же мы теперь? — сказал Ханыков. — Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдем прямо к графу Миниху и будем просить его защиты, он один нас спасти может.

— Я зайду на один миг к батюшке и вслед за тобой явлюсь к графу.

— Ради бога, не замедли. Прощай!

¹ Слободы эти начали строиться после ужасных пожаров 1736 и 1737 годов, когда дома адмиралтейских и морских служителей, занимавшие нынешние Морские улицы, превращены были в пепел. Новое место, для постройки им домов отведенное, называли Колониею. Это слово превратилось в простонародном употреблении в Коломну.

Ханыков пожал руку Валериана и поспешно пошел вперед. Когда он повернул в переулок, молодой друг его, посмотрев несколько времени на дом отца, воротился к Аничкову мосту и вошел чрез калитку на обширный, заросший дикою травою огород, окруженный ветхим забором, который, начинаясь на берегу Фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты.

Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг вышла монахиня и приблизилась к Валериану.

— Чем кончился твой поединок? — спросила она.

— Ах, Лельский! Я едва узнал тебя; как ты хорошо перерядился.

Они вошли опять в хижину, и Валериан рассказал ему подробности поединка.

— Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя! — воскликнул Лельский. — Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик...

— Разве решено уже приступить так скоро к делу?

— Нет еще. Сегодня все наши соберутся в дом графа Головкина к назначенному в три часа обеду; там приступим к общему совещанию. Мы, однако ж, пойдем к графу несколько ранее. Я еще должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина. Вон дом его!

Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект.

— Боже мой! Сюда кто-то идет! — воскликнул Валериан, глядя в окошко.

— Не бойся! Это также наш; я его ожидал.

Вскоре вошел в хижину тот самый прислужник Гейера, который был вместе с ним в доме отца Аргамачева, когда принуждали его подписать отречение от раскола. Валериан, тотчас узнав прислужника, изумился.

— А! Да здесь знакомый! — сказал вошедший. — Видно, и он из наших?

— Точно так, — отвечал Лельский. — При нем можно все говорить. Ну, что нового, любезный Маус?

— Ни всемогущий герцог, ни всеведущий Гейер ничего еще не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь! — продолжал прислужник, обратясь к Валериану. — Брат герцога отстоял только вашего друга капитана за то, что он не допустил вас разругать ему голову на поединке.

И в вашу защиту он сказал слова два, три; но когда герцог закричал: «Расстрелять его!» — то ваш противник, не найдя, видно, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал.

— Я думаю, теперь везде поручика ищут? — спросил Лельский.

— Как же! Гейер велел мне везде искать вас и схватить, — сказал Маус Валериану. — Берегитесь, господин поручик! Я вас днем и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, что иногда и найденного можно искать пуще ненайденного. Между прочим, должен вам еще сказать, что Гейер велел, куда вас не сыщут, держать под караулом вашего отца и объявил ему, что если он не скажет, где вы, то подписанное им отречение ереси будет представлено герцогу в виде признания и отца вашего сожгут.

— Что с вами, поручик? Вы ужасно побледнели и дрожите, — сказал Лельский. — Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит.

— Да, да! Я шучу, хотя и не совсем, — сказал Маус. — Гейер пугает вашего отца; ну, а сожгут ли его, это еще вопрос. Может быть, он сказал так, для шутки, хотя это, по моему мнению, шутка плохая.

— Мы предупредим это злодейство, — сказал Лельский Валериану, — успокойся.

— Веди меня к Гейеру! — воскликнул вдруг Валериан, обратясь к Маусу.

— Что вы, поручик! Шутите? — сказал удивленный прислужник.

— Веди! Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить злодеев и спасти бедного отца моего. Веди!

— Я не пушу тебя! — вскричал Лельский. — Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть все и предать всех нас. Притом вспомни, что ты поклялся честью действовать с нами заодно до окончания дела.

— Клянусь честью, что никакие мучения пытки не принудят меня изменить вам.

— И что ты так же твердо сдержишь и эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употребить силу и даже... этот кинжал. Он приготовлен для защиты от злодеев; он же может наказать и бес-

честного человека, который нарушает свое слово. Если пойдешь к Гейеру, то докажешь, что ты подлый человек.

Чувство чести и чувство любви к родителю, восстановленные одно против другого в душе Валериана, боролись между собою и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга.

Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели наконец убедить его, что успех их предприятия не подлежит никакому сомнению и что он, действуя с ними, скорее и вернее спасет отца своего.

— До свидания, господа! — сказал Маус. — Мне пора идти, везде искать вас, господин поручик. Гейер, я думаю, давно ожидает моего возвращения.

Он удалился.

— Скажи, ради бога, что побудило этого человека передаться на нашу сторону? — спросил Валериан, приближаясь к дому Головкина с Лельским, переодетым в свое обыкновенное платье.

— Побудило то, за что люди, подобные этой твари, продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает; герцог ему хорошо платит, мы платим еще лучше, и почтенный Маус усердно служит обоим сторонам.

— Однако ж такой двоедушный или, лучше сказать, бездушный слуга для нас опасен.

— Конечно, но зато и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностью, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними; а мы уверены, что герцог не знает об нас ничего, — и спокойно действуем у него под носом.

— Дома граф? — спросил Лельский, войдя в переднюю.

— У себя-с! — отвечал слуга, ввел пришедших в залу и пошел доложить об них графу.

Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайный советник и сенатор, отличался строгою добродетелью, непоколебимою твердостью и пламенною любовью к отечеству. При начале царствования императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож; но герцог Бирон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости государыни. Несколько раз Головкин смело обличал пред монархиною ее любимца во вредных для отечества мерах, злоупотреблениях и несправедливых поступках и, без сомнения, сделался бы жертвою его злобы, если бы не спа-

сало графа то, что супруга его была двоюродная сестра императрицы¹.

Головкин отличался гостеприимством. Его ласковое обхождение, искреннее ко всем доброжелательство привлекали к нему сердца всех тех, которые посещали дом его.

Вскоре Лельский и Валериан приглашены были в гостиную. Граф сидел на софе и читал книгу.

— А! любезный Лельский! — сказал он, положив книгу на стол. — Давно я тебя не видал. Добро пожаловать!

— Осмелюсь представить вашему сиятельству моего сослуживца, поручика гвардии Валериана Ильича Армакова.

— Весьма рад с вами познакомиться, — сказал граф ласково Валериану. — Прошу, господа, садиться.

Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводят в подобных случаях. Граф, однако ж, из немногих слов Валериана заметил в нем ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Пробыло три часа — и все сели за стол.

Во время обеда веселые и остроумные разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бироне.

В половине обеда вдруг слуга поспешно отворил обе половинки дверей, и вошел Карл Бирон. Граф принял его учтиво, но холодно, и посадил за стол. Бирон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать и вознаграждал себя за холодность хозяина, согревая кровь свою лишним бокалом рейнвейна.

Валериан, сидевший подле Лельского, вздрогнул и изумился, увидев Бирона. «Лельский обманул меня! — подумал он. — Есть ли здесь что-нибудь похожее на тайное совещание!»

Между тем Бирон сел за стол почти напротив Валериана, и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное

¹ Супруга царя Иоанна Алексеевича царица Прасковия Федоровна (мать императрицы Анны Иоанновны) происходила из рода Салтыковых. Сестра царицы, Наталья Федоровна, была в замужестве за князем Ромодановским. От них родилась дочь, княжна Екатерина Ивановна, вступившая в брак с графом Головкиным.

ему кушанье, глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились. Губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валериана. Гордо и мужественно смотрел Валериан прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в жилах. Оба молчали.

«Странно, что он еще не взят под стражу! — подумал Бирон. — Приказание брата, конечно, ему еще неизвестно. Он обедает в последний раз в жизни: не стану мешать ему!»

Серебряная кружка с рейнвейном, поднесенная Бирону, отвлекла его внимание от Валериана. Он разом осушил ее и принялся за кушанье.

Валериан бросил на Лельского значительный взор, который, казалось, спрашивал: что все это значит? — но Лельский, разрезая прилежно рябчика, показывал вид, что он ни о чем другом не думает, как о кушанье, которое было у него в тарелке. Валериан ничего не мог есть во все остальное время обеда. Граф, гости его, великолепно освещенная столовая, роскошный стол — все исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего, да еще мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного обольстителя, и старик, отец его, который протирал к нему руки с пылающего костра.

Обед кончился, и все из столовой перешли чрез залу в гостиную. Некоторые остались в зале. Валериан, взяв за руку Лельского, подвел его к окну с намерением требовать от него объяснения; но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо:

— Потерпи! Ты видишь, что здесь еще есть не наши.

Часов в девять вечера Бирон уехал. Потом и другие гости, один за другим, стали разъезжаться. Пробило десять часов. Обыкновенно в это время в царствование императрицы Анны Иоанновны прекращались уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу; но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Валериан, остались еще у графа и посматривали исподлобья на одного седого сенатора, который, разговорясь с графом о старинном, прошлом времени, совсем, казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиной превзошли бы дюжину нынешних сложенных вместе и имели сходство с большою репою, старичок воскликнул:

— Что за чудо! Уж одиннадцать... нет, виноват!.. без

двух минут одиннадцать часов! Как я засиделся! Прощайте, ваше сиятельство!

Граф проводил гостя и возвратился в гостиную. Графиня давно уже ушла в свои комнаты.

— Ваше сиятельство! — сказал ему вполголоса отставной майор Возницын. — Все, которых вы здесь теперь видите, уважают и любят вас как отца. Зная вашу опытность, обширный ум государственный и горячую любовь к отечеству, мы решились просить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на все решились для блага отечества.

— Что это значит? — спросил удивленный граф. — Вы неосторожны, майор! Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать!

Лельский стал у растворенной двери, глядя чрез нее в пустой зал.

— Вы одни, граф, — продолжал тихо Возницын, — как истинный сын отечества, осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго во зло доверенность покойной монархини. Он поклялся вечною к вам враждою и ждет давно случая погубить вас. Теперь враг ваш — полновластный правитель. Но кто не знает, какими неотступными просьбами, какими происками успел он убедить монархиню подписать акт о регентстве. Он не устыдился беспрестанно тревожить ее на одре болезни. Она желала назначить правительницею принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего императора, и говорила на просьбы Бирона: «Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели!» Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий. Из этого всякому ясно: была ли воля монархини на то, чтобы герцог был правителем. Черная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя или, лучше сказать, похитителя власти? Мы решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть перешла по праву в руки родительницы императора. Средств у нас много. Мы их откроем вам, граф! Отдадим их на суд ваш. От вас будет зависеть избрать из них одно или все отвергнуть. Мы свято исполним решение ваше, уверенные, что оно основано будет на долговременной опытности в делах государственных и на прямой любви к отечеству.

— Вы поставили меня в самое трудное положение, — отвечал граф, — вы поступили безрассудно! Спрашиваю вас: если я в совести признаю Бирона правителем, по-

лучившим власть в свои руки по праву, то что я должен теперь делать?

— Донести на нас! — отвечал Возницын.

— Кто подписал акт о регентстве?

— Покойная императрица, но можно ли считать этот акт ее волею, когда Бирон...

— Остановитесь! Кто вам или мне дал право быть судьей в таком важном деле? Где доказательство, что Бирон назначен правителем против воли императрицы?

— Могла ли она добровольно назначить правителем такого злодея и обидеть родную племянницу? Утверждать это — значит оскорблять память монархини!

— Но какие причины побуждают вас действовать против Бирона?

— Он сжег моего родного брата!

— Уморил с голоду моего отца! — сказал Лельский.

Все начали один за другим исчислять жестокие и несправедливые поступки Бирона и описывать бедствия, причиненные им отечеству.

— Он погубит и вас, граф! — сказал Возницын.

— Пусть погубит, но это не дает мне право против него действовать. Власть дана Бирону монархией, и долг мой велит ему повиноваться. Один бог будет судить его. Акт о регентстве должен быть свято исполняем.

— Но он сам первый нарушил этот акт. Монархия повелела ему оказывать должное уважение родителям императора, а он беспрестанно оскорбляет их. Вы сами, граф, это знаете.

— Справедливо, но в этом случае родители императора сами имеют средства принудить Бирона к исполнению акта. Какое имеете вы право вступаться в это дело без их воли?

— По точной воле их мы действуем, граф! — отвечал директор канцелярии принца Брауншвейгского Граматин. — По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы отечества. Я уполномочен объявить вам это. Чрез меня они ожидают ответа вашего.

Граф задумался.

— В числе придуманных средств к свержению Бирона, — продолжал Граматин, — находится и то, чтобы с Семеновским полком, которым принц командует, идти во дворец, схватить Бирона с его приверженцами, лишить

звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регентстве. Одобряете ли вы это средство, граф?

— Бирон — враг мой, и потому мнение мое легко может быть пристрастно. Скажите, однако ж, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной нарушенной части акта нарушить весь акт.

— Но какое же, граф, ваше собственное мнение?

— На этот вопрос мне отвечать затруднительно. Мнение мое не будет приятно для принца. Сказать лесть или ложь против совести я не могу, открыть же истинное мое мнение не хочу и на это имею причины.

Все начали убедительно просить Головкина, чтобы он сказал свое мнение; все умоляли его именем отечества.

Убежденный неотступными просьбами, граф сказал:

— Поклянитесь прежде, что вы сохраните до гроба тайне мое мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие: да! И это будет самая священная клятва.

Все исполнили требование графа.

— По завещанию императрицы Екатерины I, право на престол принадлежит теперь цесаревне Елисавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол. Если бы она захотела воспользоваться ее правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регентстве недействительным, так как этот акт состоялся после завещания императрицы Екатерины, которое не уничтожено и имеет полную силу. Но Бирон на все решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролитие. Это лишь удерживает цесаревну Елисавету от предъявления неоспоримых прав ее. Без ее воли акт о регентстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права ее на престол будут еще сильнее, неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать. Без акта и малолетний император и родители его лишатся всех прав своих.

— Однако ж принц твердо решился низвергнуть Бирона, — сказал Граматин. — Что должен я буду ему сказать от вас о мере, им придуманной?

— Скажите принцу, что я считаю эту меру насильственной и опасною. Измайловским полком командует меньшей брат Бирона Густав, а конным — сын герцога Петр. Если принц поведет Семеновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противо-

станут. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может. Если же принц непременно уж решился действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она приняла на себя управление государством во время его малолетства и избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Бирона всей его власти. Все ненавидят его, и, без сомнения, никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему; пусть он окончит это дело. Я не хочу присваивать себе чужих заслуг; ему принадлежит эта мысль; пусть принц и принцесса будут ему обязаны и за исполнение его мысли.

Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал:

— Я открыл вам то, что следовало бы таить в глубине души. Теперь от вас зависит предать меня.

Все поклялись хранить в нерушимой тайне участие графа в этом деле.

IX

На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому с приготовленною просьбою, множеством лиц подписанною. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал втайне к Бирону такую же ненависть, как и все они. Тем с большею уверенностию в успехе последовали они совету Головкина.

Князь велел пришедших позвать в кабинет.

— Что вам угодно, господа? — спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью.

Возницын объявил цель их прихода и подал приготовленную бумагу.

— Прекрасно! — сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть свое волнение.

— Это ваша мысль, князь, — продолжал Возницын, — отечество вам вечно будет благодарно!

— Как моя мысль? Кто вам сказал это?

— Вы бы не сказали «прекрасно», если бы думали иное.

— Поймали меня, майор!.. Ну, герцог! Теперь немного осталось тебе властвовать! Не должно терять ни минуты;

я сейчас же поеду с этой просьбой к ее высочеству принцессе. До свидания, господа! Я пойду одеваться. Советую, однако ж, быть как можно осторожнее, без того можно голову потерять. Впрочем, успех несомнителен! Я вас ожидаю к себе завтра утром.

Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись в хижину на огороде, где были накануне.

Князь Черкасский, оставшись один, начал расхаживать большими шагами взад и вперед по комнате. Сначала решил он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Бирон нарочно подослал приходивших с просьбой людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети.

— Нет, господин герцог, не поймаешь меня! — подумал князь и поехал немедленно к Бирону, для предоставления ему поданной просьбы.

Между тем Маус явился к Лельскому с донесением.

— Ну, что доброго нам скажешь?

— Все благополучно. Герцогу ничего еще неизвестно.

— Не забудь: ни слова о Головкине при этой твари! — сказал Лельский на ухо Валериану.

— Что это, господа? Вы шепчетесь? От меня, кажется, не для чего таиться.

— А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо? Это неприятная для тебя новость.

— Какая?

— Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уж порядочно позавтракал. Признаться: верно, выпил полынной?

— Нет, я всегда пью только сладкую водку и весьма умеренно. Нос мой покраснел от холоду... Ба! Что это? Сюда идут люди! Спасайтесь, господа!

Маус вскочил на печь и прижался в угол.

— Вяжите их! — вскричал Гейер, входя в хижину с прислужниками. — Общайте всю избу: нет ли еще кого-нибудь здесь.

— Я здесь, господин Гейер! — отвечал спокойно Маус, слезая с печи. — Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ; у меня волосы стали дыбом: они условились убить герцога. Под печкой спрятано у них платье монахини и кинжал. Вот, извольте посмотреть! Я давно уж присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне подозрение, я решил их подслушать и сделал свое дело, несмотря

на то что жизни моей грозила величайшая опасность.

— Ты усердный и искусный малый! — сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. — Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом. Вот как надобно служить! — продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. — Берите все с него пример.

— И от нас тебе спасибо, Маус! — сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем как тот затягивал ему руки веревкою. — Ты нам так же усердно служил до сих пор.

— Ге, ге! Старая песня, почтенный! — возразил Маус. — Кого из нас, грешных, пойманные нами злодеи не оговаривают, да жаль, что никто им не верит.

— Не стоит и отвечать на клевету, Маус! Ведите их! — сказал Гейер.

Возницын и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены еще прежде Лельского и Валериана. С огорода вывели их на берег Фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырех вооруженных прислужников и Мауса, Гейер сказал последнему:

— Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников; ты знаешь куда. Смотри, чтоб все было готово для допроса. Герцог приказал представить ему немедленно признания всех заговорщиков. Вези их скорее. Я приеду вслед за тобой.

Валериана и Лельского повезли по берегу Фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал.

— Бедный батюшка! Ты уж никогда не увидишь твоего сына! — произнес он прерывисто.

— Вот дом твоего отца! — сказал ему Маус. — Тебе еще неизвестно, что и почтенный твой родитель в наших руках. Господин Гейер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. С еретиками суд короток: взведут на костер — и поминай как звали!

Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова на Валериана. Готовясь к скорой и неизбежной смерти, несчастный вдруг узнал, что, отвлекшись обманчивою надеждой на успех предприятия против герцога, он возвел престарелого отца своего на костер.

— Боже! Неужели я отцеубийца? — с ужасом и неизобразимою тоскою спрашивал он мысленно самого се-

бя. — Ты мог спасти и не спас отца твоего! Да, ты отцеубийца! — говорил ему неясный внутренний голос. Трепет пробежал по всем членам Валериана, и холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги — и терзаемое раскаянием сердце отвергло свою любимицу. «Любовь к ней, — думал Валериан, — сделала меня отцеубийцем!»

Ханыков, несколько дней везде искавший понапрасну своего друга, узнал об его участии вскоре после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более что граф Миних, убежденный просьбами Ханыкова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступить за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил свое намерение отцу несовершеннолетнего императора, принцу Брауншвейгскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратило бы ему Ольгу.

Немедленно Ханыков побежал к фельдмаршалу и рассказал ему случившееся с Валерианом, все еще питая слабую надежду, что твердость и необыкновенный ум графа найдут средство по крайней мере спасти Валериана от казни и облегчить судьбу его.

Выслушав Ханыкова, Миних пожал плечами и сказал:

— Жаль, очень жаль! Пылкость увлекла его слишком далеко: теперь уж спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом.

Ханыков невольно признал справедливость слов графа и вышел от него, погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идет, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собою дворец цесаревны Елисаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ. Желая испытать еще какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханыков, без определенного, впрочем, намерения, решился войти во дворец Елисаветы, презирая опасность, которой подвергался; потому что за это могло опять навлечь на него подозрение и подвергнуть пытке, как уже прежде то случилось.

Он вошел в залу. Фрейлина, там бывшая, по просьбе Ханыкова доложила о нем цесаревне Елисавете.

Хотя Елисавета в то время достигла уже тридцатого

года жизни, но и осьмнадцатилетняя красавица могла бы втайне позавидовать цесаревне, смотря на ее лилейную белизну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках, на пурпуровые уста, которые украшались постоянно улыбкою, на темно-карие, полные жизни глаза, на черные прелестные брови. Сверх того Елисавету отличали высокий рост, тонкий и стройный стан, величавая походка, ясный взор, который выражал проницательность и живость ума и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца.

— Здравствуй, капитан! — сказала цесаревна приветливо, выйдя из внутренних комнат в зал в сопровождении ее фрейлины.

Ханыков поклонился и почтительно поцеловал руку, которую подала ему цесаревна с таким доброжелательством во взоре, что незаметно в ней было и тени важно-холодного соблюдения дворских обычаев.

— Я слышала, ты пострадал, Ханыков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я для собственного удовольствия оказывала покойному отцу твоему. Я сердечно о тебе пожалела.

— Мне бы следовало благодарить ваше высочество, но... простите солдата! Чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства.

— Странно, что герцог и меня вздумал подозревать в замыслах против него! Это меня удивило. Его обращение со мной, с тех пор как он сделался правителем, стало гораздо лучше, чем прежде. Он, кажется, искренне расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову назначить мне по пятидесяти тысяч рублей в год пансиона, если б он питал ко мне неприязнь и считал меня для себя опасною.

— А я смею думать иначе, ваше высочество: это именно и доказывает, что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны. Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли своей служат укором всех его поступков. Ах, ваше высочество! Долго ли отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времен лучших?

Цесаревна вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от нее отдалении, сделала ей знак рукою, чтоб она удалилась.

— Если бы провидение вложило в сердце вашего вы-

сочества намерение потребовать исполнения неоспоримых прав ваших на престол, то Бирон...

— Не говори мне этого, Ханыков! Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться. Мне ли, слабой женщине, управлять обширнейшим в свете царством, когда тяжесть этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой! Достанет ли у меня сил принять на себя пред богом ответственность за счастье миллионов? Последний подданный, по моему небрежению или неведению несправедливо обвиненный и погибший в напрасном ожидании моей защиты, потребовал бы меня на страшном суде к престолу царя царей и обвинил бы меня пред ним.

— Ваше высочество! Скажу вам прямо, что думаю и чувствую. Если пред царя царей потребуют вас все погибшие от злобы Бирона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут: «Елисавета могла бы спасти нас, и не спасла», — что вы скажете в оправдание?

Слова эти произвели глубокое впечатление на цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну и в задумчивости устремила взоры на покрытое тучами небо.

— Не проходит дня, чтобы кровь новой жертвы не обагрила секиры палача! — продолжал с жаром Ханыков. — Воздвигаются костры, и стоны сожигаемых летят к небу. Нестерпимые мучения пытки исторгают признания у невинных в небывалых преступлениях, и невинные гибнут жертвами гнусных доносов, тайной вражды!

— О! Если бы я имела власть, я истребила бы навсегда все эти ужасы в памяти русских, но власть в руках герцога. Ее твердо охраняют его лазутчики и телохранители.

— Одна любовь народная может назваться неизменным и надежным телохранителем властителя; один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Бирона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят; каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям, но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет! Он только возжигает их! Цесаревна!.. Воскресите для отечества славный и счастливый век Петра Великого!

У Елисаветы навернулись на глазах слезы.

— Если б я была уверена, — сказала она с чувством, — что у меня достанет сил для этого подвига, то я

решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовала спокойствием жизни для блага отечества, но я должна прежде испытать себя... Теперь стану молиться о счастье русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать. Ханыков! Ты заставил меня сказать более, нежели следовало, но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор! Ни слова более об этом!

— Ваше высочество! Осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния?

— Все готова сделать, что от меня зависит.

Ханыков рассказал все случившееся с его другом. С необыкновенным волнением и участием слушала Елисавета рассказ его.

— Спасите несчастного, ваше высочество! — продолжал Ханыков. — Ходатайство ваше за него, без сомнения, подействует на герцога.

— Оно будет бесполезно! — возразила Елисавета с тяжелым вздохом. — Герцог тем ужаснее мстит, чем более встречает препятствий в своем мщении.

— Итак, друг мой должен погибнуть! Боже мой! Как перенесет этот удар престарелый отец его? Лишиться единственного сына и так лишиться... О! Это ужасно!

Ханыков не знал еще об участи, готовившейся отцу Валериана. Елисавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханыкову:

— Отдай бедному отцу от меня это. Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания. Утешай несчастного старика, Ханыков, не оставляй в дни его скорби. О! Если б от меня зависело спасти его сына!

Тронутый Ханыков взял перстень и, откланявшись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ, с надвинутою на глаза шляпой. Незнакомец шел с заметною робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погруженный в горестные размышления, не обратил на это внимания. Войдя на лестницу и отпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца, который шел за ним по лестнице.

— Спасите меня! — сказал тихо незнакомец жалобным голосом, приблизясь к капитану.

— Кто ты?

Незнакомец, распахнув плащ, снял шляпу.

— Боже мой! — воскликнул изумленный Ханыков: пе-

ред ним стояла Ольга. Прелестное лицо ее было бледно: страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нем изображались.

— Войдите! — сказал Ханыков, взяв ее за руку и входя с нею в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу.

— Я хотела идти к бабушке, — начала Ольга слабым голосом, после некоторого молчания, — но побоялась: там могут легко отыскать меня. Я могла бы и бабушку погубить; он защитить меня не может. Брат герцога стал бы мстить ему.

— Вы пришли сюда из загородного дома Бирона?

— Да; он довел меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек! Какая ему польза обижать беззащитную девушку? Что я ему сделала?.. Давно ли вы видели бабушку? Здоров он? Ради бога, не обманывайте меня!

— Здоров. Мы недавно с ним виделись.

— Вы меня не выгоните отсюда? Ради бога, позвольте несколько дней у вас остаться. Я не буду долго подвергать вас опасности, я убегу, должна убежать...

— Но куда же?

— Куда-нибудь... сама не знаю!.. Туда, где брат герцога не может найти меня.

— Успокойтесь, вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит: я имею случай просить за вас цесаревну Елисавету. Она возьмет вас под свою защиту; в этом я уверен.

— Я вам целую жизнь буду благодарна.

— Вы очень ослабели; вам нужно отдохнуть. Будьте, ради бога, повеселее! Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправляюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть когда кто-нибудь придет ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы и без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь шуметь за двух. Теперь позвольте мне удалиться на аванпост и затворить эту дверь, чтоб вам было покойнее в вашем укрепленном лагере.

Через несколько часов пришел к Ханыкову знакомец его, отставной премьер-майор Тулупов. По праву соседства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его неохотно. Премьер-майору до этого дела не было; цель его посещений ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку.

— Здравия желаю, капитан! — сказал он громогласно, войдя в комнату. — Я думал, что вас дома нет, вы ныне запираетесь. Я было поцеловал пробой да и пошел домой; однако ж посмотрел в замочную скважину и увидел, что ключ тут; я и смекнул отдернуть задвижки у двери внизу и вверху и вошел, как изволите видеть!

Премьер-майор в заключение громко и басисто засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия.

— Очень рад вашему посещению, — отвечал Ханыков, в мыслях посылая гостя к черту.

— Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик, так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто нас не подслушает?

— Какой заговор? — сказал Ханыков в замешательстве, опасаясь, чтоб он чего-нибудь не сказал о Валериане.

В это время еще кто-то вошел в переднюю. Ханыков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив к губам палец, замолчал.

Вошел Мурашев.

— А! любезный дружиче! — воскликнул Тулупов, обнимая Мурашева. — Мы уж с тобой с месяц не видались! Позволь поздравить тебя: мне сказали, что брат его высочества на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю! Этакое счастье, подумаешь!

Мурашев ничего не отвечал, тяжело вздохнул и сел в кресла.

— Да что ты смотришь таким сентябрем? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с зверобоем: я пришлю полштофа; такое лекарство, что мертвых только не воскрешает! А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка. Постой, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа; я ведь знаю, где твой графинчик стоит.

Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крикнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство.

— Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет, — продолжал он. — Набить было трубочку!.. Люблю за то Бирона: отцу родному не спустит... Славный табак!.. Человек пятнадцать в беду попались, я слышал... Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан: горечь в рот попадает... Вашего приятеля также грех попутал! Весьма это жалко! Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича... Верно, у вас табак сыр: трубка погасла.

Мурашев, сплеснув руками, взглянул на Ханыкова и спросил:

— Неужели и Валериан Ильич...

— Пустые слухи! — прервал Ханыков. — Мало ли что говорят!

— Какие пустые! — возразил Тулупов. — Я вам говорю, что...

— Граф Миних просил за него герцога — и он прощен.

— Слава богу! — сказал Мурашев. — Я именно затем пришел к вам, чтобы навеститься о Валериане Ильиче.

— Помилуйте!.. — закричал Тулупов. — Да я слышал от верного человека...

— Что теперь дождь идет? Это правда! Когда же вы мне пришлете зверобойной настойки? Ведь давно уж обещали.

— Виноват, все забываю! Завтра же пришлю и вот, узелок на платке завяжу на память.

Ханыков был на иголках. Опасаясь, чтобы Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости, неожиданно не услышала ужасной вести о Валериане, он заминал речи словоохотливого премьер-майора и наконец успел навести его на любимую колею, напомнив о ссоре с помещиком Дуболобовым из-за похищенного у премьер-майора неизвестно кем селезня. В этот раз Ханыков весьма был рад, когда началось повествование о селезне, давно ему уже известное. Рассказ начался с деда Дуболобова: кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько взял душ в приданое, словом сказать, истощены были все биографические известия о деду похитителя селезня, потом о сыне его, наконец о внуке. Повествование лилось рекою не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, схоластическому требованию единства действия, времени и места, и кончилось тем, что пропавший селезень (которого не отыскиали, несмотря на все старания и меры) совершенно пропал и в рассказе.

— Таким образом, изволите видеть, — заключил премьер-майор, — этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, между тем, как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал гороховым киселем. Это не выдумка, поверьте моей совести, это сказывала мне Марфа Поликарповна, моя соседка, а она слышала от ее покойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова, как гороховым ки-

сельником. Он жаловался воеводе и однажды, по злобе, назвал Марфу Поликарповну за именинным обедом у помещика Губина трещоткой. Она также жаловалась воеводе; однако ж дело ничем не кончилось; гриб съел, разбойник!

Мурашев, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рассказа, ушел домой. Вскоре и повествователь, приметив, что уж десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи.

Ханыков подошел тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. «Дай бог, чтобы бедняжка ничего не расслушала о Валериане», — подумал он и вскоре услышал, что Ольга произносит вполголоса молитву. Вздыхнув, он сел на софу и не прежде полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что Валериану отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханыков вскочил и никак не мог уже потом заснуть.

Х

В пять часов утра явился Гейер в Летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков, вынужденные пыткой.

Герцог накануне еще приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же, как скоро явится Гейер.

Бирона немедленно разбудили, и вскоре Гейер был позван в кабинет. Там Бирон, в малиновом бархатном халате, подбитом собольим мехом, неровными шагами расхаживал вдоль и поперек по кабинету. Лицо его было бледно; глаза от беспокойного и не вовремя прерванного сна были мутны и красны; непричесанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове Медузы. Ужасный вид герцога мог окаменить всякого, как и вид этой баснословной головы. Даже Гейера, давно привыкшего уже к Бирону, в этот раз проняла сильная дрожь.

— Что ж ты стоишь, как чурбан? — закричал Бирон, топнув. — Читай!

Секретарь начал торопливо читать признания заговорщиков, заикаясь от робости.

— Майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе, сам писал просьбу и никто другой его к тому не подговаривал. Он всему зачинщик по злобе против вашего высочества за смерть своего брата.

— Га! — воскликнул Бирон ужасным голосом, — колесовать его!

— Капитан Лельский не признался...

— Что ж ты не записал моего приговора, болван?

— Я полагал, что по закону суд должен прежде...

— Суд?.. Ты полагал?.. Ты, ты смеешь меня учить! — закричал Бирон, едва дыша от гнева. — Пиши: колесовать! Чтобы ночью в четыре часа за городом без огласки приговор этот был исполнен, как скоро все приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в четыре часа ночи все преступники были казнены. Читай далес!

— Капитан Лельский ни в чем не признавался. Но Маус показывает, что он хотел якобы лишить вашего высочества жизни.

Бирон онемел от ярости; губы его дрожали, глаза, страшно сверкая, как у безумного, остановились на Гейере. Он смотрел на него, как тигр, готовый броситься на свою жертву.

— Сжечь злодея! — сказал он наконец с усилием, ударив кулаком по столу. — Сжечь медленным огнем!

— Поручик Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от костра и чтобы освободить якобы из рук брата вашего высочества какую-то свою невесту.

— Расстрелять, а отца его сжечь!

Таким образом Гейер прочитал признания всех приходивших к князю Черкасскому. Все они сдержали слово, данное ими Головкину. Пытка не принудила их упомянуть даже его имя. Бирон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, Граматина, показавшего, что он действовал по воле принца, то Бирон закричал:

— Отрубить обоим головы! Принц не защитится тем, что он отец малолетнего императора!

Через несколько минут Бирон одумался.

— Отрубить голову одному Граматину, — сказал он, — а к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. О всех уже преступниках доложено?

Гейер отвечал, что осталось доложить об одном еще; что он в тот день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуболобов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однаж-

ды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем.

— Прикажете его допросить? — спросил Гейер.

— Не о чем допрашивать, это напрасная трата времени! Немедленно послать за ним в уезд, схватить и в мешке бросить в воду.

Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлеченный ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается.

Дуболобов, живя спокойно в деревне, не знал и не заботился о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селезня, без всякой его вины пропавшего у соседа года за три перед тем, его наконец приговорят к смертной казни.

Гейер по знаку Бирона удалился, а герцог, одевшись в богатое платье, пошел со свитою в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решетки Летнего сада.

Вскоре приехали к герцогу, один за другим, с докладами кабинет-министры: граф Остерман, князь Черкасский и Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказал никому ни слова и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубовую, украшенную золотом и резьбою дверь, чрез которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчании, которого никто не осмеливался первый нарушить.

Наконец дверь отворилась, и вошел принц Брауншвейгский.

— Принц! — сказал Бирон, не встав с кресел и глядя прямо в глаза Антону Ульриху. — Известно ли вам, что я правитель государства и что я облечен полною властью решать все дела в империи, как внутренние, так и внешние?

— К чему клонится этот вопрос? — сказал спокойно принц. — Вы, без сомнения, помните, что я читал акт о регентстве?

— Но вы, вы не хотите помнить этого! — закричал гневно Бирон, топая обеими ногами. — Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая и вас, принц! Советую вам оставить ваши замыслы, а не то... страшитесь!

— Чего?.. Не вас ли, герцог?

— Да! Меня!.. Прошу вас воздержаться от этой презри-

тельной улыбки; вы за нее можете заплатить очень дорого!

— Что значат эти угрозы? Я в свою очередь спрашиваю: помнит ли герцог Бирон акт о регентстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подает другим опасный пример!

— Не вам судить мои поступки! Вы на то права не имеете! Отвечайте мне, я вас спрашиваю, как полномочный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня?

— Замыслы?.. На этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать и не хочу.

— Я вам приказываю.

— А я вас прошу не преступать границ вашей власти.

— Не поставьте меня в необходимость поступить с вами, как с явным ослушником и мятежником!

— Остерегитесь, чтоб с вами не поступили как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем.

— Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови! Вы забыли все, чем вы мне обязаны. Знайте, что Граматин ваш во всем признался; все замыслы ваши мне уже известны.

— Я не обязан отвечать за слова и поступки другого. Пыткой вы могли, без сомнения, заставить Граматина признаться, в чем вам было угодно.

— Не скроете хитростью вашего преступления: оно слишком явно, неблагодарный, кровожадный человек!

Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Бирона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога и потряс шпагу, схватив эфес левою рукою. Бирон, как бешеный, вскочил с кресел.

— Я готов с вами разделаться и с этим в руках! — закричал он, ударив по своей шпаге ладонью.

— До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?.. Все кончено между нами!.. Не знаю, не унижу ли я себя, приняв ваш вызов? Впрочем, предоставляю это вашему решению; я на все буду согласен.

Принц поспешно удалился. Бирон начал ходить большими шагами взад и вперед по зале, произнося вполголоса угрозы. Все, там бывшие, в молчании смотрели на него с беспокойством.

— Я слишком расстроен! — сказал наконец Бирон. —

И не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал! — продолжал он, обратясь к графу Миниху. — Я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить сегодня же.

Миних поклонился. Герцог, тяжело дыша, сел в кресла и подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из залы.

XI

Вдали раздавался звук барабана: били вечернюю зорю. Ханыков, сидя в своей комнате с Ольгою, шутил наперекор сердцу, удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от нее участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец ее бедствий, и чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслию: «Несчастливая! она не знает ужасной истины. Достанет ли у нее силы перенести удар, который неминуемо и скоро ее постигнет? Найду ли я средство защитить ее? Мудрено мне бороться с братом герцога!»

Осторожный стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханыков отворил дверь на лестницу и удивился, увидев Мауса.

— Что надобно тебе? — спросил он сухо, не впуская его в комнаты.

— Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине о весьма важном, как думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?

— Никого нет; а если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчета. Говори скорее, чего ты от меня хочешь? Мне пора спать.

— Дайте мне честное слово, что свидание наше и разговор останутся втайне.

— Вот еще какие требования! Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому хочешь, только не мне.

— Вы раскаетесь, капитан.

— Легко статься может, если поговорю с тобой подалее. Ступай, любезный! Желаю тебе доброй ночи.

— Чей это почерк? — спросил Маус, показывая записку и держа ее крепко в руке, из опасения, чтобы Ханыков ее не вырвал. Спрятав проворно записку в карман,

Маус продолжал: — Что, капитан? Дадите ли мне честное слово, что я могу полагаться на вашу скромность?

— Честное слово!.. Отдай мне записку.

— Позвольте войти прежде к вам; здесь, на лестнице, говорить о таких делах опасно.

— Войдем скорее!

Ханыков ввел Мауса в комнату и торопливо взял поданную записку. Он прочитал:

«Единственный, верный друг мой! Гейер уехал за город, чтобы приготовить все к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть, Маусу, если он доставит тебе эту записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня под ружья. Пользуясь отсутствием Гейера, он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспешь к другу! Может быть, слова твои несколько облегчат мои страдания. Меня не страшит смерть; я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце, — тогда конец моим мучениям! Друг мой! если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучусь! Я строго разбирал мои поступки: бог свидетель, что я не хотел никому зла, не воображал, что родителя моего... Боже! и выговорить ужасно!.. подвергнут смертной казни!.. Не могу писать более: рука дрожит, в глазах темнеет. Поспешь ко мне. Неужели я лягу в могилу отцеубийцею? О, если бы ты мог как-нибудь оправдать меня перед моею совестью! Я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь, виновен ли я в смерти отца моего или нет. Будь судьей моим, судьей строгим, беспристрастным; поклянись мне в том именем бога. Если бы ты после того сказал мне, что я не виновен, с какою радостью, с каким облегченным сердцем пошел бы я на казнь; как бы горячо обнял тебя в последний раз! Поспешь ко мне. Тебя ждет, как ангела-утешителя, верный друг твой

В. А.»

Легко можно вообразить, что чувствовал Ханыков, читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате, и горестно воскликнул:

— Бедный Валериан!

Смертельный холод пробежал по жилам Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце ее менее бы замерло, ког-

да б кто-нибудь, схватив ее на вершине утеса, стал держать над глубокою пропастью и готовился ее туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в которых сидела; только одно прерывистое дыхание показывало в ней признак жизни.

— Впрочем, беда небольшая! — продолжал спокойно Ханыков, тотчас после восклицания своего вспомнив об Ольге. — Мы и все туда скоро отправимся; там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице.

Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачав головою, возразил:

— Веселее? А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан!

— Как не был! Я провел там ровно три недели.

— Ага! Шутить изволите?

— Нимало!

В это время послышался шум на лестнице. Маус убежал в переднюю и спрятался за бывшею там перегородкою. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханыков отворил ее и увидел перед собою Мурашева. Он был бледен, расстроен.

— Ради бога, — сказал он дрожащим голосом, схватив Ханыкова за руку, — позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде: мне должно бежать из города.

— Что сделалось с вами? Войдите и успокойтесь.

Мурашев бросился на стул и, ломая руки, воскликнул:

— Да, убегу отсюда, убегу, куда глаза глядят!.. Вы меня никогда уж не увидите!.. Бедная моя дочь!.. Где она теперь?.. Может быть, там? — Он указал на небо. — Рад, всем сердцем рад, если она там: там злодей Бирон не властвует, ему нет туда дороги, ему и взглянуть туда страшно!

— Тише, ради бога, тише! — прошептал Ханыков. — Вас могут подслушать.

— Пусть подслушают, пусть перескажут слова мои Бирону!.. Я в глаза ему скажу то же!.. Сегодня утром змей Гейер пришел ко мне и сказал, чтобы я не скрывал долее моей дочери и что мне худо будет, если не послушаюсь. Злодеи отняли, украли у меня дочь и у меня же спрашивают: где она?.. Вечером вдруг приехал ко мне брат Бирона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я-де женюсь на ней. Не вытерпело мое отцовское сердце: «Вон отсюда, грабитель!» Он оттолкнул меня; я упал навзничь. Он вышел тотчас же из комнаты, говоря

угрозы. Я не мог расслушать их... Да, мне должно бежать! Кто знает!.. Может быть, дочь моя спаслась уж от гонителя; может быть, она убежала от него... в Неву... И я за нею убегу туда же...

— Я здесь, батюшка! — вскричала вне себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросаясь в объятия отца.

Мурашев весь задрожал, крепко обнял дочь и поднял благоговейный взор к небу. По временам опуская глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, которая лишилась чувств, и снова устремлял глаза на небо.

— Не отнимите ее у меня, злодеи! — проговорил он наконец трепещущим голосом. — Сорвите прежде с плеч мою голову. Не дам, не дам вам ее, злодеи Бироны!

— По-настоящему я обязан донести обо всем этом, — сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату. — Я все слышал: так честить герцога и его брата!.. Воля ваша, я не смею не донести.

— Хорошо, доноси, — сказал спокойно Ханыков. — Меня тоже станут допрашивать, и я должен буду сказать, для чего ты сидел у меня в передней за перегородкой. Записка у меня в кармане.

— Я не говорю решительно, что донесу; я сказал только, что следовало бы донести. Это большая разница!.. Что же, вы идете со мной, капитан?

— Пойдем!

Ольгу привели в чувство. Ханыков просил Мурашева остаться с дочерью в его квартире.

— Вы будете здесь безопаснее, чем в своем доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус?

— У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести... но так и быть! Пойдемте, капитан!

XII

Через полчаса Ханыков с проводником своим были уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериан. Маус осторожно отпер дверь, ввел Ханыкова за руку в маленькую, совершенно темную комнату, запер снова дверь и, сняв крышку с принесенного им потаенного фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разлившиеся по кирпичному полу сияние свечи заставило его

поднять глаза; но он закрыл их рукою, отвыкнув смотреть на свет.

— Кто пришел? — спросил он.

— Это я, Валериан.

— Друг, бесценный друг! — воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханыкова. Он не мог говорить более, крепко жал друга к груди своей и плакал. Растроганный Ханыков тихо подвел его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему:

— Не о жизни ли ты плачешь? Право, земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о ней. Нынче или чрез несколько лет, так или иначе, но все неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь: за несколько часов от смерти. Сильные и слабые, счастливые и несчастные, угнетатели и угнетенные, все будут рано или поздно на твоём месте. Ты приговорен к смерти, но не все ли люди приговорены к тому же? Успокой себя, сколько можешь, размышлением, положишься на милосердие божие, и ты встретишь смерть с твердостью христианина.

— Ах, друг! Я бы отдал теперь две земные жизни, все возможные блага за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть; я не утратился бы тогда смерти. Но может ли спокойно умереть отцеубийца!

— Ты осуждаешь себя строго и несправедливо. Клянись, что говорю по совести. Скажи, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, которая его ожидает?

— И ты можешь меня об этом спрашивать!.. Никогда!

— Мог ли ты предвидеть несчастье отца твоего?

— Мог. От меня зависело предаться в руки Гейера и спасти моего родителя. И я решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ними заодно.

— Разбери себя строго; что побудило тебя переменить твоё намерение: ложное ли понятие о чести или твердая надежда на успех вашего предприятия?

— Я был уверен в успехе. Мне казалось, что, действуя с Лельским, я скорее и вернее спасу отца моего, спасу... Ольгу; но не могу дать себе отчета, что меня более увлекало: любовь к отцу или любовь к Ольге? Трудно постигнуть и разобрать побуждения сердца! Два сильные чувства влекли меня. Меня мучит сомнение: не страсть ли к Ольге меня ослепила? Если бы я не любил ее, то может

быть, решаешь предаться в руки Гейера, спас бы отца моего.

— Скажи мне: если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде?

— Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих, по прежде... прежде я спас бы отца моего. Так, я не обманываюсь.

— Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего отца. Ты видишь, что надежда спасти его влекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге.

— Ах, друг мой! Теперешние чувства мои, на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал еще пред собою длинный путь жизни, когда меня ободряла еще надежда, когда я думал, что бедствия и горести минуются, а вдали ждут меня счастье и радость. По теперешним чувствам моим нельзя судить прежних.

— Вижу, что сердце твое теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если бы ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлеченный другим чувством, не отвратил ты гибель отца твоего, то вспомни, что одна минута истинного раскаяния может загладить пред бесконечным милосердием божием целую жизнь, исполненную преступлений.

Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Растроганный, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и наворачнувшиеся в глазах слезы свидетельствовали об его благодарности за слова утешения.

Маус, неподвижно стоявший близ двери в продолжение этого разговора, подошел к столу и, взяв свой потаенный фонарь, сказал:

— Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом, но я опасаюсь, чтобы Гейер невзначай не возвратился. Благоволите проститься с вашим приятелем и удалиться от беды.

Сердце Ханыкова сжалось; неизобразимая грусть объяла его. Он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану.

— Ты уже идешь, друг? — сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу самую нечувствительную. — Неужели я смотрю на тебя в последний раз?! О!.. это ужасно! Да... я уж тебя никогда, никогда не увижу!

Слезы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он

держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столько ему любезного. Ханыков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала; он не хотел ее обнаружить, зная, что этим усилил бы мучения своего друга.

Маус накрыл между тем крышкою свой фонарь, и по тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак.

— Пойдемте, капитан; долее медлить не смею.

— Я уж не вижу тебя, друг! — продолжал Валериан. — Так будет темно в моей могиле. Теперь уж конечно, мы никогда не увидим друг друга!.. По крайней мере, я еще держу твои руки. Скажи мне что-нибудь; мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это, ты, кажется, плачешь?

— Нет! — отвечал трепещущим голосом Ханыков, задыхаясь от удерживаемых слез. — Не унывай, Валериан: мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того только светит, чтобы наконец погаснуть, исчезнуть в земле, посреди червей и тления!

— Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собою. Ради бога, пойдете; мне послышался шум.

Маус схватил Ханыкова за руку и начал тащить его к двери.

— Прощай! — сказал отчаянным голосом узник, отпустив руки друга. — Благодарю тебя! Дружба твоя уладила последние, горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!

— Не предавайся унынию, Валериан; призови на помощь твое мужество и иди смело навстречу смерти. Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда: мы увидимся в мире лучшем.

Ключ щелкнул два раза, шум шагов, раздававшийся по коридору, постепенно затих, и гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти в беспмятстве. Отчаяние задушило его в своих леденящих объятиях. Только по временам казалось ему, что вдали он слышит еще голос друга и последние слова его: «Мы увидимся в мире лучшем».

Премьер-майор Тулупов собирался уже лечь в постель, как вдруг услышал, что с улицы кто-то стучится в двери его квартиры.

— Кого это нелегкая принесла ко мне так поздно? — проворчал он, испугавшись, и со свечою в руке пошел отпирать двери.

— Царь небесный! — воскликнул он, увидев Дарью Власьевну. — Что это значит? Так поздно и одни! Да вы ли это?

Надобно сказать, что Тулупов лет за восемь перед тем предлагал руку свою Дарье Власьевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомства с Мурашевым; он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием: он ни в чьем доме не находил лучшей полынной водки. Между тем Дарья Власьевна, проведя несколько лет в напрасном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулупову. Наконец она решилась употреблять все хитрости кокетства, чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника, но он своею невнимательностью приводил ее в отчаяние. «Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность», — думала она и ошибалась. Чуждый мщению, он даже расположен был возобновить свое предложение, но его развлекала неизвестная Дарье Власьевне опасная ей соперница — полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждения в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз в гостях у Мурашева стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власьевна, являясь со скатертью в руках, начинала ее расстилать на столе или, лучше сказать, устилала этою узорною тканью путь из шкафа на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено ли, что в такие минуты оставались незамеченными и нежные взоры и значительные вздохи. Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром.

— Полагаюсь на великодушие ваше, Клим Антипович! — сказала Дарья Власьевна, закрываясь жеманно платком. — Однако крайность заставила меня в такой поздний час искать помощи в доме холостого человека.

— Помилуйте, сударыня, нет нужды, что я холостой; можете положиться на меня, как на каменную твердыню. Чем могу служить вам?.. Да пожалуйста в комнату. Вы

простите меня великодушно, что я такую неожиданную и дорогую гостью принимаю — не при вас буди молвлено — в халате, в туфлях и в ночном колпаке! Прошу садиться, сударыня. Вот кресла.

Дарья Власьевна снова закрылась платком, взглянув на придвинутые для нее кресла: на них лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, загнув руки за спину, и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гостя этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю попали в гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли, как флаг на башне во время безветрия.

— Позвольте мне лучше сесть на вашу софу, — сказала между тем Мурашева, отняв от глаз платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдет в кресла со своими генеральскими фижмами.

— На софу? С прискорбием должен доложить вам, что я не успел еще завести софы. Впрочем, кресла весьма мягкие, — продолжал он, обтирая подушку платком. — На них ничего уже нет, сударыня. Вот я и всю пыль смахнул! А! Вы изволите смотреть на мою дубовую скамейку? Вот она, к услугам вашим.

Взяв скамью из угла, он поставил ее к столу, прямо против окошка.

— А вот, не угодно ли полюбоваться моей Венерой? — продолжал он, глядя в лицо Дарье Власьевне. — Нечего сказать, люблю заморские хитрости — страсть моя. Извольте посмотреть: словно живая. У итальянца купил.

С этими словами поднес он свечку к окошку, продолжая глядеть в лицо Дарье Власьевне. Та ахнула и снова закрылась платком.

— Что вы, сударыня, чего вы испугались? Не думаете ли, что это святочная маска или что этот гипсовый болванчик не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет, он сделан только по пояс; во-вторых, и платье на нем по самую шею. Я сам терпеть не могу тех неприличных болванчиков во весь рост, которые... Что за напасть! — воскликнул Тулупов, схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол.

— Исполните ли просьбу мою, Клим Антипович?

— Все готов сделать, что прикажете!

— Помогите мне, я в совершенной беде! Вам известно, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе

жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше, только глупой этой девчонке вздумалось вдруг убежать. Сгинула да пропала! Искали, искали; нет как нет! Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла, и на меня раскричаться изволил. А я в чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. Как хочешь, сыщи! Господи боже мой! Где ее найдешь к утру? Угроз-то, угроз-то сколько наговорил!.. К брату идти я не рассудила: он, кажется, сердит на меня. Я и решила идти к вам, Клим Антипович, в надежде, что вы одною ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать эту ветреную девчонку. Уж я бы ее! Из-за нее бегай тетка по городу целую ночь! А послушаться нельзя, сами посудите!

— Совершенная правда, сударыня! Как можно послушаться! Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу.

— По крайней мере исполним приказание его превосходительства: будем искать целую ночь; а не сыщем — что ж делать? На нет и суда нет!

— Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролет по всем улицам и закоулкам; только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо. Мне нужно одеться, как следует. Я должен надеть... шубу. Я вмиг за вами.

Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату.

Дарья Власьева, завернувшись в свой теплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился, в волчьей шубе и в шапке из крымского барана. Долго бродили они понапрасну из улицы в улицу и, утомясь, решились наконец идти кратчайшим путем домой. Для этого пришлось им войти в Летний сад. Был уже четвертый час за полночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарью Власьевну, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезне и о происшедшей оттого ссоре с Дуболобовым. Бедная Мурашева, слушая это повествование чуть ли не в сотый раз, верно бы уснула, если б можно было ходя спать.

— Посмотрите, посмотрите! — вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукав.

— Что такое вам чудится? Это куст; успокойтесь...

Таким образом, Дуболобов, этот изверг, чучело и гороховый кисельник, вздумал...

— Ах мои батюшки-светы! Уж не убитый ли человек лежит?

— Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится... Этот гороховый кисельник, как я вам уже докладывал...

— Да полноте, Клим Антипович! Провал возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах батюшки, как я перепугалась! Думала совсем, что лежит убитый, но нет: шевелится. Видно, хмельной какой-нибудь.

— Да где вы видите?

— Вот скоро подойдем к нему. Вон, вон, между двух кустов-то! Да вы не туда смотрите!

— А, теперь вижу! Ну что ж? Какой-нибудь пьяница. Что нам до него за дело? А я вам должен в заключение доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником...

— Да это, кажется, женщина лежит.

— Помилуйте, чему дивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Ну так, женщина и есть. Пусть ее лежит, а мы с вами мимо своей дорогой пойдем.

— Поднимите меня! — закричала женщина повелительно.

— Вот еще! — сказал Тулупов. — Сама, голубушка, встанешь! Выпила лишнее: не мы виноваты.

— Молчи, грубиян! Подними меня сейчас. Как смеешь ты ослушаться герцогини!

Дарья Власьевна бросилась к ней и помогла ей встать. Тулупов остолбенел от изумления и страха.

— Веди меня ко дворцу! — продолжала герцогиня.

Тулупов, думая, что приказ этот относился не к одной Дарье Власьевне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руку.

— Прочь, мерзавец! — закричала она. — Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!

Тулупов, струсив, униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукою, а Мурашева, поддерживая герцогиню под руку, повела ее к Летнему дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Бирона, желая удостовериться, точно ли это она? Близ дворца Дарья Власьевна увидела перед собою Ханыкова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввел ее во дворец.

— Господи твоя воля! — шептала Мурашева, уставив

глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханыковым. — Не во сне ли мне все это грезится?

Ханыков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшим у двери двум часовым. Дарья Власьева подошла к капитану.

— Скажите, ради бога, что за чудеса совершаются? Что это все значит? — спросила она.

— Вы как здесь очутились?

Ханыков не сказал ей более ничего, побежал и закричал денщику своему:

— Беги за лошадью и седлай проворнее!

Дарья Власьева, исчезая в изумлении, побрела к Тулупову. Тот все еще стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз.

— Что за диковина, Клим Антипович, уж не сила ли нечистая над нами потешается?

— Не знаю что и подумать, Дарья Власьева, — сказал Тулупов, взглянув на нее и подняв плечи. — И мне кажется: это все не что иное, как бесовское прельщение!

— С нами крестная сила! Пойдемте скорее вон из этого сада! Кто бы мог подумать, что здесь нечистые водятся, — наше место свято! Ведь не Муромский лес, прости господи!

Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они уже в квартире премьер-майора.

— Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? — сказал он, снимая волчью шубу и пытая от утомления. — Прошу сесть скорее; вы, как вижу, едва дух переводите. Я не докладывал еще вам, что изверга Дуболобова некоторые из помещиков, моих соседей, подозревали, что он чернокнижник и колдун. Я думаю: не он ли, злодей, по вражде ко мне вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение? Я вам говорю: давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под рук пропал, его дело, что он ни говори!.. Да подождите, авось и до него доберутся!

— Ума не приложу! — сказала Мурашева. — Чем больше думаю, тем больше дивлюсь: ночью, одна, в саду, на земле! Непонятно! Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фикжм! А то...

— Да, да, удивительно! Мне померещилось, что она

была — не при вас буди молвлено — в одной кубке! И вам в этом же образе представилось бесовское видение?

Дарья Власьевна кивнула в знак утвердительного ответа головою и закрылась платком.

XIV

Ханыков после прощания своего с другом в глубоком унынии возвратился домой. Пробыло уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли ему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при Летнем дворце, и вручил ему присланное вместе с приказом предписание фельдмаршала, в котором он требовал капитана к себе для важного поручения. Ханыков поспешил исполнить все приказанное. Капитан Преображенского полка, сдав караул Ханыкову, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дожидаться его возвращения.

От Мауса Ханыков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена на четыре часа наступившей ночи за городом, на окруженной лесом поляне, близ Шлиссельбургской дороги. Естественно, что Ханыков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульне и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре 3.

«Через час страдания моего несчастного друга кончатся!» — подумал Ханыков и глубоко вздохнул.

Вдруг вошел в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе.

— Странно! — сказал Ханыков, посмотрев пристально в лицо пришедшему. — Фельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует?

— Сам граф не далее как за двести шагов отсюда и вас ожидает, капитан; поспешите!

Ханыков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье, под густой липой, разговаривая со стоявшим пред ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. Поодаль стояли три преображенские офицера и восемьдесят солдат.

Ханыков, отдав честь фельдмаршалу, остановился перед ним в ожидании его приказаний.

— Сколько человек у вас в карауле? — спросил Миних.

— Триста, ваше сиятельство.

— Мне поручено взять под стражу герцога Бирона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружье; только без малейшего шума; никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтоб они никого не окликали. Что ж вы стоите?

— Разве акт о регентстве уничтожен, ваше сиятельство?

— К чему этот вопрос?.. Я вас всегда считал отличным офицером и именно потому назначил вас сегодня в караул.

— А я потому решился спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. Покуда акт не уничтожен, могли я действовать против герцога: не сделаюсь ли я виновным в нарушении моих обязанностей?

— Что вам за дело до акта? Вы должны исполнять мои приказания, а не рассуждать, вам это известно, вы не первый день служите.

— Я служу не лицу, а государю и отечеству и потому в таком важном и необыкновенном деле, как настоящее, обязан наперед все узнать основательно, размыслить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и отечеству.

— Справедливо сказано!.. Так знайте же, что акт о регентстве уничтожен.

— Кем? На это имеет право одна цесаревна Елисавета. Если есть на то ее воля, то я готов действовать, готов жизнью пожертвовать.

— Воля на то изъявлена. В чем вы еще сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание.

Ханыков, не заметив двусмысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Брауншвейгской и по ее воле, поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елисавета решилась наконец осчастливить отечество и вступить на престол.

• Граф Миних, приблизясь к дворцовому крыльцу, послал Манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога.

Бирон спал. Уверенный, что ему все известно чрез его лазутчиков, охраняемый тремястами солдатами, мог ли он воображать, ложась на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что грозный для всех регент будет схвачен, как преступник, и что власть его, все его могущество мгновенно улетят

вместе с прерванными грезами сна. Сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты — и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина. Ничто не могло удержать его от падения: он отогнал от себя лучшего, вернейшего охранителя — любовь народную. С одним этим стражем Петр Великий пребыл невредим посреди крамол, заговоров, измены.

Отдернув занавес кровати, на которой спал Бирон, Манштейн громко сказал:

— Вставайте, герцог! Я прислан за вами!

Герцог, приподнявшись, устремил дикий взор на Манштейна.

— Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушать сон мой?

— Я имею приказание взять вас под стражу.

— Меня? Регента? Меня под стражу? — воскликнул Бирон, соскочив с постели. — Люди, люди! Сюда! На помощь! Измена!

Крик его разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать.

Видя, что никто не является на крик, Бирон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросаясь на пол, хотел спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Бирона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ним вместе и повез сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством ожидавшей окончания этого предприятия.

Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, выбежала в сад. Манштейн велел денщику своему отвести ее назад, в ее комнаты.

— Вот, сударыня, — сказал денщик, ведя под руку жену Бирона, — напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных земляков моих...

Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил ее за руку.

— Драться не за что, сударыня! Я вам ведь правду сказал, и то любя вас.

Усиливаясь вырвать свою руку, жена Бирона споткнулась и упала на землю. Денщик хотел поднять ее, но она его оттолкнула.

— Коли нравится вам эта постелья, так извольте лежать, я мешать вам не стану, — сказал денщик и ушел.

После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в Летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну.

XV

Гейер не знал, что в столице наделалось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то же время за городом, на окруженной лесом поляне готовил все для казни приговоренных Бироном. Скованные, они стояли между солдат, сомкнувших штыки над их головами. Враг Тулупова, Дуболобов, схваченный в своей деревне и поспешно привезенный, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная за что и к чему он приговорен.

— Скажите, ради бога, что со мною сделают? — спрашивал он Гейера в тоске и страхе.

— Сам увидишь, — отвечал тот хладнокровно.

При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянные подмости, а на них отрубок толстого бревна. Подальше возвышался, подобно огромному улью, срезанному сверху, деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, сделанное к врытому в землю невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо сутились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до бровей шляпах. Некоторые держали факелы, другие — веревки. У одного блестела в руках секира, у другого, отличавшегося ростом и широкими плечами, железная палица, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень.

Гейер, с толпою прислужников приблизясь к осужденным, велел вести прежде тех, которых Бирон приговорил к отсечению головы. Их было осьmero. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошел на подмости. По данному Гейером знаку ввели сперва седого старика, в молодые лета служившего с честью во флоте и проводшего всю жизнь безукоризненно. Он живо помнил славное царствование Петра Великого и тем сильнее ненавидел Бирона, святотатственною рукою повергшего отечество с высоты славы и счастья в бездну зол и бедствий. Произнося вполголоса молитву, он с твердостью подошел к плахе и, перекрестясь, положил на нее украшенную сединою голову. Гул в лесу

повторил удар секиры. Обезглавленный труп сняли с подмостков и положили на траву, подле откатившейся на несколько шагов головы.

Немедленно ввели на подмостки другого из осужденных, и скоро вторая жертва жестокости Бирона лежала рядом с обезглавленным старцем.

Одного за другим подводили к плахе, и кровь лилась; между тем тот, чья воля, чье мщение двигало секиру, лишенный власти и сана, окруженный стражею, как преступник, ехал в карете по дороге в Шлиссельбург, где ожидали его заточение и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обреченных им смерти, жертвы эти были уже для него не нужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидя в грозной будущности плаху и секиру. Совесть, давно усыпленная посреди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могил ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, павших на пути жестокого и мстительного временщика.

Держа в руках Библию, давным-давно уже не читанную, Бирон старался успокоить себя мыслию, что в слове божием найдет он скорое утешение и легкое средство прекратить тревогу и мучение сердца, и между тем страшился раскрыть книгу: ему казалось, что в каждой строке увидит он строгий приговор делам своим.

По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренных бровей сверкали; уста судорожно двигались. Стиснув зубы, то махал он рукою грозно и повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное, быстрое падение с высоты могущества, свое бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника, с факелами в руках, возбуждали в сердце Бирона суеверную тоску. «Это предзнаменование моего погребения, — думал он. — И точно, я уже могу считать себя умершим. Еще вчера все преклонялось, все трепетало предо мною, а сегодня я ничто! Наяву ли все это свершается? Не страшный ли сон я вижу?»

Вдруг карета остановилась. Бирон услышал, что начальник стражи, которая его сопровождала, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу.

— Как смели вы остановить нас? — кричал начальник стражи. — Кто вы таковы и что тащите? Отвечайте, не то влею всех вас схватить, бездельники!

— Тащим, как видишь, мешок, — отвечал один из толпы, — а что такое в мешке, не скажем: это не твое дело.

— Сейчас говори! — закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрянца за воротник.

В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке к берегу Невы, чтобы утопить.

— Что это значит? — воскликнул начальник. — Тут человек? Говори, бездельник, что это значит? Ребята, схватите всех их! — закричал он страже.

— Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не вели своим нас трогать: худо будет! Мы исполняем повеление герцога!.. Что, любезный? Вся твоя храбрость лопнула, как мыльный пузырь! Садись-ка на свою лошадь да отправляйся, куда ехал. А вы тащите мешок. Ну, ну, проворнее! Нева уж недалеко.

Начальник стражи стоял, как истукан, глядя вслед поспешавшей к берегу толпе. По данному ему приказанию, он должен был доставить герцога в Шлиссельбург в величайшей тайне. С одной стороны, сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершавшуюся по воле Бирона, который тогда сам ожидал казни и лишен уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмеливался объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида.

— Что значит эта остановка? — спросил Бирон, опустив стекло в дверцах кареты. — Где начальник стражи?

— А вот он скачет сюда. Он зачем-то слезал с лошади, — отвечал кучер.

— Для чего мы остановились?

— Вы сами себя остановили, — отвечал грубо начальник. — Вас везут в крепость под стражею, а вы все продолжаете еще губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить, да жаль, что уж вы приказывать не можете!

— А если бы и мог, то не отменил бы своего приказа! — возразил гордо Бирон. — Что однажды я повелел, то должно быть исполнено!

Карета поехала далее. Между тем Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железною палицею, готовился раздробить ему руки и ноги одну за другою и нанести наконец удар милости в голову. Старика Аргамакова и Лельского, связанных, втащили по

приставленной к срубам лестнице, опустили на наложенные в нем хворост и солому и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил из всех щелей сруба, и сухой хворост затрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двенадцатью солдатами. Он слышал, как звенели шомполы, прибивая пули в дула ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала.

В эту минуту сердце Валериана, до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно оледенело от ужаса: в это сердце целились двенадцать ружей; двенадцать пуль при слове «пали!» должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стесненной жизни в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг — и я уже там, там, где будут неминуемо все! Но миг этот невыразимо ужасен!

Так думал, так чувствовал Валериан. Вдруг... раздается конский топот.

— Стой! — кричит громкий голос. Кто-то подбегает к Валериану, торопливо снимает повязку с глаз его и заключает юношу в объятия.

Кого же видит перед собою изумленный, воскресший страдалец? Ханыкова, хладнокровного Ханыкова, у которого бегут радостные слезы по пылающим щекам!

— Ребята! — крикнул он солдатам, не переставая обнимать с жаром друга. — Бегите, спасайте прочих: Бирон пал! На русском престоле дочь Петра Великого!

Единодушное, радостное «ура» заглушило голос капитана.

Солдаты, ломая вдребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмости с плахой, осыпали остолбеневшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое из солдат бросились к срубам, окруженному густым облаком дыма, вмиг приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувств на хворосте старика Аргамачева и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел еще проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубам.

Через несколько времени старика Аргамачева с трудом привели в чувство; но в Лельском не было заметно никаких признаков жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами.

— Поспешите спасти несчастного Дуболобова! — воскликнул Возницын. — Его понесли к Неве; ради бога, бегите за мной скорее!

Несколько солдат кинулись за Возницыным. Навстречу попались им возвращавшиеся прислужники Гейера.

— Куда вы его девали, душегубы? — воскликнул Возницын, вне себя бросаясь на одного из прислужников. — Говори — или смерть!

Один из солдат приставил штык к боку прислужника, прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны.

— Умилосердитесь надо мной! — пропичал, заикаясь, прислужник, — не я опустил мешок в воду.

— Веди нас, злодей! Покажи место, где вы несчастного бросили.

Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье, несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же; но все понапрасну: несчастного не нашли; он погиб жертвою мелочной ненависти и безыменного доноса; погиб за то, что у соседа его пропал селезень и что он когда-то за приятельским обедом, развеселенный вином, имел неосторожность в кругу друзей назвать в шутку Бирона медведем.

XVI

Наутро общая радость, возбужденная разнесшимся слухом о вступлении Елисаветы на престол, уменьшилась, когда узнали, что припцесса Брауншвейгская, с помощью графа Миниха, нарушив акт о регентстве и низвергнув Бирона, объявила себя правительницею. С нарушением акта права Елисаветы на престол делались еще неоспоримее. Через год, когда принцесса Брауншвейгская, подстрекаемая окружающими ее иностранцами, решила объявить себя императрицею и отдалить навсегда отрасль Петра I от престола России, им возвеличенной и прославленной, когда Елисавете грозил брак против воли или заточение в монастырь, она решила действовать — и обрадованное отечество вскоре увидело на престоле дочь Петра Великого. Законы, о которых Петр изрек: *«Все законы писать, когда их не хранить»*, — утвердились в силе; судьба граждан не зависела уже от произвола и своекорыстия иностранного пришельца; вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать де-

лами государства и даже престолом, прекратились; тайные доносы прекратились; одни злодеи и лихоимцы, к общей радости и счастью всех честных и добрых граждан, стали бояться обличения их тайных преступлений и явной, открыто и неминуемо карающей силы законов. Науки, искусства, словесность, эти нежные растения, насажденные рукою преобразователя России и притоптанные Бироном, снова оживились лучами, ниспадавшими с престола.

Вечером, накануне 1-го января 1742 года (это было чрез месяц по вступлении на престол Елисаветы), Мурашев пригласил к себе родственников и приятелей встречать Новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина на софе. Валериан ходил взад и вперед по комнате, держа за руку молодую прелестную жену свою Ольгу. Дарья Власьевна, поместившись у окна в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал ни на кого внимания и погружен был в уныние.

— Вот уж скоро, я думаю, пробьет полночь, — сказал Мурашев, — скоро поздравим друг друга с Новым годом. Бывало, при Бироне...

— Не поминай об нем, любезный сват! — прервал старик Аргамаков.

— А для чего не помянуть? И в «Советах премудрости» сказано: «Человек разумной должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время». Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче, время вспомнить иногда прежние черные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному богу!

— Слышали вы, батюшка, — сказал Валериан, — что царица Бирона простить хочет?

— А где он теперь? Все в Шлиссельбурге?

— Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали и отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пелымь¹.

В это время отворилась дверь и вошел Ханыков. Поздо-

¹ Указом 17 января 1742 года Елисавета повелела возвратить Бирона с семейством и братьев его из ссылки и считать уволенными из русской службы. Потом повелено было Бирону жить в Ярославле, где он и пробыл до вступления на престол Петра III. Карл Бирон, по возвращении из ссылки, уехал в Курляндию и умер в своем поместье.

ровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу.

— В прежнее время, — сказал Мурашев, — верно, у всех бы сердце заняло; все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор; нынче, слава богу, уж не те времена! Что это, капитан, за грамотка? Чай, что-нибудь радостное, хорошее?

— Это стихи, да такие, каких на Руси еще с сотворения мира не бывало. Теперь во всем Петербурге их читают; все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля.

— Ах, батюшка, отец родной! — воскликнул Мурашев. — Дай написать. Неужто эти стихи лучше писаны, чем «Советы премудрости» или «Приклады, како пишутся комплименты»? Кто их написал?

— Адъютант академии наук Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился.

— Сын холмогорского рыбака?.. Спасибо Михаилу Васильевичу! Знай наших! Вот каковы рыбаки-то! Недаром я с малолетства любил этот промысел. Молчи же ты теперь, Бирон, не говори, что русские ни к чему не способны! Когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писанья; поневоле молчали все, как глупые рыбы. А вот нынче то ли еще сделают русские! Прочти-ка, сделай милость, стихи Михаила Васильевича, отведи душу!

Ханыков начал читать оду Ломоносова, написанную им при восшествии на престол императрицы Елисаветы. По окончании каждой строфы все приходили в движение, а Мурашев вскакивал с софы от восторга и восклицал:

— Голубчик ты мой, Михайло Васильевич! Расцелую твою ручку и золотое твое перышко! Где ты таких красных слов наудил? По живой стерляди, по двухаршинному осетру дам за каждое!

Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения, не могут ни на кого так подействовать, как на слушателей Ханыкова; но тогда не мудрено было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный и сильный, — все это пленяло и поражало удивлением.

Только на Дарью Власьевну и на Тулупова стихи Ломоносова не произвели почти никакого действия. Первая не расслушала их, мечтая о замужестве и широких фижмах, а премьер-майор не мог находить ни в чем отрады с

тех пор, как узнал о смерти Дуболобова: раскаяние беспрестанно его мучило. «Другу и недругу закажу, — часто думал он, — подавать на ближнего безыменные доносы. Бог свидетель, что я не хотел смерти Дуболобову; однако ж я убил его, убил, хотя и не нарочно, камнем из-за угла, как ночной вор, и погубил свою душу».

Чего бы не дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего непримиримого врага своего! Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если б этою ценою можно было поправить сделанное зло.

— Что вы так пригорюнились, Клим Антипович? — спросил Мурашев. — Скоро Новый год наступит. Надобно встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться.

— Раздумался я о Бироне, Федор Власьич. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмет. Ввек не забыть мне, что этот нехристь всем государством русским правил.

— Да много ли он правил: всего три недели!

— Конечно, однако ж... ох уж эти мне три недели!

— И, полно, любезный майор, есть ли о чем горевать? Пожалуйста, развеселись. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три черные недели бог послал нашей родной стороне три века светлые, счастливые!

— Видно, сбудется желание ваше, — сказал Ханыков. — Слышите ли: часы на адмиралтейском шпице бьют полночь? Вот и пушка грянула! Старый год улетел туда же, куда безвозвратно скрылись три черные недели и регентство Бирона.



П Р И М Е Ч А Н И Я

В предлагаемой читателям книге собраны повести, написанные в первой половине XIX в., сюжетами которых послужили события отечественной истории. Повести расположены в хронологическом порядке, по времени их создания, и печатаются по авторитетным изданиям. Под каждым произведением помещена дата написания. Если точная дата создания повести неизвестна, то в угловых скобках приводится время первой публикации. Орфография и пунктуация приближены к современным в тех случаях, когда это возможно по стилистическим и иным соображениям.

АЛЕКСАНДР БЕСТУЖЕВ

Роман и Ольга. Печатается по тексту: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. Изд. подг. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1960 (Литературные памятники). События в повести происходят в XIV веке, когда Новгород вступил в борьбу с Московским государством, объединявшим русские земли. Во главе Москвы стоял тогда Василий Дмитриевич, великий князь Московский, Суздальский и Новгородский. Декабристы видели в новгородской вольнице древнюю республику и прообраз будущего государственного устройства. П. И. Пестелю принадлежат слова: «История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей». Тех же взглядов придерживались А. Бестужев и другие декабристы. Впоследствии в письме к Н. А. Полевому от 12 февраля 1831 г. он писал: «Когда-то замыслил я сесть на борзого... писать историю Новгорода, моей родины... но и тогда я не иначе принялся бы за труд, как поверив на месте все подробности и долго, пристально погрузясь в тьму летописей, с фонарем критики». Однако в целом восприятие Новгорода у декабристов отличалось заметной идеализацией и связанным с ней умалением роли Московского государства.

Эпиграф к I главе (с. 19). — Из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим». ...потомок самого Вадима (с. 20). — Вадим — полубог-полудемон, вождем новгородцев, который поднял восстание против князя Рюрика, но потерпел поражение и погиб. ...не расплести ему косы моей Ольги (с. 20) — то есть не стать мужем Ольги. ...дорогую мальвазию (с. 22) — Мальвазия — сорт виноградного вина (от названия города в Греции). Эпиграф ко II главе (с. 23) — Из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник». Семик (с. 23) — религиозный праздник, Троицын день (седьмой от пасхи четверг); в этот день встречали весну, наряжали березки и водили хороводы. Багряницы князей (с. 24) — торжественные облачения владетельных особ в виде широких плащей

дорогой ткани багряного цвета. Эпиграф к III главе (с. 27).— Из драматической поэмы И. И. Дмитриева «Ермак». ...*читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом* (с. 27).— Речь идет о торговых соглашениях новгородцев с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, и о союзе с ливонскими феодалами (заключен в 1395 г.). *Изяслав* (с. 28).— Речь идет об Изяславе (1024—1078), сыне Ярослава Мудрого. *Липец* (с. 28) — вареный бутылочный мед. *Ланиты* (с. 28) — щеки. *Алдерман* (с. 28) — член городского управления. *Гаральд Строгий* (с. 28) — известен как *Гаральд Смелый*, *Гаральд Храбрый* (1015—1066) — король Норвегии; был женат на дочери Ярослава Мудрого. *Гаральд полетел в Грецию...* (с. 28) — до вступления на престол (1047) в качестве вождя варяжской дружины состоял на службе у византийского императора. *Зоя* (с. 28) — византийская императрица, дочь Константина VIII, известная своими любовными похождениями. *Бирюч* (с. 28) — глашатай. ...*строятся стороны...* (с. 30).— Река Волхов делит Новгород на две части, из которых левая сторона называлась Софийской, а правая — Торговой. *Василий Дмитриевич* (с. 30).— Речь идет о Василии Дмитриевиче (1371—1425), старшем сыне Дмитрия Донского, великом князе Московском с 1389 года. *Витовт* (с. 30) — *Витовт* (1350—1430), великий князь Литовский (с. 1392). ...*жду покорности новгородской митрополиту Москвы...* (с. 31).— Москва требовала от Новгорода подчинения суду московского митрополита, чему сопротивлялось новгородское боярство. *Каменный пояс* (с. 32) — Уральские горы, где добывались соболя, один из основных предметов новгородской торговли. *Скиригайло* (с. 33) — Свидригайло Иван (1354—1396), брат польского короля Ягайло, наместник Литвы с 1388 года; отравлен в Киеве. *Наримант* (с. 33) — Наримант, сын литовского князя Ольгерда; казнен Витовтом. ...*забрызганный кровью наших одноземцев...* (с. 33) — Витовт распустил слух, что идет войной на Орду, но внезапно захватил Смоленск, пленил князей и отправил их в Литву (1395). *Андрей Боголюбский* (с. 34) — Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174), князь Владимирский; совершил неудачный поход на Новгород в 1170 году. *Ферязь* (с. 34) — старинное русское женское платье, застегнутое донизу; род сарафана. ...*полы опашня* (с. 36).— *Опашень* — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами. *Баскак* (с. 38) — сборщик податей и представитель ханской власти в эпоху татарского ига. *Война с Дмитрием кончилась...* (с. 40).— Имеется в виду поход Дмитрия Донского на Новгород в 1386 г., завершившийся заключением мирного договора и выплатой контрибуции. Эпиграф к VI главе (с. 41).— Из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807). Эпиграф к VII главе (с. 42).— Из элгии К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» (1814). Эпиграф к VIII главе (с. 45).— Из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем на свете тужить». ...*ворвался в Двинские области...* (с. 46).— Речь идет о набеге князя Василия Дмитриевича на северные колонии Новгорода, которые признали власть Москвы и отошли от Новгорода, что нанесло ему сильный экономический урон. *Пятины* (с. 46), — пять областей, составлявших Новгородскую землю в XII—XV вв. (Водская, Обонежская, Деревская, Шелонская и Бежецкая). *Орлец* (с. 48) — новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины, сданная двинскими боярами Москве; за измену новгородцы в 1398 г. разорили ее. Эпиграф к X главе (с. 50).— Из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

ОРЕСТ СОМОВ

Вывеска. Впервые — Невский альманах на 1829 год. Спб., 1828. Печатается по тексту: Сомов О. М. Были и небылицы/Сост., вступ. статья и примеч. Н. Н. Петруниной. М.: Сов. Россия, 1984. Как указано Н. Н. Петруниной, отдельные фабульные ситуации повести навеяны серией картин французского художника Ораса Верие (1789—1863). В «Сыне Отечества» (1820, № 51) в публикации «Новые произведения изящных искусств, выставленные в Лувре (1819 года). Письмо к А. Р. Шидловскому. Париж, декабря 16/28 1819 года» О. Сомов писал: «12. Солдаты, делающие примочку раненой собаке во время битвы. 13. Убитый трубач. Верный конь его стоит над ним в унылом положении, а собачка зализывает кровь с смертельной его раны. 14. Гренадер, сидящий на поле сражения среди груды снегов и трупов своих товарищей; он перевязывает раненую свою ногу». ...*чувствительные путешествия во вкусе женева Верна* (с. 53).— Имеется в виду Франсуа Верн де Люз (1765—1834), швейцарский писатель, автор книг «Сентиментальный путешественник, или Моя прогулка в Иверден» (1781) и «Сентиментальный путешественник во Франции времен Робеспьера» (1799). ...*наклон ее тока* (с. 53) — то есть наклон головного убора (ток — высокий, прямой, без полей женский, головной убор). *Г-жа дю-Дефан* (с. 53).— Речь идет о Мари де Виши-Шамрон, маркизе дю Дефан (1697—1780), хозяйке парижского салона, где бывали энциклопедисты. В 1752 г. ослепла. *Гиббон* (с. 53) — Гиббон Эдвард (1737—1794), английский историк, автор «Истории упадка и падения Римской империи» (1776—1788). Отличался тучностью, что служило поводом для многочисленных анекдотов. Так, в «Мемуарах» мадам Жанлис рассказано, будто слепая маркиза дю Дефан ощупала лицо Гиббона и оскорбилась, решив, будто он повернулся к ней задом. ...*длинные штiblеты дикого казимира* (с. 54) — гетры на пуговицах из полушерстяной ткани особой выделки. *City* (с. 54) — Сити, деловой район Лондона. *Фигаро* (с. 55) — ловкий слуга из трилогии французского драматурга П.-О. Бомарше («Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Преступная мать, или Второй Тартюф»). *Psyché* (с. 56) — психе — большое зеркало на ножках. ...*голубиные крылышки опустились, и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях* (с. 58) — женские прически, модные в XVII в. и в середине XVIII в. (*шиньон* — прическа из чужих волос, локонов); обе характеризуют Францию предреволюционной эпохи. ...*модные головы а-ла Титюс* (с. 59) — мужская прическа (короткая стрижка с зачесом волос на лоб), появившаяся в годы Великой Французской буржуазной революции и особенно распространенная (примерно с 1793 г.) во Франции времен императора Наполеона. Русские модники также носили такие прически. ...*в новомодных тюниках* (с. 59) — то есть наподобие древней туники; верхняя часть двойной женской юбки. *Феникс* (с. 60) — легендарная птица; сжигал сам себя и возрождался из пепла молодым и обновленным (греч. миф.); древние представляли Феникса в виде орла с красными и золотыми перьями. *Буфлерами, Доратами, Леонарами* (с. 62).— Речь идет о французских поэтах Станиславе Буфлере (1738—1815), Клоде Жозефе Дора (1734—1780), Никола Фермене Леонаре (1744—1793) — представителях легкой поэзии. *Наполеондор* (с. 65) — французская золотая монета достоинством в 20 франков. *Великий Могол* (с. 67) — династия Великих Моголов правила в Индии в XVI—XVIII вв.; основатель династии Великих Моголов — потомок Тимура Захиреддин

Мухаммед Бабур (1483—1530), в 1526—1527 гг. завоевавший большую часть Северной Индии. *Неман* (с. 67) — пограничная река; по ней проходила западная граница России. *Крезами* (с. 67) — обладателями несметных богатств; по имени лидийского царя Креза (595—546 гг. до н. э.). ...старый романс:

*Худо, худо, о французы,
В Ронсевале было вам!*

(с. 67) — неточная цитата (правильно:

*Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!)*

из баллады Н. М. Карамзина (1766—1826) «Граф Гваринос. Древняя гишпанская историческая песня» (1789); Ронсеваль — ущелье в Западных Пиренеях (Испания), где арьергард франкской армии Карла Великого был уничтожен басками; в сражении погиб легендарный рыцарь Роланд, ставший впоследствии героем «Песни о Роланде». *Фуражеры* (с. 69) — конные войска, обеспечивающие довольствие для содержания армейских лошадей и отыскивающие их у жителей за плату или даром. ...*в ольстрах* (с. 72) — то есть в кобурах (их две), расположенных впереди седла.

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

Повесть о Симеоне, Суздальском князе. Впервые — Московский телеграф. 1828. Ч. 19. № 1—3 — под заглавием «Симеон Кирдяпа. (Русская была XIV века)». Печатается по тексту издания: *П о л е в о й Н и к о л а й*. Избранные произведения и письма/ Сост., подг. текста, вступ. статья и примеч. А. Карпова. Л.: Худож. литература, 1986. Повесть Н. Полевого высоко оценил Белинский: «В «Симеоне Кирдяпе», этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и широкою кистью, поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом». *Симеон* (с. 84) — Семен (Симеон) Кирдяпа, князь Суздальский, сын Нижегородского великого князя Дмитрия. После смерти отца (1383) вместе с братом Василием Кирдяпой вел длительную борьбу с дядей, младшим братом отца, князем Борисом Константиновичем, ставшим великим князем Нижегородским в 1383—1392 гг., за восстановление своих наследственных прав на нижегородское княжение. В распрю князей вмешивались Золотая Орда и Москва. В 1388 г. Москва поддержала притязания Симеона и Василия. На это была согласна и часть боярства. Однако, когда московские войска в 1392 г. пришли в Нижний Новгород, чтобы вернуть княжество Симеону, нижегородские бояре захотели стать под покровительство Московского князя, как более сильного. Симеон Дмитриевич прибегнул к помощи татар и дважды штурмовал город, а когда уговорил жителей впустить войска, то не смог усмирить грабеж татар, с которыми вместе покинул Нижний Новгород. В 1401 г. Московский князь вновь направил войска против нижегородских князей, и это заставило Симеона и Василия покориться воле Москвы (1402). ...*жители Нижнего Новгорода* (с. 84) — Нижний Новгород в 1350—1392 гг. был столицей Суздальско-Нижегородского княжества; с 1392 г. с небольшими перерывами в нем утверждалась власть московских князей. ...*невозгода Москве нашей* (с. 85) — имеется

в виду пожар 1390 г. ...уже пятнадцатый год, минет, как *Нижний Новгород* впадал в руки басурманские (с. 85). — В 1377 г. татары напали на Нижний Новгород, захватили и сожгли его. *«За Пьяною люди пьяны»* (с. 85) — горькая ирония: за рекой Пьяной (приток Суры, впадающей в Волгу) русские отряды под командованием сыновей Суздальского князя Симеона и Ивана расположились на отдых и беспечно бражничали, поверив ложным слухам, будто неприятель находится далеко; татары во главе с ханом Арапшой внезапно напали на русские войска и почти полностью их уничтожили. ...после вражьего меча десятый год проходит (с. 85). — В 1382 г. золотоордынский хан Тохтамыш (?—1406) разорил Москву. ...царю Давиду предложили... (с. 85). — Имеется в виду следующее место из Библии (Вторая книга царств, гл. 24, ст. 11—14): «Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду-пророку, прозорливцу Давида: пойд и скажи Давиду: так говорит Господь: три наказания предлагаю я тебе; выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране твоей? Теперь рассуди и реши, что мне отвечать Пославшему меня. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не впасть мне. [И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы.].» *Аще* (с. 85) — если, ежели, коли. *Аки* (с. 86) — как, словно. *Краеградие* (с. 86) — крайность, на краю, на грани, в безвыходном положении. ...немецкой рыбе аселедцям (с. 86). — Сельдь ловилась главным образом в Северном (Немецком) море. *Волок Ламский* (с. 86) — старое название Волоколамска, построенного на реке Ламе. ...*Троицкий монастырь* (с. 86) — Троице-Сергиев монастырь основан Сергием Радонежским в 1337 г. ...о происхождении сынов Агариных (с. 87). — Согласно Библии, рабыня-египтянка Агарь была родоначальницей некоторых арабских племен; в древнерусской письменности и впоследствии под «сынами Агариными» подразумевались мусульмане и вообще неверные. *«Временник»* (с. 87) — «Повесть временных лет», памятник XII в. (составлена Нестором в Киеве). *Мефодий Патарский* (с. 87) — имеется в виду епископ К. Патар в Малой Азии Мефодий (ум. 312); ему приписано произведение «Откровения Мефодия Патарского», на которое ссылается автор «Повести временных лет». ...полунощному лукоморью (с. 87) — то есть северному морскому заливу («лукоморье» — старинное название морского залива); другое толкование слов «полунощное лукоморье» — северная сказочная страна. ...запаял сунклитом (с. 87) — обмазал смолой (сунклит — смола), предохраняющей от порчи; возможно также — волшебное вещество, не поддающееся ни мечу, ни огню. ...Князь Дмитрий Иванович попросил стать за святую Русь (с. 88). — Речь идет о Куликовской битве (1380), в которой русские воины во главе с великим князем Московским Дмитрием Ивановичем Донским (1350—1389) разбили полчища Мамая. ...князь Остей (с. 88) — литовский князь; находился в Москве во время осады ее Тохтамышем в 1382 г. и содействовал ее укреплению; в конце концов поверил в мирные намерения татар и вышел навстречу хану с дарами. *Василий да Симеон* (с. 88). — Речь идет об уговорах Василия и Симеона открыть городские ворота, обращенных к защитникам Москвы; подтвердив уверения татар, Василий и Симеон обрели город на пожары, разорение и грабеж. *Махмет* (с. 88) — то есть Магомет (Мухаммед), пророк и основатель ислама. *Глагол* (с. 89) — слово.

...«память праведного с похвалми, и род его яко древо насажденно при истодищи вод» (с. 89).— Неточная цитата из Библии: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Ветхий Завет, Псалтирь, гл. I, ст. 3). *Борис Константинович* (с. 89).— Имеется в виду Городецкий князь Борис Константинович (ранее 1340—1393 или 1394), ставший в 1383—1392 гг. великим князем Нижегородским; грамоту (ярлык) на нижегородское княжение получил от ордынского хана в 1383 г., после смерти брата Дмитрия; в 1387 г. был изгнан из Нижнего Новгорода и удалился в свой удел (Городец), но в 1389 г. снова занял нижегородский «княжеский стол». *Азис* (с. 89) — возможно, Азис (Озис) — один из ханов Золотой Орды. *Арапша* (с. 89) — см. примеч. к с. 85. *Дмитрий Константинович* (с. 89).— Дмитрий (Фома) Константинович (ок. 1324—1383), сын Константина Суздальского, князь Суздальский и одновременно великий князь Владимирский (1360—1362), великий князь Нижегородский (1363—1383). ...*потерял любимого сына* (с. 89) — в сражении на Пьяне погиб сын Дмитрия Суздальского Иван. *Евдокия* (с. 89) — Евдокия Дмитриевна (?—1407), дочь Дмитрия Константиновича Суздальского (Нижегородского), супруга Дмитрия Донского, мать Василия I Дмитриевича (1371—1425), сына Дмитрия Донского. *Жерело* (с. 89) — жерло. *Адамант-камень* (с. 90) — алмаз, бриллиант. *Румянец* (с. 91) — Румянец Василий, нижегородский боярин, одним из первых перешел на сторону Симеона Кирдяпы и обещал ему выдать Бориса Константиновича. *Белеут* (с. 91) — возможно, Александр Белеут; упоминается в истории. *Разозиться* (с. 92) — ссориться, ...*пределах хлыновским* (с. 93) — то есть к городу Хлынову (позже — Вятке). *Мурза Беркут идет повоювать Вятку* (с. 93).— Возможно, речь идет о царевиче Беткуте, которому в 1391 г. Тохтамыш повелел напасть на Вятку; Беткут захватил город и многих жителей взял в плен. ...*Грань поверстная* (с. 98) — верстовой столб. *Волоковое окошко* (с. 101) — окно, задвигаемое доской; осталось с тех времен, когда избы топились по-черному и через него выволакивался дым. *Полукафтанье* (с. 101) — кафтан короче и уже обыкновенного, на него надевалась другая верхняя одежда. *Полоротый* (с. 101) — с открытым ртом. ...*Мономахову наставлению* (с. 101). Имеется в виду «Поучение» Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125). *Загнать* (с. 103) — загадать. *Святополк* (с. 106) — Святополк I Окаянный (ок. 980—1019), князь туровский (с. 988), киевский (1015—1019), старший сын Владимира I; убил трех своих братьев и завладел их уделами. *Толмач* (с. 114) — переводчик. *Тимур* (с. 115) — Тимур (Тамерлан; 1336—1405), среднеазиатский завоеватель, создавший государство с центром в Самарканде; покорил Хорезм, Персию, Закавказье; вторгся в русские пределы и победил Тохтамыша, впоследствии совершил походы в Индию и Китай; Н. Полевой написал биографию Тимура. *Батый* (с. 115) — Батый (Бату; 1208—1255), монгольский хан, внук Чингисхана, предводитель завоевательных походов в Восточную и Центральную Европу; с 1243 г. хан Золотой Орды. *Когда Андрей, князь Нижегородский, скончался* (с. 116).— После смерти Андрея Нижегородского (1365) Нижний Новгород переходил по старшинству к его брату Дмитрию Суздальскому, однако Борис Константинович захватил город и уступил княжение лишь после поддержки московского войска. *Сергий* (с. 116) — Сергий Радонежский (ок. 1321—1391), основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, сподвижник Дмитрия Донского. *Сергий затворил храмы божии в Нижнем Новгороде* (с. 116).— В 1363 г. Сергий по приказу митрополита Мос-

ковского и великого князя Дмитрия Иоанновича (Донского) наложил запрет на службу в нижегородских церквях за отказ Бориса Константиновича возвратить законный удел Дмитрию Суздальскому. *Борис укрывся в Городце* (с. 116). — Борис Константинович вынужден был возвратиться в наследственный удел (Городец). ...*пищальным огнем* (с. 118) — то есть огнем из древнерусского тяжелого ружья (пищали). *Старец Киприан* (с. 118) — Киприан (ок. 1336—1406), с 1390 г. — митрополит Московский; по происхождению болгарин (согласно Никоновской летописи, «сербин»); в середине XIV в. уехал в Византию, жил на Афоне. ...«*безмятежно, безмолвно и спокойно от всякого смущения*» (с. 118) — Н. Полевой использует здесь Никоновскую летопись. *Ветшанные книги* (с. 118) — древние, ветхие. *Георгий Писидийский* (с. 119) — Георгий Писидийский (Писиды), византийский писатель XV в.; его поэма «Шестоднев» была переведена (1385) с греческого Дмитрием Зографом; перу его принадлежат также «История Ираклия» и «История аваров». *Елень* (с. 120) — олень. ...*послушай, что написал я...* (с. 120). — После этих слов Н. Полевой переложил отрывок из Никоновской летописи, связанный с рассказом о смерти Киприана. *Терлик* (с. 120) — длинный кафтан с перехватом и короткими рукавами. *Охобень* (с. 120) — охабень, старинная верхняя одежда с прорезами под длинными рукавами и с откидным четвероугольным воротником. ...*князь Владимир Андреевич Храбрый* (с. 120) — Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410), князь Серпуховской и Боровский, внук Ивана Калиты, защитника Пскова от ливонцев (1362), Москвы от Ольгерда Литовского (1368), участник Куликовской битвы. *Мурут* (с. 121) — возможно, крымский хан Мурут-Гирей. *Витовт* (с. 121) — см. примеч. на с. 352 ...*царство Попа Ивана* (с. 121). — Имеется в виду легендарное государство царя-священника Ивана, о которой рассказано в древнерусском «Сказании об индейском царстве». *Скифия Великая* (с. 122) — область к северу от Черного и Каспийского морей. *Зельно* (с. 122) — сильно, крепко. *Синяя Орда* (с. 122). — Возможно, речь идет о Ногайской орде, которая кочевала вокруг Аральского (Синего) моря. *Шемахия* (с. 122) — Шемаха, столица (IX—XVI вв.) Ширвана, феодального государства на территории нынешнего Азербайджана; резиденция Ширваншахов. *Персида* (с. 122) — Персия. ...*Амазоны и Макарийские блаженные острова* (с. 122) — легендарные области, о которых рассказывалось в древнерусских памятниках (например, в «Александрии») *Севастия* (с. 122) — город в Малой Азии. *Хорусани...* и сл. (с. 122) — перечисляются области Средней Азии, Персии, Закавказья и Малой Азии, которые пали перед Тимуром. *Мануил Великий* (с. 122). — Имеется в виду Мануил II Палеолог (1350—1425), византийский император с 1391 г.; фактически вассал Баязида I; в 1425 г. отрекся от престола и постригся в монахи. ...*богопоставные скорби* (с. 122) — то есть скорби, соизволенные богом, разрешенные им, совершаемые по его воле. *Тот, кто источил воду из камня жезлом Моисея* (с. 122) — один из сюжетов Библии (Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, Исход, гл. 17, ст. 5—6): «И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойдя; вот, я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин, Израильских» ...*рукою отрока Иессеева поразила Голиафа* (с. 122). — В Библии (Ветхий Завет, Первая книга царств) рассказывается о том, как Иессей Давид убил великана Голиафа. *Мамай* (с. 123) — золотоордынский темник Мамай (?—1380), потерпел поражение в Куликовской битве,

бежал в Крым, убит в Кафе (ныне — Феодосия). *Раговать* (с. 123) — воевать. ...*предали в руки твои деда твоего и дядей твоих* (с. 123).— Речь идет о Борисе Константиновиче, который приходился двоюродным дедом Василию I Дмитриевичу (мать Василия, Евдокия, — племянница Бориса) и Симеоне и Василию Кирдяпах (дяди Василия по матери; Евдокия их сестра). *Блюдись*, (с. 124) — остерегайся. ...*уступил мне право первородства* (с. 124).— Владимир Храбрый отказался от великокняжеского достоинства в пользу своего родного племянника Василия I. *Аред* (с. 125) — возможно, библейский патриарх Иаред, скаредный старик, богатый скряга. ...*животы смерть окажест* (с. 125) — достаток (то есть, богата ли была жизнь, покажет смерть). ...*у тебя есть товар, а у меня есть купец* (с. 125) — народная форма сватовства. ...*боярин Кошка* (с. 125) — возможно, речь идет о боярине Федоре Кошке, известном в княжении Василия I Дмитриевича. *Атгуба* (с. 126) — левый рукав нижней Волги. ...*при Калке погибла надежда на спасение России* (с. 126) — 31 мая 1223 г. на берегу реки Калки русские и половецкие князья потерпели поражение от татаро-монгольских полчищ, которыми командовал Сабудай, военачальник Чингисхана. *Мальвазия* (с. 127) — см. примеч. на с. 351. *Кравчий* (с. 128) — почетная должность при князе: распоряжался стольниками и чашниками, разливал вино и подавал блюда князю и членам его семьи. «*Князь Роман жену терял...*» (с. 129) — начало народной баллады о князе Романи, который убил (терял) жену: вошло в «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». «*О! стонать тебе, Русская земля, помянувши прежнюю годину...*» (с. 135) — неточная цитата из «Слова о полку Игореве» («О! стонати Русской земли, помянувшие пръвую годину и пръвых князей!»); далее перелажаются различные места из этого произведения. ...«*были там древле грады красны...*» и сл. (с. 135) — отрывок из «Хождения Пиминова в Царьград» (Никоновская летопись по 1388 г.); нарочиты видением — производящие сильное впечатление. ...*за пепелищем Ельца* (с. 136) — В августе 1395 г. Тимур захватил и разграбил Елец, но неожиданно, после двухнедельного стояния, двинулся на юг, в Крым. *Локман* (с. 138) — по арабскому преданию, мудрец, живший до пророка Мухаммеда (Магомета). ...*саиб керем вселенной* (с. 138) — милостивый господин вселенной; «владыка света», один из титулов Тимура. *Праг* (с. 139) — порог. *Седмица* (с. 139) — неделя. *Баязет* (с. 139) — Баязид I Молниеносный (1354 или 1360—1403), турецкий султан, покоривший Болгарию, Македонию, Фессанию, часть Сербии, но, разбитый Тимуром в битве при Аагоре (1402), взят в плен; умер в плену. *Эрзерум* (с. 140) — город на северо-востоке Турции. *Анатолийские леса* (с. 140) — здесь: Малая Азия, западная часть которой называлась в средние века Анатолией. ...*глаза Алиевы* (с. 141).— Речь идет об Али (ум. 661), халифе, двоюродном брате и зяте Мухаммеда. *Кипчак* (с. 141) — здесь: киргизские, уральские и приволжские степи. *Туран* (с. 141) — равнина в Средней Азии, включая пустыни Каракум, Кызылкум и др. *Железные Врата Каспия* (с. 141) — Дербент. *Яик* (с. 141) — старое название реки Урал. «*Восток и Запад — область божия!*» и сл. (с. 142) — перефразировка стиха Библии (Ветхий Завет, Книга пророка Малахии, гл. I, ст. 11): «*Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Савоф*». «*Лета 1402-го...*» и сл. (с. 143) — цитата из Никоновской летописи; *бесерменин* — басурманин; *вниде* — вынужденно войдя; ...*прося опас* — прося защитной грамоты; *декемерия* — декабрь.

АЛЕКСАНДР КРЮКОВ

Рассказ моей бабушки. Впервые — Невский альманах на 1832 год. Издан Е. Аладиным. Спб., 1831. Подпись: А. К. Печатается по тексту альманаха. Отдельные бытовые подробности были использованы А. С. Пушкиным в «Капитанской дочке». *Флигельман* (с. 145) — так в старину назывался правофланговый солдат, показывающий другим ружейные приемы. *Магазейны* (с. 148) — склады для хранения продуктов. *Литургия* (с. 150) — священнослужение в церкви, при котором совершается евхаристия (таинство святого причастия); обедня. *Хорунжий* (с. 151) — знаменщик в казачьих войсках, позже прапорщик; соответствует чину корнета в пехоте. ...и бобами разводить, и в воду глядеть (с. 153) — разные виды гаданья, ворожбы. ...Емелька Пугач... блаженной памяти император Петр Федорович (с. 155) — Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742—1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773—1775 гг., выдавал себя за мужа Екатерины II, императора Петра III Федоровича, который был убит в 1762 г. Пугачев был выдан его сообщниками и казнен в Москве на Болотной площади. ...нового тушинского вора (с. 156) — то есть Пугачева; по прозвищу Лжедмитрия II, расположившегося лагерем в Тушине. ...своим драбантам (с. 157) — здесь: иронически — инвалидам, драбант — телохранитель, почетный конвой. *Панфил Саватейч Хлопуша* (с. 162) — ошибка: Хлопуша (Соколов) Афанасий Тимофеевич (1714—1774), сподвижник Пугачева, беглый каторжник; казнен в Оренбурге. *Эсаул* (с. 162) — здесь: наперсник, помощник; позднее есаул в казачьих войсках соответствовал чину капитана в армии. ...картину Страшного суда (с. 162). — Страшный суд — последнее судилище, на котором определяются судьбы праведников и грешников; распространенный сюжет изображений в церквях. *Пенник* (с. 163) — крепкое хлебное вино. *Жемочки* (с. 172) — прянички, скатанные в руках и расплюснутые обеими ладонями; го стинцы.

АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ

Андрей Безыменный. Написана в Петропавловской крепости, куда А. О. Корнилович был заключен после суда над декабристами. Впервые напечатана без имени автора в 1832 году. Печатается по тексту издания: Корнилович А. О. Сочинения и письма. Изд. подг. А. Г. Грумм-Гржимайло и Б. Б. Кафенгауз. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1957. («Литературные памятники»). *Торока* (с. 178) — ремешки позади седла, для пристежки. ...царя Алексея (с. 180). — Имеется в виду Алексей Михайлович Романов (1629—1676); им началась династия Романовых на российском престоле. *Андрусовское перемирие* (с. 180) — заключено 30 января 1667 г. в деревне Андрусово близ Смоленска; им была завершена русско-польская война 1654—1667 гг.; по Андрусовскому перемирию Россия получила Смоленские и Черниговские земли, Польша признала также воссоединение с Россией Левобережной Украины. *Поставец* (с. 181) — стол с полками и шкафчиком; посудный шкаф. *Вечная память* (с. 182) — приказ благочинного о повенчании; брачное свидетельство. ...государыни Натальи Кирилловны (с. 183). — Речь идет о царице Наталье Кирилловне (1651—1694), урожденной Нарышкиной, второй жене царя Алексея Михайловича, матери Петра I. *Разрядная книга* (с. 183) — архивы приказов, в которые были занесены фамилии боярских родов, древность и родовитость которых определялась в зависимости от места в книгах. *Долбня* (с. 183) — колотушка,

деревянный молот или чурбан с вытесанной рукоятью. *Азов*, *Калиш*, *Лесное*, *Полтава* (с. 184) — места побед русских войск: под Азовом (19 июня 1696 г.) — над турками; при Калише (18 октября 1706 г.), под Лесным (28 сентября 1708 г.), под Полтавой (27 июня 1709 г.) — над шведами. *Бунчук* (с. 184) — знак атаманского или гетманского сана и власти, представлял собой пряди конского волоса, укрепленные на украшенном древке. ...*поход Чигиринский* (с. 184). — Под Чигирином русская армия и казацкие полки одержали ряд побед над турками в период с 7 по 24 августа 1677 г. *Приказы* (с. 184) — органы управления в московских государствах. ...*на корм воеводам* (с. 184). — Воевода (военачальник и правитель отдельных областей на Руси X—70-х гг XVIII в.) кормился (содержался) за счет местного населения; «кормление» воевод было упразднено земской реформой 1655—1656 гг. *Подъячий* (с. 184) — здесь: вольный делец, «кормящийся пером». *Князь Меншиков* (с. 184) — Александр Данилович Меншиков (1673—1729), сподвижник Петра I, фактический правитель государства при Екатерине I; сын придворного конюха, а затем денщик Петра I, он добился высочайших титулов и почестей: светлейший князь (1707), генералиссимус (1727). *Крючки* (с. 185) — придирки, происки, обходные, кривые пути; приказный крючок — продажный, изворотливый делец. *Славяно-греко-латинская академия* (с. 186) — первое высшее учебное заведение в Москве; открыто в 1687 г. *Келарь* (с. 186) — инок, заведовавший съестными припасами и светскими делами монастыря. *Муж мудр бьет дитя не разумно <...> иже щадит жезл, ненавидит сына своего; любя же наказует прилежно* (с. 186) — перефразировка библейских «Притчей Соломоновых»: «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Библия, гл. 23, ст. 13—14). ...*наставлениям царя израильского* (с. 186). — Речь идет о «Притчах Соломона»; Соломон — царь Израильско-Иудейского государства в 965—928 гг. до н. э.; славился мудростью; ему, по преданию, принадлежит «Песнь песней». *Ментор* (с. 187) — педантичный и строгий наставник; от имени Ментора, персонажа «Одиссеи» Гомера — воспитателя Телемака, сына Одиссея. *Псалтырь* (с. 188) — собрание хвалебных песен богу, приписываемых в Библии царю Давиду и составляющих часть Ветхого Завета. ...*твердо знал цифирь до правила товарищества* (с. 188). — В старой арифметике существовало несколько правил: товарищества, цепное, тройное и др., правило товарищества — способ деления чисел на части, находящихся в заданном отношении. *Полевал* (с. 188) — то есть охотился с ружьем или с собаками. ...*в объяринном сарафани* (с. 190) — в сарафани из объяри, плотной шелковой ткани с золотыми и серебряными узорами. ...*в правление Софии* (с. 190). — Царевна Софья Алексеевна (1657—1704), сестра Петра I, правила Русским государством в 1682—1689 гг. при двух царях — ее малолетних братьях Иване V и Петре I. *Вершник* (с. 191) — ездовой, конник, едущий верхом на лошади. ...*и о щит ее притупятся разженные стрелы лукавого, и силы адвов не одолеют* (с. 197) — неточная цитата из Евангелия (Библия, Новый Завет, Послание к Ефесянам святого апостола Павла, гл. 6, ст. 16): «а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого...». *Извет* (с. 200) — донос, наговор, клевета. «*Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела*» (с. 201) — неточная цитата из Псалтири (Библия, Ветхий Завет, Псалтырь, гл. 7, ст. 15—16): «Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил...» *Ков* (с. 202) — тайный злой умысел,

коварство, козни. ...*за пряслицей* (с. 206). — Пряслице — здесь: веретено. *Курас* (с. 206) — здесь: корсет. *Роброн* (с. 206) — старинное дамское платье с кринолином на стальных обручах при китовом усе. ...*de Fontanges* (с. 206). — Имеется в виду Мари-Анжелика Фонтанж, фаворитка Людовика XIV. ...*Сканое золото* (с. 206) — золото в виде золотых нитей, мелкой и тонкой ювелирной работы. ...*в шелковом шушуне* (с. 208) — в шелковой кофте или душегрейке. ...*парой заряженных пистолетов в чушках* (с. 209) — то есть в кожаных чехлах. *Кичка* (с. 213) — женский головной убор. *Смольный монастырь* (с. 214). — Смольный женский монастырь основан в 1764 г. ...*австерия* (с. 214) — гостиница, трактир, харчевня и питейный дом при Петре I. *Фашинник* (с. 214) — хворост. *Муравленая* (с. 214) — глазуванная. *Императрица Елизавета* (с. 214). — Императрица Елизавета Петровна (1709—1761/1762) была возведена на престол гвардией в 1741 г. ...*графы Шереметева* (с. 214). — Шереметев Борис Петрович (1632—1719), русский генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I. *Головкин* (с. 214) — Головкин Гаврила (Гавриил) Иванович (1660—1734), граф, видный государственный деятель, дипломат, один из воспитателей и сподвижников Петра I. *Брюс* (с. 214) — Брюс Яков Вилимович (1670—1735), генерал-фельдмаршал, сенатор, сподвижник Петра I. *Шафиров* (с. 214) — Шафиров Петр Павлович (1669—1739), вице-канцлер, сподвижник Петра I. ...*князя Долгорукие* (с. 214). — Имеются в виду, вероятно, Долгорукие (Долгоруковы): Яков Федорович (1639—1720), сенатор, сподвижник Петра I; Василий Владимирович (1667—1746), генерал-фельдмаршал; Василий Лукич (ок. 1670—1734), дипломат; Михаил Владимирович, сенатор; Григорий Федорович (1656—1723), дипломат. *Кикин* (с. 214) — вероятно, Кикин Александр Васильевич, деятель петровской эпохи, сблизившийся затем с царевичем Алексеем. *Князь-папа Иван Иванович Бутурлин* (с. 214) — Бутурлин (1661—1738), стольник, генерал. *Бахус* (с. 214) — прозвище бога растительности, покровителя виноградарства и виноделия Диониса (греч. миф.). *Ингрия* (с. 215) — одно из названий Ижорской земли. *Петр II* (с. 215) — Петр Алексеевич (1715—1730), сын царевича Алексея, внук Петра I; российский император с 1727 г.; государством при нем фактически правили сначала А. Д. Меншиков, а затем Долгорукие. *Не хвались о утрие, не веси бо что родит находий день* (с. 215) — цитата из «Книги притчей Соломоновых» (Библия, Ветхий Завет, гл. 27, ст. 1): «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». *Расправа* (с. 216) — разбирательство, суд, приговор. ...*приказная строка* (с. 216) — презрительное прозвание судебного чиновника; взяточник. *Намеднись* (с. 216) — на днях, недавно. *Он не бит в темя...* (с. 217) — он не дурак. ...*цуговых коней* (с. 222) — то есть коней, запрягавшихся в три пары друг за другом. *Мария Андреевна Меншикова* (с. 223). — Речь, вероятно, идет о жене Меншикова, имя которой в повести изменено: Меншикову (урожденную Арсеньеву) звали Дарья Михайловна; она скончалась по пути в Березов, куда было сослано Петром II семейство Меншикова в 1727 г. *Екатерина* (с. 223). — Речь идет о Екатерине Алексеевне (урожденной Марте Скавронской; 1684—1727), второй жене Петра I, русской императрице (с. 1725). *Феофан* (с. 226) — Феофан Прокопович (1681—1736), архиепископ, один из сотрудников Петра I, писатель, глава Ученой дружины, сторонник просвещенного абсолютизма. *Остерман* (с. 226) — Остерман Андрей Иванович (1686—1747), состоял на русской службе с 1703 г., дипломат; в 1741 г. за сокрытие завета Екатерины I был арестован и сослан в Березов. *Анна Петровна* (с. 226) — великая княгиня Анна Петровна (1708—1728), младшая дочь Петра I;

с 1725 г. жена герцога Гольштейн-Готторпского, мать Петра III. ...изображениями... из Эзоповых и Федоровых басен (с. 228).— Имеются в виду изображения на сюжеты басен древнегреческого баснописца Эзопа (VI в. до н. э.) и римского баснописца Федра (ок. 15 до н. э.— ок. 70 н. э.); как видно из дальнейшего рассказа, речь идет о баснях «Ворон и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк и Цапля». *Пóросты* (с. 228) — водоросли, а также другие подводные растения. *Аспидная доска* (с. 229) — доска, выделанная из серо-черного сланца, употреблявшаяся для письма. *Десть бумаги* (с. 229) — 24 листа писчей бумаги. *Двенадцать коллегий* (с. 229) — Петербургская Академия наук, основанная Петром I в 1724 г. *«Анекдоты о Петре I» Голикова* (с. 230).— Имеются в виду «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (Т. 1—12. М., 1788—1789), а также «Дополнения к Деяниям Петра Великого» (Т. 1—18. М., 1790—1797) русского историка Ивана Ивановича Голикова (1735—1801). *Презорствовать* (с. 230) — держаться высокомерно, надменно. ...*граф И. С. Пушкин* (с. 232).— Во времена Петра I был известен граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, воевода в Астрахани, снискавший расположение царя; позже — граф Платон Иванович, дипломат, президент Коммерц-коллегии, сенатор; Алексей Семенович (ум. в 1817). *Чекмень* (с. 232) — кафтан. ...*князь Ив. Фед. Ромодановский* (с. 232) — Ромодановский Иван Федорович (ум. в 1730), сын сподвижника Петра I Ф. Ю. Ромодановского (ок. 1640—1717); Петр I возвел Ромодановского И. Ф. в достоинство «князя-кесаря», какое имел его отец. ...*граф Ф. М. Апраксин* (с. 232) — Апраксин Федор Матвеевич (1661—1728), сподвижник Петра I, генерал-адмирал, президент Адмиралтейств-коллегии. ...*граф П. А. Толстой* (с. 232) — Толстой Петр Андреевич (1645—1729), дипломат, президент Коммерц-коллегии, сподвижник Петра I. ...*князь Д. М. Голицын* (с. 232) — Голицын Дмитрий Михайлович (1665—1737); возможно, ошибка: более известен при Петре I Михаил Михайлович Голицын (1675—1730), генерал-фельдмаршал. ...*обер-прокурор П. Я. Ягужинский* (с. 232).— Ошибка: имеется в виду Павел Иванович Ягужинский (1683—1736), граф, русский государственный деятель, дипломат, один из ближайших помощников Петра I, генерал-прокурор. *Штучный пол* (с. 236) — паркет. *Стефан Яворский* (с. 236) — Яворский Стефан (1658—1722), русский церковный деятель, писатель. ...*журнал Берхгольца* (с. 237).— Имеется в виду «Дневник» Фридриха Вильгельма Берхгольца (1699—1765), в котором рассказывалось о его пребывании в России. Впервые «Дневник» опубликован в Германии; в России вышел под названием «Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца 1721—1725» (Ч. 1—4. М., 1902—1903). ...*договорами Нейштадтским и Белградским* (с. 237).— Имеются в виду Нштадтский мир, заключенный между Россией и Швецией в г. Ништадт (Финляндия) 30 августа 1721 г. и завершивший Северную войну, а также Белградский мир (18(29) сентября 1739 г.), положивший конец русско-турецкой войне 1735—1739 гг.; заключение Белградского мира произошло уже после смерти Петра I. *Герцог Гольштейн-Готторпский* (с. 238) — правильно: герцог Гольштейн-Готторпский; Карл Фридрих (1700—1739), муж дочери Петра I Анны Петровны. ...*вице-адмирал Крюйс* (с. 238) — Крюйс Корнелий Иванович (1657—1727), вице-адмирал с 1698 г., адмирал с 1721, с 1717 вице-президент Адмиралтейств-коллегии. ...*герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царевна Екатерина Ивановна* (с. 239) — Екатерина Ивановна (1691—1733), племянница Петра I, сестра императрицы Анны Ивановны (1693—1740), вышла замуж за Карла Леопольда князя Меклен-

бург-Шверинского. Мать правительницы России Анны Леопольдовны (1718—1746) при малолетнем сыне Иване VI Антоновиче. *Мария Александровна Меншикова* (с. 239) — Меншикова Мария Александровна (1711—1729), дочь А. Д. Меншикова, была обручена с Петром II, но брак не состоялся; в 1728 г. тайно обвенчалась с князем Федором Васильевичем Долгоруким; ее истории посвящен один из романов немецкого писателя-сентименталиста Августа Лафонтена. *Екатерина Алексеевна Долгорукая* (с. 240) — Екатерина Алексеевна Долгорукая (1712—1745), вторая невеста Петра II; впоследствии вышла замуж за графа А. Р. Брюса. *Нат. Бор. Шереметева* (с. 240) — Шереметева Наталья Борисовна (1714—1771), дочь Б. П. Шереметева, супруга Ивана Алексеевича Долгорукова; воспитана К. Рылевым, И. Козловым. *Княжна Черкасская* (с. 240) — возможно, Черкасская Варвара Алексеевна, дочь канцлера А. М. Черкасского; с 1743 г. замужем за П. Б. Шереметевым, сыном фельдмаршала Б. П. Шереметева. *Ив. Ив. Неплюев* (с. 240) — Неплюев Иван Иванович (1693—1773), русский государственный деятель, дипломат. *С. Ф. Апраксин* (с. 240) — Степан Федорович Апраксин (1702—1758), генерал-фельдмаршал. *П. С. Салтыков* (с. 240) — Салтыков Петр Семенович (1696—1772/1773), генерал-фельдмаршал, московский генерал-губернатор. *А. Б. Бутурлин* (с. 240) — Бутурлин Александр Борисович (1694—1767), генерал-фельдмаршал, сенатор; в Семилетней войне (1756—1763) одержал победы при Пальнице и Кунерсдорфе. *Миних* (с. 240) — Миних Бурхард Кристоф (1683—1767), на русской службе с 1721 г., впоследствии граф, генерал-фельдмаршал, первый министр в правление Анны Леопольдовны, сослан (1742) Елизаветой Петровной в г. Пелым, возвращен из ссылки (1762) Петром III. ...*осмеянных Мольером умников de l'hôtel Rambouillet* (с. 240). — Отель Рамбулье — знаменитый литературный салон XVII в., центр литературной жизни Франции в 1624—1665 гг.; хозяйка салона — Катарин де Вивон-Пизани, маркиза Рамбулье (1588—1665); Мольер высмеял «умников» (постоянных посетителей светского салона Рамбулье — драматурга Т. Корнеля, поэтов Вуатюра и Котена, мадам де Сюдери и др.) в комедии «Смешные жеманницы». ...*вызолоченный жезл, наподобие кадуцея* (с. 242) — жезл, обвитый двумя змеями, атрибут Гермеса-Меркурия — бога торговли, вестника богов (гр.-рим. миф.); в древности — посох, украшенный сверху изображениями двух переплетающихся змей, был эмблемой вестников, глашатаев, парламентаров, гарантируя им неприкосновенность. *Гросфатер* (с. 243) — дедушка; так назывался старинный танец. ...с «*вичем*» (с. 244). — В старину почетное право именоваться с отчеством.

КОНСТАНТИН МАСАЛЬСКИЙ

Регентство Бирона. Впервые — Библиотека для чтения. 1834. Т. V. Печатается по тексту издания: Русская историческая повесть первой половины XIX века. — М.: Правда, 1986.

Бирон (с. 246) — Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), фаворит императрицы Анны Ивановны (Иоанновны), курляндский дворянин. После избрания Анны Ивановны на русский престол (1730) Бирон, пользуясь своим влиянием на императрицу, получил почти неограниченную власть. В 1737 г. он при содействии Анны Ивановны стал герцогом Курляндским. Когда императрица умерла (17 октября 1740),

то Бирон по ее завещанию и при поддержке немецкой и отчасти русской придворной знати был назначен регентом при малолетнем наследнике трона Иване VI Антоновиче. Регентство Бирона продолжалось три недели: в ноябре 1740 года жестокий, корыстолюбивый герцог был свергнут гвардией и отправлен в ссылку. *Анна Иоанновна* (с. 246) — Анна Ивановна (1693—1740), дочь царя Ивана V Алексеевича (брата Петра I), русская императрица с 1730 г.; время ее царствования — одна из самых мрачных эпох в русской истории. ...*обер-гофмаршал граф Левенвольд* (с. 246). — Имеется в виду Рейнгольд Левенвольд (ум. в 1758); в 1742 г. сослан в Сибирь. *Анна Леопольдовна* (с. 246) — Анна Леопольдовна (1718—1746), внучка царя Ивана V Алексеевича, «правительница» России в 1740—1741 гг. при малолетнем сыне Иване VI Антоновиче, родившемся от ее брака с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Свергнута гвардией в ноябре 1741 г. Умерла в ссылке. *Антон Ульрих* (с. 246) — герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон Ульрих (1714—1776), супруг Анны Леопольдовны, отец Ивана VI Антоновича. ...*генерал-прокурор князь Трубецкой* (с. 247). — Имеется в виду Трубецкой Никита Юрьевич (1699—1767), генерал-фельдмаршал, с 1740 г. генерал-прокурор Сената. *Иоанн Антонович* (с. 247) — Иван VI Антонович (1740—1764), российский император; свергнут гвардией, заключен в тюрьму и убит при попытке освободить его. ...*ея высочество цесаревна Елис...* (с. 248). — Речь идет о Елизавете Петровне (1709—1761/1762), дочери Петра I, российской императрице с 1741 г. *Феодосеевский раскол* (с. 248) — по имени Феодосия Косого, монаха Кирилло-Белозерского монастыря, еретика, из беглых холопов; с 1551 г. распространял «Новое учение», отвергал феодальную церковь, основные догматы, обряды и таинства, проповедовал социальное и политическое равенство людей; впоследствии бежал в Литву. ...*сносил Сократ капризы Ксантиппы* (с. 252). — По преданию, жена древнегреческого философа Сократа (ок. 470—399 до н. э.) Ксантиппа отличалась вздорным характером и сварливостью. ...*сильную кокетства батарею* (с. 252). — Имеется в виду стих из стихотворения «Простыженный мудрец. Быль» Панкратия Платоновича Сумарокова (1765—1814): «Спеша свершить свои затеи, имея на уме лишь мщенье одно, Плутовка на его окно Наводит сильныя кокетства батареи» (Стихотворения Панкратия Сумарокова. СПб., 1832. С. 57). ...*лубочную картину погребения кота* (с. 254). — Речь идет о лубочной картине на известный шуточный сюжет похорон кота мышами. *Приклады, како пишутся комплименты разные* (с. 254). — Точное название: «Приклады, како пишутся комплименты разные на немецком языке, то есть писания от потентатов к потентатам» (СПб., 1725). «*Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефания Писарева переведенные*» (с. 254) — Писарев Стефан (Степан) Иванович (1709—1775), с 1760 г. обер-секретарь синода, переведенный затем в сенат; писатель и переводчик; ему принадлежит ряд книг («Житие Петра Великого Императора...» и др.); полное название упоминаемой в тексте книги — «Советы премудрости, или Собрание правил Соломоно-Сираховых человеку благоразумному себя содержащим наипужнейших: с приложением на те же правила рассуждений. С италиянского языка чрез секретаря коллегии иностранных дел Стефана Писарева в 1752 году переведенные» (М., 1760). Автор этой книги Мишель Буто. В дальнейшем изложении К. Масальский приводит выдержки из этого сочинения. ...*потащат на сковороду* (с. 257). — Возможно, изложен сюжет басни Крылова «Рыбьи пляски». «*Щука шла из Новагорода; она хвост волокла из Бела-озера*» (с. 257) — неточная цитата из фольклорной подблюдной песни. Точ-

ный текст: «Щука шла из Новгорода, — Слава! Она хвост водокла из Беларзера, — Слава!» (Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. 1. Песни обрядовые. — М., 1911. С. 293. №, 1059). Песня, как полагают фольклористы, предрекала богатство. В ней названы Новгород и Белое озеро — заповедный край рыбных и иных богатств. Сказочная щука прошла по великим рекам. Возможно, имелось в виду не только богатое замужество, но и переезд в далекие от родины места. ...великий князь *Святослав изволил сказать: «Мертви бо срама не имут»* (с. 263) — Святослав I (?—972), князь Киевский; приведенные слова сказаны им воинам перед одной из битв на Дунае с греками. *Карл Бирон* (с. 264) — Карл Бирон (1684—1743), старший брат регента; вызван братом в Россию в 1730 г., генерал-аншеф, командовал гвардией; после свержения Э. И. Бирона сослан в Ярославль. *В сюрж шесть!* (с. 264) — карточный жаргон: шесть взяток в старшей масти, в козырях. *Ремиз* (с. 265) — карточный термин: недобор взятки. *Гран-мизер-уверт* (с. 265) — карточный термин: заявка игры с обязательством не взять ни одной взятки. *Verbalterition* (с. 268) — иронически (о пытке): действие по старинному обряду. *Realterition* (с. 269) — иронически (о пытке): возрожденный старинный обряд. *Испанские сапоги* (с. 270) — одно из орудий пытки. *Никон* (с. 272) — Никон (Минов Никита; 1605—1681), русский патриарх с 1652 г., вмешивался во внешнюю политику, утверждая принцип «священство выше царства», что вызвало разногласия патриарха с царем; в 1658 г. оставил патриаршество, в 1666—1667 гг. с него был снят патриарший сан, и он был сослан. ...*вяще облиговал* (с. 283) — в сильной степени (весьма) обязан. *Шкалики* (с. 285) — стаканчики со свечильнями, налитыми салом, для праздничного освещения; свечильники. *«Как будто тронулся обоз, в котором тысячи немазанных колес»* (с. 286) — цитата из басни И. А. Крылова «Парнас» (1808). *«Слово и дело!»* (с. 293) — форма, обозначающая арест в годы «бироновщины». *Буцэфал* (с. 295) — дикий конь, по преданию, усмирённый Александром Македонским и долго ему служивший. *Волинский* (с. 305) — Волинский Артемий Петрович (1689—1740), русский государственный деятель и дипломат, с 1738 г. кабинет-министр императрицы Анны Ивановны, противник «бироновщины»; казнен по обвинению в заговоре и подготовке государственного переворота. *Головкин* (с. 308) — Головкин Михаил Гаврилович (1705—1775), русский государственный деятель, в 1740—1741 гг. вице-канцлер по внутренним делам, противник Э. И. Бирона; после воцарения Елизаветы Петровны сослан в Якутск. *Бирон* (с. 313) — Густав Бирон (ум. в 1742), младший брат регента. *Князь Черкасский* (с. 314) — Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742), русский государственный деятель, с 1731 г. кабинет-министр, в 1740—1741 гг. канцлер, президент Коллегии иностранных дел. ...*не хуже романтической поэмы...* и сл. (с. 323) — ироническое противопоставление новых и старых литературных вкусов: свободный повествовательно-лирический поток в романтической поэме сравнивается с жесткими «правилами» классицистической драматургии, в которой соблюдались три единства. *Кисельник* (с. 324) — хилый и вялый человек. *Медуза* (с. 324) — одна из Горгон, женское чудовище; обладала взглядом, обращавшим все в камень; на голове у нее вместо волос извивались змеи (греч. миф.). *Бестужев* (с. 326). — Имеется в виду Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1766), граф, генерал-фельдмаршал, дипломат; в 1740—1741 гг. кабинет-министр, в 1744—1758 канцлер. *Венера* (с. 336) — богиня любви, красоты и плодородия (рим. миф.). *Муромский лес* (с. 339) — густой, непроходимый,

в котором обитали разбойники. *Манштейн* (с. 340).— Имеется в виду Манштейн Христофор Герман (1711—1757), адъютант фельдмаршала Миниха; командовал отрядом гвардейцев, арестовавших Бирона; автор «Записок о России, 1727—1744» (Дерпт, 1810; М., 1823; Спб., 1875), в которых рассказал об организации заговора и аресте Бирона. *Пелымь* (с. 348) — Пелым — город в Западной Сибири, стоящий на одноименной реке.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Коровин. «Заветные преданья»	5
Александр Бестужев Роман и Ольга. <i>Старинная повесть</i>	19
Орест Сомов Вывеска. <i>Рассказ путешественника</i>	52
Николай Полевой Повесть о Симеоне, Суздальском князе	84
Александр Крюков Рассказ моей бабушки	145
Александр Корнилович Андрей Безыменный. <i>Старинная повесть</i> ,	178
Константин Масальский Регентство Бирона	246
Примечания	351

Для детей старшего школьного возраста

Составитель
Валентин Иванович Коровин

**РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА**

Редактор *М. В. Дологцева*
Художественный редактор *И. И. Рыбченко*
Технические редакторы *И. И. Павлова и В. А. Преображенская*
Корректор *М. Е. Козлова*

ИБ № 5197

Отпечатано с готовых диапозитивов Подп в печ. 03.10 89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1 Печать высокая. Гарнитура обыкновенная новая. Усл. п. л. 19,32. Усл. кр.-отт 19,53. Уч.-изд. л. 21,02. Доп. тираж 400 000 экз. (3-й завод 250 001 400 000 экз.) Заказ № 347- Цена 90 к.
Изд. инд. ЛД-204.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Госкомиздата РСФСР 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Госкомиздата РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

00-11

С

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ